

SEATTLE PUBLIC LIBRARY



0 01 00 4479476 5

Габриэль
ГАРСИА МАРКЕС



**ПОЛКОВНИКУ
НИКТО НЕ ПИШЕТ**

Габриэль
**ГАРСИА
МАРКЕС**

**ПОЛКОВНИКУ
НИКТО НЕ ПИШЕТ**

Повести, рассказы, эссе

Москва

ЭКСМО-ПРЕСС

2001

Gabriel GARCIA MÁRQUEZ

Перевод с испанского

Серийное оформление *А. Саукова*

Гарсиа Маркес Г.

Г 20 Полковнику никто не пишет: Повести, рассказы, эссе/ Пер. с исп. — М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. — 448 с. (Серия «Зарубежная классика. XX век»).

ISBN 5-04-007929-X

Уже в первых своих произведениях колумбийский прозаик Габриэль Гарсиа Маркес предстает ярким самобытным писателем со своей неповторимой творческой манерой. Совершенный стиль, лаконизм языка, колоритные образы, соединение фантазии с реальностью — вот составляющие его художественной манеры. Его ранние рассказы и повесть «Полковнику никто не пишет», вошедшие в сборник, весомое тому подтверждение.

УДК 820(73)
ББК 84(7Кол)

- © Перевод. А. Борисова, 1997, 2000
- © Перевод. С. Сальникова, 1997
- © Перевод. П. Шебшаевич, 1997
- © Перевод. Т. Шишова, 2001
- © Перевод. Э. Брагинская, 1997
- © Перевод. Т. Коробкина, 1982
- © Составление. Издание на русском языке.
ЗАО «Издательство «ЭКСМО», 2001
- © Оформление. ЗАО «Издательство
«ЭКСМО-Пресс», 2001

ISBN 5-04-007929-X



**ПОЛКОВНИКУ
НИКТО НЕ ПИШЕТ**

Повесть

Перевод А. Борисовой

Полковник открыл банку с кофе и убедился: на дне осталось не больше чайной ложечки. Он снял с плиты миску, выплеснул половину воды на земляной пол и стал скрести банку ножом прямо над миской, вытряхивая туда остатки кофе, смешанные со ржавчиной.

Пока варилось питье, он сидел возле очага из обожженного кирпича, замерев в доверчивом и простодушном ожидании, и чувствовал, что в кишках у него прорастают грибы и ядовитые растения. Стоял октябрь. Еще одно утро, которое нелегко превозмочь даже такому человеку, как он, пережившему множество подобных дней. Вот уже пятьдесят шесть лет — с тех пор, как закончилась последняя гражданская война, — полковник только и делал, что ждал.

Октябрь — это было то немногое, чего он дождался.

Его жена увидела, как он входит в спальню с кофе, и отодвинула москитный полог. Ночью у нее был приступ астмы, и сейчас ее одолевала сонливость. Но она поднялась, чтобы взять у него чашку.

— А ты? — спросила она.

— Я уже пил, — ответил полковник. — Там еще оставалось на целую столовую ложку.

В этот момент раздался погребальный звон колоколов. Полковник совсем забыл о похоронах. Пока жена пила кофе, он снял с гвоздя, вбитого в стену, один конец гамака, скатал его и повесил за дверь, где был укреплен другой конец. Жена думала о покойном.

— Он родился в двадцать втором, — сказала она. — Как раз через месяц после нашего сына. Седьмого апреля.

Она пила кофе медленно, маленькими глотками — ей мешало прерывистое дыхание.

Болезнь согнула эту женщину в дугу, а кости ее стали тонкими и прозрачными. Из-за прерывистого дыхания у нее всегда была одна и та же интонация, и потому вопрос звучал как утверждение. Она закончила пить кофе, но продолжала думать об усопшем.

— Ужасно, должно быть, когда тебя хоронят в октябре, — сказала она. Но муж не обратил внимания на ее слова. Он открыл окно. В патио октябрь утвердился окончательно.

Глядя на увядающую, но все еще сочную зелень, на дождевых червей, ползающих по земле, полковник почувствовал, что именно в этом месяце особенно плохо приходится его больным кишкам.

— У меня даже кости отсырели, — сказал он.

— Зима есть зима, — ответила жена. — С тех пор как начались дожди, я все время говорю тебе, что на ночь надо надевать теплые носки.

— Я сплю в них уже целую неделю.

Дождь был мелкий, но шел не переставая. Полковник предпочел бы завернуться в шерстяное одеяло и устроиться в гамаке. Но надтреснутый звон бронзовых колоколов настойчиво напоминал о похоронах. «Ничего не поделаешь, октябрь», — прошептал он и отошел от окна. И только тут вспомнил о петухе, привязанном за ногу к кровати. Это был бойцовый петух.

Полковник отнес чашку в кухню, потом вернулся в комнату и завел часы с маятником, в рамке из резного дерева. В отличие от спальни, слишком тесной для больного астмой, гостиная была просторной, с четырьмя креслами-качалками вокруг покрытого скатертью стола с гипсовым котом, стоявшим посередине. На стене, напротив часов, висела картина, изображающая женщину, с ног до головы в тюле, — она сидела в лодке, окруженная амурами и розами.

Было двадцать минут восьмого, когда он закончил

заводить часы. Потом отнес петуха в кухню, привязал его к подставке очага, поменял воду в миске и насыпал ему горсть маиса. Несколько мальчишек пролезли через дыру в изгороди и появились в кухне. Они уселись вокруг петуха и стали молча его рассматривать.

— Хватит на него смотреть, — сказал полковник. — Петухам не на пользу, когда их так долго рассматривают.

Дети не двинулись с места. Один из них стал наигрывать на губной гармошке модную песенку.

— Сегодня играть нельзя, — сказал ему полковник. — В городе покойник.

Мальчишка убрал гармошку в карман штанов, а полковник пошел в комнату одеваться для похорон.

Белый костюм был не выглажен, поскольку у жены — приступ астмы. Так что полковник решил надеть старый костюм из черного сукна, который со времен своей свадьбы надевал только в исключительных случаях. Он не сразу нашел его на дне сундука, костюм был завернут в газеты и пересыпан нафталином от моли. Жена лежала на кровати и продолжала думать о покойном.

— Сейчас он уже, должно быть, встретился с Агустином, — сказала она. — Лишь бы он не рассказал сыну, что с нами стало после его смерти.

— Они сейчас спорят о петухах, — сказал полковник.

Он нашел в сундуке огромный старый зонт. Жена выиграла его в лотерею, устроенную в пользу партии, к которой принадлежал полковник. В тот вечер они смотрели представление на открытом воздухе и не пошли домой, даже когда начался дождь. Полковник, его жена и их сын Агустин — ему тогда было восемь лет — досмотрели представление до конца, сидя под огромным зонтом. Теперь Агустина уже не было в живых, а красивую атласную подкладку зонта съела моль.

— Посмотри, что случилось с нашим клоунским зонтиком, — произнес полковник свою обычную фразу. Он раскрыл сложную конструкцию из металлических спиц

над головой. — Теперь через него хорошо звезды считать.

Он улыбнулся. Но жена даже не взглянула на зонт.

— Все теперь стало таким же, — прошептала она. — Мы гнием заживо.

Она закрыла глаза, чтобы ничто не мешало ей думать о покойном.

Побрившись наугад — зеркала давно уже не было, — полковник молча оделся. Брюки, такие тесные, что казались кальсонами, застегивались на щиколотках с помощью накладных петель, а на талии затягивались двумя хлястиками из той же материи, которые продевались через позолоченные пряжки, крепившиеся на уровне поясицы. Ремня он не носил. Рубашка цвета старого картона и твердая, как картон, застегивалась на медную пуговицу — она одновременно держала и пристегивающийся воротничок. Воротничок, однако, был порван, и полковник решил отказаться от галстука.

Он одевался так, будто выполнял священный ритуал. Костлявые руки обтягивала прозрачная тонкая кожа, покрытая коричневатыми пятнами, такие же пятна были на шее. Прежде чем надеть лакированные ботинки, он счистил налипшую грязь. Жена посмотрела на него и увидела: он одет так же, как в день свадьбы. Только тогда она поняла, как состарился ее муж.

— Ты оделся будто для какого-то события, — сказала она.

— Эти похороны и есть событие, — ответил полковник. — Впервые за много лет кто-то умер естественной смертью.

После девяти дождь перестал. Полковник уже собрался выходить, но жена удержала его за рукав.

— Причешись, — сказала она.

Он попытался пригладить роговым гребнем свою щетину стального цвета. Но все было напрасно.

— Я, наверное, похож на попугая, — сказал он.

Женщина оглядела его с ног до головы. И нашла,

что это не так. Полковник не был похож на попугая. Он был худощав и подвижен, будто на шарнирах. Живость взгляда ничем не напоминала какую-нибудь там формалиновую древность.

— Все в порядке, — произнесла она и добавила, когда муж уже выходил из комнаты: — Спроси у доктора, его случайно не ошпарили кипятком в нашем доме?

Они жили на краю городка, в домике с крышей из пальмовых листьев и стенами, покрытыми облупившейся кое-где известкой. Было сыро, но дождя не было. Полковник пошел к площади переулком, где лепились один к другому маленькие домишки. Дошел до Центральной улицы и почувствовал, что его знобит. Насколько хватало глаз, городок утопал в цветах. Женщины, одетые в черное, сидели у дверей домов и поджидали похоронную процессию.

Когда полковник оказался на площади, снова заморосило. Стоявший в дверях хозяин бильярдной, помавав рукой, крикнул ему:

— Подождите, полковник, я дам вам зонтик.

Полковник ответил, не поворачивая головы:

— Спасибо, мне хорошо и так.

Покойника еще не выносили. Мужчины в белых костюмах и черных галстуках разговаривали у дверей, раскрыв зонты. Один из них увидел полковника, перепрыгивающего через лужи.

— Идите сюда, кум, — позвал он его. И показал на свободное место под зонтом.

— Спасибо, кум, — ответил полковник.

Но приглашения не принял. Он сразу прошел в дом, чтобы выразить соболезнование матери покойного. Первое, что он почувствовал, был запах множества разных цветов. Потом ему стало душно. Он попытался пробраться сквозь толпу, набившуюся в спальню. Кто-то положил ему руку на плечо и протолкнул в глубину комнаты мимо вереницы скорбных лиц, и он увидел глубокие и широко раскрытые ноздри покойного.

Рядом сидела мать, отгоняя мух веером из сплетенных пальмовых листьев.

Остальные женщины, все в черном, смотрели на усопшего с тем же выражением, с каким смотрят на течение реки. В глубине комнаты, в толпе, вдруг раздался плач.

Полковник оттеснил какую-то женщину, подошел к матери покойного и положил руку ей на плечо. Стиснул зубы.

— Мои глубокие соболезнования, — сказал он.

Мать не повернула головы. Она открыла рот и завывала. Полковник вздрогнул.

Он почувствовал, как бесформенная масса людей, разразившаяся надрывным плачем, толкает его на труп. Попытался упереться рукой в стену, но не смог. Он только натыкался на кого-либо из стоявших рядом. Кто-то сказал ему на ухо мягким, тихим голосом: «Осторожно, полковник». Он оглянулся и увидел покойника. Но не узнал его: при жизни тот был крепким и подвижным, а теперь, завернутый в белое и с кларнетом в руках, казался таким же растерянным, каким чувствовал себя полковник. Когда он поднял голову, пытаясь глотнуть хоть немного воздуха, то увидел, что гроб, убранный покрывалом, будто плывет по волнам из цветов и мнет их о стены. Полковник вспотел. У него болели суставы. Через несколько минут он понял, что оказался на улице, потому что веки стали мокрыми от дождя, и кто-то, сжав ему руку повыше локтя, сказал:

— Скорее, кум, я вас ждал.

Это был дон Сабас, крестный его умершего сына, единственный из руководителей партии, кто избежал политических преследований и продолжал жить в городке.

— Спасибо, кум, — сказал полковник и молча зашагал под дождем.

Оркестр заиграл похоронный марш.

Полковник обратил внимание на отсутствие духово-

го инструмента и только тут осознал, что умерший действительно умер.

— Бедняга, — прошептал он.

Дон Сабас закашлялся. Он держал зонт в левой руке, подняв ее выше головы, поскольку был ниже полковника. Когда процессия покинула площадь, мужчины стали разговаривать. Дон Сабас обратил к полковнику скорбное лицо и сказал:

— Как там петух, кум?

— Живет помаленьку, — ответил полковник.

В этот момент он услышал крик:

— Куда вы лезете со своим покойником?

Полковник поднял голову. На балконе казармы в позе оратора стоял алькальд. Он был в кальсонах и рубашке, небритый и опухший. Музыканты перестали играть. Через секунду полковник различил голос отца Анхеля, который что-то кричал алькальду. И стал вслушиваться в разговор сквозь барабанную дробь дождя, колотившего по зонтикам.

— Что там случилось? — спросил дон Сабас.

— Ничего, — ответил полковник. — Говорит, военным нельзя проходить мимо казармы.

— А я и забыл, — воскликнул дон Сабас. — Все время забываю, что мы на осадном положении.

— Но ведь мы не поднимаем восстания, — сказал полковник. — Это просто похороны бедного музыканта.

Процессия повернула в другом направлении. Когда проходили бедную окраину, женщины, молча кусая ногти, провожали их взглядом. Потом выходили на середину улицы и кричали вслед слова похвалы, благодарности и прощания, как будто верили, что покойник их слышит. На кладбище полковнику стало плохо. Когда дон Сабас оттеснил его к стене, чтобы дать проход тем, кто нес гроб, а потом с улыбкой обернулся, то увидел, что лицо полковника будто окаменело.

— Что с вами, кум?

Полковник вздохнул:

— Октябрь, кум.

Возвращались по той же самой улице. Дождь перестал. Небо сделалось глубоким, густо-синим. «Вот и дождь перестал», — подумал полковник и почувствовал себя лучше, но все еще прислушивался к своим ощущениям. Дон Сабас нарушил ход его мыслей:

— Вам бы надо сходить к врачу, кум.

— Я не болен, — ответил полковник. — Просто в октябре я чувствую себя так, будто мои кишки терзают дикие звери.

— А-а... — произнес дон Сабас. И попрощался с ним у дверей своего дома, нового двухэтажного здания с окнами, забранными решетками из кованого железа. Уже отчаявшись когда-нибудь избавиться от парадного костюма, полковник отправился домой. Но скоро он снова вышел на улицу, намереваясь купить в угловой лавке банку кофе и полфунта маиса для петуха.

Полковник занялся петухом, хотя предпочел бы провести день в гамаке.

Дождя не было вот уже несколько дней. За неделю ядовитая флора у него в животе пышно разрослась. Целые ночи он проводил без сна, слушая свистящее дыхание страдающей астмой жены. Но в пятницу октябрь сделал передышку. Приятели Агустина — портные из мастерской, где он работал, фанатики петушинных боев — воспользовались случаем и пришли посмотреть на петуха. Тот был в отличной форме.

Когда они ушли, полковник вернулся в комнату жены. Их приход не оставил ее безразличной.

— Что они говорят?

— Они в полном восторге, — сообщил полковник. — Уже откладывают деньги, чтобы поставить на петуха.

— Не знаю, что они нашли в этом петухе, он такой

урод, — сказала жена. — Какое-то страшилище: голова слишком маленькая для ног.

— Они говорят, он лучший во всем департаменте, — парировал полковник. — Он стоит не меньше пятидесяти песо.

Он был уверен: это самый веский аргумент, чтобы убедить жену оставить у себя петуха, принадлежавшего их сыну, которого изрешетили пулями девять месяцев назад во время петушиных боев за распространение листовок.

— Эта твоя фантазия нам дорого обходится, — сказала жена. — Когда у нас кончится маис, нам придется кормить его собственной печенью.

Полковник о чем-то раздумывал, отыскивая в шкафу брюки из грубого полотна.

— Осталось всего несколько месяцев, — сказал он. — Уже точно известно, что бои будут в январе. После этого мы сможем продать его еще дороже.

Брюки были мятые. Жена разложила их на плите и стала гладить двумя чугунными утюгами.

— Что тебе за надобность идти на улицу? — спросила она.

— Почта.

— Я совсем забыла, что сегодня пятница, — проговорила она, возвращаясь в комнату.

Полковник был почти одет — не хватало только брюк. Она взглянула на его ботинки.

— Их пора выбросить, — сказала она. — Лучше снова надень лакированные.

Полковник пришел в отчаяние.

— У них какой-то сиротский вид, — запротестовал он. — Каждый раз, как их надеваю, мне кажется, что я сбежал из приюта.

— А мы и есть сироты после того, как умер наш сын, — сказала жена.

Она убедила его и на этот раз. Полковник направился к порту еще до того, как услышал, что загудели кате-

ра. На нем были лакированные ботинки, светлые брюки без ремня и рубашка без воротничка, застегнутая на медную пуговицу. Из магазина сирийца Моисея он наблюдал, как причаливают катера. Пассажиры сходили на берег, измученные восьмичасовым сидением на одном и том же месте. Те же люди, что и всегда: бродячие торговцы и жители городка, которые уехали неделю назад, а теперь возвращались к привычной жизни.

Последним причалил почтовый катер. В мучительном ожидании смотрел полковник, как катер швартуется. На палубе, привязанный к трубе и накрытый куском брезента, лежал мешок с письмами. Пятнадцать лет ожидания обострили его интуицию. Петух обострил тревогу. С того момента, как почтовый инспектор поднялся на катер, отвязал мешок и закинул его за спину, полковник не упускал его из виду.

Он шел за ним по улице, параллельной порту, мимо магазинчиков и лавочек, где пестрела, выставленная на продажу, всякая всячина. Каждый раз, когда полковник шел за почтовым инспектором, он испытывал тревогу, и каждый раз это было по-разному, но сердце всегда сжималось, будто от ужаса. На почте он увидел врача, поджидавшего газеты.

— Жена велела спросить, не ошпарили ли вас кипятком в нашем доме, доктор? — спросил полковник.

Врач был молодой, с блестящими, вьющимися кудрями, а зубы у него были такие великолепные, что это казалось совершенно неправдоподобным. Он поинтересовался состоянием больной. Полковник дал подробный отчет, не сводя взгляда с почтового инспектора, который раскладывал письма по ячейкам. Его неторопливые движения выводили полковника из себя.

Доктор взял письма и пачку газет. Отложил в сторонку проспекты научных изданий. Затем пробежал глазами письма. Инспектор между тем продолжал раскладывать почту. Полковник посмотрел на ящичек со

своей буквой. Письмо «авиа» с голубой полоской по краям усилило его напряжение.

Врач сломал печать на пачке с газетами. Он просматривал главные новости, а полковник — не отрывая взгляда от ящичка — ждал, когда инспектор остановится возле него. Но этого не произошло. Врач оторвался от газет. Посмотрел на полковника. Потом взглянул на инспектора, который сел к телеграфному аппарату, и потом снова посмотрел на полковника.

— Мы уходим, — сказал врач.

Инспектор поднял голову.

— Полковнику ничего нет, — сказал он.

Полковник почувствовал себя уязвленным.

— Я ничего и не ждал, — солгал он. Он посмотрел на врача невинным взглядом ребенка. — У меня нет никого, кто бы мог мне написать.

Обратно шли молча. Врач шел, уткнувшись в газеты. Полковник в своей обычной манере — будто идет и ищет потерянную монету. Был ясный вечер. Миндальные деревья на площади роняли последние жухлые листья. Начинало смеркаться, когда они подошли к амбулатории.

— Какие новости? — спросил полковник.

Врач дал ему несколько газет.

— Кто его знает, — сказал он. — Разве можно вычитать что-нибудь между строк, пропущенных цензурой.

Полковник прочитал заголовки, набранные крупным шрифтом. Международные новости. Вверху статья на четыре колонки о национализации Суэцкого канала. Первая страница почти полностью занята извещениями о похоронах.

— Никакой надежды на выборы, — сказал полковник.

— Не будьте наивным, полковник, — сказал врач. — Мы уже слишком взрослые, чтобы ожидать пришествия мессии.

Полковник хотел вернуть ему газеты, но врач отказался.

— Возьмите их себе, — сказал он, — почитайте сегодня вечером, а завтра утром вернете.

В начале восьмого на башне зазвонили колокола киноцензуры. Таким образом отец Анхель оповещал прихожан об уровне нравственности того или иного фильма, список которых он ежемесячно получал по почте. Жена полковника насчитала двенадцать ударов.

— Вредная для всех, — сказала она. — Уже почти год, как идут картины, вредные для всех. — Она опустила москитный полог и прошептала: — Мир погряз в грехе.

Но полковник не поддержал разговора. Прежде чем лечь спать, он привязал петуха к ножке кровати. Закрыл входную дверь и опрыскал спальню средством от насекомых. Потом поставил лампу на пол, повесил гамак и лег читать газеты.

Он читал их в той последовательности, как они были датированы, от первой страницы до последней, даже объявления. В одиннадцать прозвучал рожок — начался комендантский час. Через полчаса полковник закончил чтение, открыл дверь в патио и в непроглядной тьме, атакуемый комарами, помочился на подпорку для деревьев. Жена еще не спала, когда он вернулся в комнату.

— Ничего не пишут о ветеранах? — спросила она.

— Ничего, — сказал полковник. Он потушил лампу и устроился в гамаке. — Раньше хоть печатали списки пенсионеров. А теперь вот уже пять лет, как не пишут ничего.

Ночью опять пошел дождь. Полковнику удалось уснуть, однако вскоре он проснулся, мучимый болью в животе. Услышал, как где-то в доме капает. Завернувшись с головой в одеяло, он пытался на слух определить, где именно. Струйка холодного пота стекала по позво-

ночнику. У него был жар. Ему казалось, что он плавает по кругу в каком-то вязком болоте. Кто-то говорил с ним. Полковник отвечал ему, лежа на своей походной кровати.

— С кем ты разговариваешь? — спросила жена.

— С англичанином в тигровой шкуре, что появился в лагере полковника Аурелиано Буэндиа, — ответил полковник. Он перевернулся на другой бок, дрожа от озноба. — Это был герцог Мальборо.

Он проснулся на рассвете и чувствовал себя хуже некуда. Когда колокола вторично зазвонили к мессе, он выбрался из гамака и оказался лицом к лицу с сумеречной действительностью, потревоженной пением петуха. Перед глазами плавали круги. Его мутило. Он вышел в патио и сквозь тихие шорохи и едва различимые запахи зимы направился в уборную. В деревянной будке с цинковой крышей сильно пахло аммиаком и калом. Когда полковник открыл крышку, из ямы вылетела туча мух.

Ожидание оказалось напрасным. Сидя на корточках на неструганых досках, полковник чувствовал, что его мучительному желанию не суждено осуществиться. Позыв прошел, вместо него появилась глухая боль в кишечнике. «Никакого сомнения, — прошептал он. — В октябре у меня всегда так». И замер в позе доверчивого и простодушного ожидания, чтобы утихомирились грибы у него в животе. Потом вернулся в комнату за петухом.

— Ночью ты бредил, — сказала жена.

Оправившись от кризиса, продолжавшегося целую неделю, она начала наводить порядок в доме. Полковник сделал над собой усилие, пытаясь вспомнить.

— Это был не бред, — солгал он. — Я снова видел во сне паутину.

Как это всегда бывало, после кризиса болезни жена была в возбужденном состоянии. За утро она перевернула все в доме вверх дном. Переставила и перевесила все, что можно, — кроме часов и картины. Она была такая

маленькая и быстрая, что когда сновала по дому в мягких домашних тапочках и черном платье с глухим воротом, то казалось, обладает способностью проникать сквозь стены. Однако к полудню женщина обретала реальную плоть и реальный вес. Когда она лежала в кровати, ее как будто не было. Теперь же, когда она появлялась то тут, то там между горшками с папоротниками и бегониями, то заполняла собой весь дом.

— Если бы уже прошел год со дня смерти Агустина, я бы запела, — сказала она, помешивая в кастрюле, где, нарезанные мелкими кусочками, варились все съедобные плоды, что росли на этой тропической земле.

— Если тебе хочется петь, пой, — сказал полковник. — Это спасает от разлития желчи.

Доктор пришел после обеда. Полковник с женой пили кофе в кухне, когда он открыл входную дверь и крикнул:

— Здесь доживают умирающие?

Полковник поднялся ему навстречу.

— Как бы не так, доктор, — сказал он, направляясь в гостиную. — Я всегда говорил, что ваши часы никуда не годятся — слишком спешат.

Жена ушла в спальню, чтобы подготовиться к осмотру. Врач и полковник остались в гостиной. Несмотря на жару, безупречный полотняный костюм врача благоухал свежестью. Когда жена объявила, что готова, врач протянул полковнику конверт со сложенным листком внутри.

— Здесь то, о чем не написано во вчерашних газетах, — сказал он и прошел в спальню.

Полковник так и предполагал. Это была сводка последних событий в стране, напечатанная на мимеографе для нелегального распространения. Сообщения о вооруженном сопротивлении в отдаленных районах страны. Полковник был поражен. Десять лет чтения нелегальной литературы не научили его тому, что самая уди-

вительная новость всегда впереди. Он закончил чтение, когда врач вернулся в гостиную.

— Эта больная меня переживет, — сказал он. — С такой астмой, как у нее, она может рассчитывать еще лет на сто.

Полковник мрачно смотрел на него. Молча протянул врачу конверт, но тот отказался его взять.

— Пусть и другие почитают, — тихо сказал он.

Полковник спрятал конверт в карман брюк. Жена вышла из спальни и сказала:

— В один прекрасный день я умру и заберу вас с собой в ад, доктор.

Врач лишь сверкнул ослепительными зубами. Потом лихо крутанул стулом, подсел к столу и достал из саквояжа несколько рекламных образчиков новых лекарств. Женщина, не глядя на них, прошла в кухню.

— Подождите, я подогрею вам кофе.

— Спасибо, не надо, — отозвался врач. Он выписывал рецепт. — Я решительно отвергаю любую возможность меня отравить.

Она засмеялась. Закончив писать, врач прочитал рецепт вслух, поскольку не надеялся, что кто-то сможет разобрать его почерк. Полковник пытался сосредоточиться. Вернувшись в гостиную, жена заметила, что переживания минувшей ночи оставили на нем свои следы.

— Сегодня на рассвете его лихорадило, — сказала она, показывая на мужа. — Чуть не два часа бредил о гражданской войне.

Полковник вздрогнул.

— Я не бредил, — настойчиво повторил он, пытаюсь не терять самообладания. — Кроме того, — сказал он, — в тот день, когда я действительно почувствую себя плохо, я не стану ни на кого рассчитывать. Я сам выброшу себя на помойку.

Он ушел в спальню за газетами.

— Спасибо вам за цветок, — сказал врач.

Они вышли вместе и направились к площади. Воздух

был сухой. Асфальт начинал плавиться от жары. Когда врач стал прощаться, полковник, сжав зубы, тихо спросил его:

— Сколько мы вам должны, доктор?

— Сейчас нисколько, — ответил врач и похлопал его по плечу. — Но я выставлю вам огромный счет, когда петух победит.

Полковник направился в портняжную мастерскую передать нелегальную информацию товарищам Агустина. Эта мастерская стала его единственным прибежищем после того, как все его соратники по партии либо умерли, либо были высланы из городка, и он превратился в человека, у которого нет других забот, кроме как ждать почту по пятницам.

Дневная жара только подогрела активность жены. Она сидела среди бегоний, в патио, под навесом, а рядом с ней стояла коробка со старой одеждой, из которой она творила вечное чудо — делать что-то из ничего. Она делала воротнички из рукавов и манжеты из спины, а также прекрасные квадратные заплатки из разноцветных лоскутков. Неумолчно стрекотала цикада. Солнце начинало клониться к горизонту. Но она не следила за тем, как оно угасает среди бегоний. Она оторвалась от шитья уже в сумерках, когда вернулся полковник. Сцепила руки на затылке, потянулась и сказала:

— Мозги совсем задеревенели.

— Они у тебя всегда были такие, — сказал полковник; потом окинул взглядом жену, сплошь покрытую разноцветными лоскутками. — Ты похожа на дятла.

— Чтобы соорудить из этого хоть какую-то одежду, и вправду дятлом станешь, — ответила она. Разложила рубашку из трех кусков разного цвета, только воротничок и манжеты были одинаковые. — На карнавале тебе достаточно будет снять пиджак.

Ее перебил звон колоколов к вечерне. «И возвестил ангел Божий Деве Марии», — стала она молиться и пошла в спальню, прихватив одежду. Полковник не-

много поговорил с детьми, которые по пути из школы зашли поглазеть на петуха. Потом он вспомнил, что на завтра нет маиса, и пошел в спальню попросить у жены денег.

— По-моему, там осталось всего пятьдесят сентаво, — сказала она.

Она хранила деньги под матрасом, завязав их в носовой платок. Это были деньги, вырученные за швейную машинку Агустина. В течение девяти месяцев они тратили их сентаво за сентаво, распределяя между своими нуждами и нуждами петуха. Сейчас там действительно остались только монетка в десять сентаво и две по двадцать.

— Купи фунт маиса, — сказала жена, — а на оставшиеся купишь кофе на завтра и четыре унции сыра.

— И позолоченного слона, чтобы повесить на дверь, — подхватил полковник. — Один маис стоит сорок два сентаво.

Они задумались.

— Петух — животное и может потерпеть, — заговорила жена первой.

Однако выражение лица полковника заставило ее умолкнуть. Он сел на кровать, уперев локти в колени, и позванивал монетками, зажатыми в кулаке.

— Я же не о себе думаю, — сказал он, немного помолчав. — Если бы дело было во мне, я бы сегодня же суп из него сварил. Прекрасно, должно быть, получить расстройство желудка за пятьдесят песо.

Полковник умолк и раздавил комара на шее. Он следил взглядом за женой, которая ходила по комнате.

— Я думаю о ребятах — они уже начали откладывать деньги.

Теперь задумалась она. Она ходила по комнате и опрыскивала стены средством от комаров. Что-то ирреальное показалось вдруг полковнику в ее движениях — будто она созывает на совет домашних духов. Наконец жена поставила распылитель на маленький алтарь с ли-

тографиями и глазами цвета топленого сахара посмотрела прямо в глаза мужа, тоже цвета топленого сахара.

— Купи маиса, — сказала она. — Один бог знает, как мы управимся дальше.

«Это чудо с преломлением хлебов», — каждый раз повторял полковник, когда они садились за стол всю следующую неделю. Отличаясь удивительной способностью штопать, латать и комбинировать, его жена, казалось, нашла средство и еду готовить из ничего. Октябрь не торопился заканчивать передышку. Сырость сменилась сонным оцепенением. Радуюсь медному сиянию солнца, жена посвятила три вечера своим волосам.

— Ну вот, начинается торжественная служба, — сказал полковник в тот вечер, когда она стала расчесывать длинные седые пряди гребнем с редкими зубьями.

На следующий день она сидела в патио, разложив у ног белую простыню, и частым гребнем вычесывала вшей, которые развелись во время болезни. Наконец на третий день она вымыла голову лавандовой водой, высушила их и закрутила на затылке в двойной узел, который закрепила гребешком. Все это время полковник просто ждал. Вечером, ворочаясь без сна в гамаке, он часами думал о петухе. В среду петуха взвесили, и он был в форме.

Когда приятели Агустина расходились по домам и весело шутили, будто победа уже была у них в кармане, полковник почувствовал, что он тоже в форме. Жена подстригла его.

— Ты сняла с меня двадцать лет, — сказал он, ощупывая голову.

Жена нашла, что он прав.

— Когда я чувствую себя хорошо, я и мертвого могу оживить, — сказала она.

Но их оживление длилось недолго. В доме уже нечего было продавать, разве что часы и картину. В четверг

вечером, когда истощились последние запасы, жена забеспокоилась.

— Не волнуйся, — утешил ее полковник. — Завтра придет почта.

На следующий день он поджидал катер, стоя у дверей амбулатории.

— Самолет — удивительная вещь, — сказал полковник, не отрывая взгляда от мешка с почтой. — Говорят, он может долететь до Европы за одну ночь.

— Может, — сказал врач, обмахиваясь, как веером, иллюстрированным журналом.

Полковник заметил почтового инспектора среди людей, что ждали, пока причалит катер и можно будет на него подняться. Инспектор прыгнул первым. Взял у капитана запечатанный конверт. Потом поднялся на палубу. Почтовый мешок был привязан возле бочки с нефтью.

— Однако это опасно, — сказал полковник.

Он потерял инспектора из виду, но потом отыскал его около тележки с разноцветными бутылками лимонада.

— Человечество всегда платит за прогресс.

— На самом деле самолет безопаснее катера, — сказал доктор. — На высоте двадцать тысяч футов никакая буря не достанет.

— Двадцать тысяч футов, — повторил пораженный полковник, не представляя себе, как можно летать на такой высоте.

Врач решил развить тему. Он вытянул вперед обе руки, держа на ладонях раскрытый журнал, и застыл в полной неподвижности.

— Должна быть абсолютная устойчивость, — сказал он.

Но внимание полковника было целиком поглощено почтовым инспектором. Он видел, как тот пьет розовый пенящийся лимонад, держа стакан в левой руке. В правой он держал мешок с почтой.

— Кроме того, в море стоят на якоре корабли, что держат постоянную связь с ночными самолетами, — продолжал врач. — С такими предосторожностями самолет куда надежнее катера.

Полковник посмотрел на него.

— Это уж конечно, — сказал он. — Должно быть, как на ковче-самолете.

Инспектор сразу направился к ним. Полковник невольно отступил назад — его охватила мучительная тревога, он старался угадать, кому адресовано письмо в запечатанном конверте. Инспектор развязал мешок. Отдал врачу пачку с газетами. Потом вскрыл пакет с частными письмами, проверил их количество по квитанции и прочитал фамилии тех, кому они были адресованы. Врач развернул газеты.

— Опять проблема Суэцкого канала, — сказал он, глядя на заголовки. — Запад теряет почву под ногами.

Полковнику было не до газет. Он старался справиться с болью в желудке.

— С тех пор как ввели цензуру, в газетах только и пишут, что о Европе, — сказал он. — Надо бы европейцам переехать сюда, а мы бы переехали в Европу. Тогда каждый узнал бы, что происходит в его собственной стране.

— Для европейцев Южная Америка — это мужчина с усами, с гитарой и с пистолетом, — со смехом сказал врач, не отрываясь от газеты. — Им не понять наших проблем.

Инспектор отдал ему письма. Положил остальные в мешок и завязал его.

Врач собрался было прочитать полученные письма. Но прежде чем разорвать конверт, взглянул на полковника. Потом на почтового инспектора.

— Полковнику ничего нет?

Полковника охватил ужас. Инспектор закинул мешок за спину, сделал несколько шагов в сторону и ответил, не поворачивая головы:

— Полковнику никто не пишет.

Вопреки заведенному обычаю, полковник не сразу пошел домой. Сидел и пил кофе в портняжной мастерской, пока товарищи Агустина листали газеты. Он чувствовал себя обманутым. Он бы предпочел так и сидеть здесь до следующей пятницы, а не являться нынче вечером к жене с пустыми руками. Но когда мастерская закрылась, он оказался лицом к лицу с неизбежной действительностью. Жена ждала его.

— Ничего? — спросила она.

— Ничего, — ответил полковник.

В следующую пятницу он снова встречал катер. И, как во все предыдущие пятницы, вернулся домой без долгожданного письма.

— Хватит нам уже ждать, — сказала ему жена в тот вечер. — Надо иметь воловье терпение, чтобы пятнадцать лет ждать письма.

Полковник лег в гамак и стал читать газеты.

— Надо ждать своей очереди, — сказал он. — Наш номер — тысяча восемьсот двадцать три.

— С тех пор как мы ждем, этот номер дважды выпал в лотерею, — ответила жена.

Как всегда, полковник прочитал все газеты от первой страницы до последней, включая объявления. Но на этот раз не очень внимательно. Он все думал о своей пенсии ветерана. Девятнадцать лет назад, когда Конгресс провозгласил закон о пенсиях, начался оправдательный процесс, который тянулся восемь лет. Затем прошло еще шесть, прежде чем полковника включили в список пенсионеров. Так было написано в последнем письме, которое получил полковник.

Он закончил чтение уже после комендантского часа. Собирался погасить свет и тут заметил, что жена еще не спит.

— У тебя сохранилась та вырезка?

Жена ответила не сразу.

— Да. Должно быть, она там, где все остальные бумаги.

Она выбралась из-под москитника и достала из платяного шкафа деревянную шкатулку, где лежала, перетянутая резинкой, пачка писем, сложенных в порядке получения. Там же было объявление адвокатской конторы, обещавшей активное содействие в получении военных пенсий.

— С тех пор как я твержу тебе, чтобы ты сменил адвоката, прошло столько времени, что мы успели бы не только получить деньги, но и потратить их, — сказала жена, передавая мужу вырезку из газеты. — Что хорошего будет, если нам положат деньги в гроб, словно индейцам.

Полковник перечитал газетную статью двухлетней давности, положил ее в карман рубашки, висевшей за дверью.

— Плохо, если для замены адвоката потребуются деньги.

— Не сейчас, — решительно возразила жена. — Мы напишем им, пусть вычтут из той самой пенсии, которую они нам выхлопочут. Это единственный способ их заинтересовать.

В субботу полковник отправился к своему адвокату. Тот беззаботно покачивался в гамаке. Это был огромный негр, у которого из всех зубов сохранились только два резца в верхней челюсти. Он сунул ноги в шлепанцы на деревянной подошве и открыл окно кабинета; у окна стояла пыльная пианола, заваленная какими-то бумагами: вырезками из «Диарио офисиаль», приклеенными к старым бухгалтерским отчетам, и целая коллекция разномастных извещений из Налогового управления. Пианола без клавиш служила также и письменным столом. Адвокат уселся на пружинистый стул. Прежде чем объяснить причину своего визита, полковник выразил обеспокоенность ходом дела.

— Я предупреждал вас: такие дела не делаются в один день, — сказал адвокат, когда полковник сделал паузу.

Адвокат изнывал от жары. Откинулся на спинку стула и обмахивался рекламным проспектом.

— Я постоянно держу связь с моими доверенными лицами, и они советуют не отчаиваться.

— И так вот уже пятнадцать лет, — ответил полковник. — Прямо как в сказке про белого бычка.

Адвокат пустился в подробные описания бюрократического процесса. Стул был слишком мал для его дряблых ягодич.

— Пятнадцать лет назад все было проще, — сказал он. — Тогда еще была муниципальная ассоциация ветеранов, куда входили представители обеих партий.

Он набрал в легкие обжигающий воздух и изрек так, будто сам только что это придумал:

— В единстве — сила.

— Это не мой случай, — сказал полковник, впервые осознав свое одиночество. — Все мои товарищи умерли, дожидаясь пенсии.

Адвоката это не смутило.

— Закон был принят слишком поздно, — сказал он. — Не всем повезло, как вам, — стать полковником в двадцать лет. Кроме того, правительству пришлось выкраивать на него деньги из бюджета.

Одна и та же история. Каждый раз, когда полковник ее слышал, он чувствовал глухое раздражение.

— Я не милостыню прошу, — сказал он. — Речь не идет о том, чтобы нам сделали одолжение. Мы рисковали своей шкурой, спасая Республику.

Адвокат развел руками.

— Все это так, полковник, — сказал он. — Человеческая неблагодарность не знает границ.

И это полковник слышал не раз. Впервые подобные слова он услышал на следующий день после заключения Неерландского пакта, когда правительство обещало помочь двумстам офицерам вернуться домой и возместить им убытки. В Неерландии они разбили лагерь вокруг гигантской сейбы, и весь революционный бата-

льон, состоявший по большей части из подростков, сбежавших из школы, ждал в течение трех месяцев. Потом они разбрелись по домам, добираясь своим ходом, а дома продолжали ждать до смерти.

С тех пор прошло почти шестьдесят лет — полковник все ждал.

Взволнованный воспоминаниями, он приосанился. Упершись правой рукой в костлявое бедро — кожа да кости, — он прошептал:

— Так вот, я принял решение.

Адвокат насторожился:

— То есть?

— Я меняю адвоката.

В кабинет вошла утка, за ней — несколько желтых утят. Адвокат приподнялся в кресле, намереваясь их выгнать.

— Как скажете, полковник, — сказал он, выпроваживая птиц. — Как скажете, так и будет. Если бы я мог творить чудеса, я бы не жил на этом скотном дворе.

Он загородил деревянной решеткой дверь в патио и снова сел на стул.

— Мой сын работал всю свою жизнь, — сказал полковник. — Мой дом заложен. Закон о пенсиях превратился в пожизненное содержание для адвокатов.

— Только не для меня, — возразил адвокат. — Я тратил все до последнего сентаво на судебные издержки.

Полковник почувствовал неловкость от проявленной им самим несправедливости.

— Именно это я и хотел сказать, — поправился он. Вытер лоб рукавом рубашки. — От этой жары даже мозги ржавеют.

Адвокат тотчас стал переворачивать все вверх дном в поисках договора. Солнце уже добралось до середины его жалкой комнатенки, сколоченной из неструганных досок. После бесполезных поисков везде и всюду адвокат встал на четвереньки и, пытаясь, вытащил какой-то рулон из-под пианолы.

— Вот она.

Он протянул полковнику лист гербовой бумаги.

— Мне надо написать моим поверенным, чтобы они аннулировали копии, — сказал он.

Полковник стряхнул с документа пыль и положил его в карман рубашки.

— С таким же успехом вы можете ее разорвать, — сказал адвокат.

— Нет, — ответил полковник. — Это двадцать лет воспоминаний. Он ожидал, что адвокат продолжит поиски документов. Но тот и не думал этого делать. Он подошел к гамаку и вытер пот. Затем посмотрел на полковника сквозь дрожащий от зноя воздух.

— Мне нужны и другие документы, — сказал полковник.

— Какие?

— Оправдательный приговор.

Адвокат развел руками:

— Это совершенно невозможно, полковник.

Полковник встревожился. Будучи казначеем революционной армии округа Макондо, он шел долгие шесть дней, приторочив к спине мула два мешка с казной народного ополчения.

Он добрался до лагеря в Неерландии, волоча за собой полудохлого от голода мула, за полчаса до подписания договора. Полковник Аурелиано Буэндиа — генерал-интендант революционной армии Атлантического побережья — выдал ему расписку и включил оба мешка в инвентарный список имущества, подлежащего сдаче при капитуляции.

— Это документы огромной важности, — сказал полковник. — Акт получения казны подписан собственноручно полковником Аурелиано Буэндиа.

— Согласен, — сказал адвокат. — Но эти документы прошли через много тысяч рук и много тысяч кабинетов, пока не осели бог знает в каком отделе военного министерства.

— Ни один документ подобного значения не может пройти незамеченным ни для какого чиновника, — сказал полковник.

— Но за последние пятнадцать лет чиновники менялись множество раз, — заметил адвокат. — Вы подумали о том, что за это время сменилось семь президентов и что каждый президент десять раз сменил весь свой штат, а каждый министр по меньшей мере сто раз сменил всех своих чиновников?

— Но ведь никто не уносил эти документы домой, — сказал полковник. — Каждый новый чиновник находил их на том же самом месте.

Адвокат отчаялся.

— Кроме того, если сейчас отозвать бумаги из министерства, они будут ходить по всем отделам, прежде чем вы снова попадете в список.

— Не важно, — сказал полковник.

— Но это растянется еще на сто лет.

— Не важно. Тот, кто ждет многого, сумеет дождаться малого.

Полковник положил на столик в гостиной пачку линованной бумаги, ручку, чернильницу и промокашку и оставил дверь открытой на случай, если надо будет посоветоваться с женой. Она молилась, перебирая четки.

— Какое сегодня число?

— Двадцать седьмое октября.

Он писал, старательно выводя буквы, положив ручку на промокательную бумагу и выпрямив спину, чтобы было легче дышать, как его когда-то учили в школе.

Духота в комнате стояла невыносимая. Капля пота упала на бумагу. Полковник промокнул ее.

Потом попытался стереть расплывшиеся слова, но получилась клякса. Он не стал отчаиваться. Сделал пометку и написал на полях: «Все права имеют силу». Потом прочитал весь абзац.

— Когда меня включили в список?

Жена вспоминала, не прерывая молитвы:

— Двенадцатого августа 1949 года.

Вскоре начался дождь. Полковник заполнил страницу крупными, немного детскими буквами, какими его учили писать в государственной школе в Манауре. Потом исписал еще полстраницы и поставил подпись.

Прочитал письмо жене. После каждой фразы она одобрительно кивала. Закончив читать, полковник заклеил конверт и погасил лампу.

— Попроси кого-нибудь, чтобы отпечатали письмо на машинке.

— Нет, — ответил полковник. — Я устал просить об одолжениях.

Полчаса было слышно только, как дождь стучит по крыше из пальмовых листьев. Городок будто тонул в потоках ливня. После наступления комендантского часа где-то в доме опять закапало.

— Давно нужно было это сделать, — сказала жена. — Всегда лучше действовать без посредников.

— Никогда не бывает слишком поздно, — сказал полковник, стараясь определить, где же все-таки капает. — Может, вопрос решится раньше, чем кончится срок закладной на дом.

— Осталось два года, — сказала жена.

Полковник зажег лампу, чтобы выяснить, где протечка. Подставил туда миску петуха и вернулся в спальню, преследуемый характерным звуком капель, падающих на жестяное дно.

— Может, чтобы быстрее получить свои деньги, они решат дело до января, — сказал он и сам в это поверил. — К тому времени пройдет год, как умер Агустин, и мы сможем пойти в кино.

Она тихо рассмеялась.

— Я уж и не помню, какие бывают фильмы, — сказала она.

Полковник попытался разглядеть ее сквозь москитную сетку.

— Когда ты была в кино последний раз?

— В 1931 году, — сказала она. — Фильм назывался «Последняя воля мертвеца».

— А драка там была?

— Этого я так и не узнала. Когда призрак хотел украть у девушки ожерелье, хлынул дождь.

Уснули они под шум дождя. Полковник чувствовал легкую боль в животе. Но это его не тревожило. Он почти пережил еще один октябрь. Завернулся в шерстяное одеяло и некоторое время слушал хриплое дыхание жены — будто бы издалека, — а потом отправился в плавание по царству снов. Вдруг он заговорил так ясно, будто бы и не засыпал.

Жена проснулась.

— С кем ты разговариваешь?

— Ни с кем, — сказал полковник. — Я думал о том, что тогда, на собрании в Макондо, мы были правы. Мы говорили полковнику Аурелиано Буэндиа, чтобы он не сдавался. Он нас не послушался, из-за этого потом все и рухнуло.

Дождь шел целую неделю. Второго ноября — против воли полковника — жена снесла цветы на могилу Агустина. Когда она вернулась с кладбища, у нее снова начался приступ астмы. Это была тяжелая неделя. Даже тяжелее, чем все четыре недели октября, которые полковник уже не надеялся пережить. Врач пришел осмотреть больную и вышел из комнаты, по обыкновению бодро восклицая: «Если такую астму принимать всерьез, я бы уже приготовился перехоронить весь город». Но потом поговорил с полковником наедине и прописал строгий постельный режим.

У полковника тоже произошло ухудшение. Он мучился, по нескольку часов сидя в уборной и покрываясь холодным потом, и ему казалось, что его внутренности гниют и разваливаются на куски.

— Это все зима, — повторял он, чтобы не впасть в отчаяние. — Вот кончатся дожди, и все будет по-другому.

И он действительно верил в это, потому как ему обязательно нужно было дожить до того дня, когда придет письмо.

Теперь настал его черед вести хозяйство так, чтобы сводить концы с концами. Приходилось, стиснув зубы, выпрашивать в кредит продукты в соседних лавочках.

— Только до будущей недели, — говорил он, не веря в то, что говорит. — В пятницу я должен получить кое-какие деньги.

Когда у жены прошел кризис, она была поражена, увидев, что с ним стало.

— Одни кости, — сказала она.

— Готовлюсь на продажу, — ответил полковник. — Получил заказ от фабрики кларнетов.

На самом деле он держался только надеждой на письмо. Кости его ныли от бессонницы, а домашнее хозяйство и заботы о петухе изнуряли окончательно. Во второй половине ноября он подумал, что петух, который вот уже два дня сидел без маиса, может подохнуть. И тут вспомнил о горсти фасоли, которую еще в июле повесил над плитой. Он снял шелуху и положил петуху в миску сухие зернышки.

— Поди сюда, — позвала его жена.

— Сейчас, — ответил полковник, наблюдая за поведением петуха. — С голодухи-то и не такое съешь.

Жена пыталась приподняться в кровати. От нее пахло лекарствами. Она произнесла, четко выговаривая каждое слово:

— Ты немедленно избавишься от петуха.

Полковник знал, что когда-нибудь он услышит эти слова. Он ждал их с того самого вечера, когда убили сына и когда он решил сохранить петуха. У него было время обдумать ответ.

— Теперь уже не стоит, — сказал он. — Через три

месяца начнутся бои, и мы сможем продать его гораздо дороже.

— Дело не в деньгах, — сказал жена. — Когда придут ребята, скажи им, пусть забирают его и делают с ним все, что хотят.

— Ведь все это ради Агустина, — произнес полковник заготовленный аргумент. — Ты только представь себе, с каким лицом он бы рассказывал нам о победе петуха.

Женщина подумала о сыне.

— Эти проклятые петухи и погубили его! — закричала она. — Если бы третьего января он остался дома, беды бы не случилось.

Она указала на дверь тощим пальцем и воскликнула:

— Я так и вижу, как он выходит из дома с петухом под мышкой. Я предупредила его: «Не ищи себе на голову беды на галере», — а он только улыбнулся во весь рот и сказал: «Да брось ты! Сегодня вечером мы не будем знать, куда деньги девать».

Обессиленная, она откинулась на спину. Полковник осторожно устроил ее на подушках. Его глаза встретились с ее глазами, так похожими на его собственные.

— Постарайся не шевелиться, — сказал он, слыша, как что-то свистит у нее в легких.

Женщина впала в забытие. Закрыла глаза. А когда снова открыла, ее дыхание было более спокойным.

— Это все из-за того, что мы нищие, — сказала она. — Грех отрывать от себя хлеб, чтобы скармливать его петуху.

Полковник вытер ей лоб кончиком простыни.

— За три-то месяца не умрем, наверное.

— А что мы будем есть эти три месяца? — спросила жена.

— Не знаю, — сказал полковник. — Если бы нам суждено было умереть от голода, мы бы уже давно умерли.

Петух, в полном здравии, стоял перед пустой мис-

кой. Увидев полковника, он произнес гортанный монолог, почти как человек, и откинул голову. Полковник улыбнулся ему, как заговорщик:

— Жизнь — штука нелегкая, приятель.

Он вышел на улицу. Шел по улицам городка, погруженного в сиесту, ни о чем не думая, даже не стараясь убедить себя в том, что у него есть какой-нибудь выход. Он бродил по безлюдным улицам, пока не кончились силы. Тогда он вернулся домой. Жена, слыша, что он пришел, позвала его.

— Что тебе?

Она ответила, не глядя на него:

— Мы можем продать часы.

Полковник уже думал об этом.

— Уверена, Альваро тут же выложит тебе сорок песо, — сказала она. — Вспомни, как он сразу же купил швейную машинку.

Она имела в виду портного, на которого работал Агустин.

— Завтра утром я с ним поговорю, — согласился полковник.

— Зачем откладывать до утра? — настаивала она. — Отнеси их сейчас же, поставь ему на стол и скажи: «Альваро, я принес часы, чтобы ты купил их у меня». Он и сам все поймет.

Полковник почувствовал себя несчастным.

— Это все равно что тащить на себе гроб господень, — запротестовал он. — Если меня увидят на улице с такой ношей, обо мне начнут петь куплеты на манер Рафаэля Эскалоны.

Но и на этот раз жена убедила его. Она сняла часы со стены, завернула их в газеты и протянула ему сверток.

— Без сорока песо не возвращайся, — сказала она.

Полковник направился в портняжную мастерскую, неся сверток под мышкой. На крыльце сидели приятели Агустина.

Один из них предложил ему сесть. Полковник почувствовал себя неловко.

— Спасибо, — сказал он. — Я просто шел мимо.

Из мастерской вышел Альваро. Стал развешивать кусок мокрого полотна на проволоке, протянутой в коридоре. Это был крепкий, угловатый парень с блестящими глазами. Он тоже пригласил полковника сесть. Тот приободрился. Подвинул к дверям табурет, сел и стал ждать, когда Альваро останется один, чтобы предложить ему сделку.

Вскоре он заметил, что все вокруг сидят с каменными лицами.

— Я, наверное, помешал, — сказал он.

Парни запротестовали. Один придвинулся к полковнику и еле слышно сказал:

— Тут кое-что, написанное Агустином.

Полковник осмотрелся — улица была пустынна.

— И что в листовке?

— То же, что всегда.

Ему протянули листовку. Полковник спрятал ее в карман брюк. Молчал и только барабанил пальцами по свертку до тех пор, пока не почувствовал, что на него смотрят с любопытством. Тогда он совсем растерялся.

— Что вы принесли, полковник?

Полковник старался не встретиться взглядом с внимательными зелеными глазами Хермана.

— Ничего, — солгал он. — Несу часы немцу, чтоб он их починил.

— Не стоит упрячиться, полковник, — сказал Херман, пытаясь забрать у него сверток. — Давайте, я их сам посмотрю.

Но полковник часы не отдавал. Он не произносил ни слова, но покраснел до корней волос. Все вокруг настаивали.

— Отдайте ему часы, полковник. Он понимает в механизмах.

— Я не хочу никого затруднять.

— Да какие там затруднения, — запротестовал Херман. И взял наконец часы. — Немец сдерет с вас десять песо и ничего не сделает.

С часами он пошел в мастерскую. Альваро шил на машинке. В глубине комнаты сидела девушка и пришивала пуговицы. Прямо над ней, на гвозде, висела гитара. Над гитарой красовалась надпись: «Говорить о политике запрещается». Полковник не знал, куда девать руки. Поставил ноги на перекладину табурета.

— Дерьмовая жизнь, полковник.

Полковник вздрогнул.

— Только без ругательств, — сказал он.

Альфонсо надел на нос очки и стал внимательно осматривать ботинки полковника.

— Я насчет ботинок, — сказал он. — Ничего себе обнова у вас.

— Но ведь это можно сказать и без бранных слов, — сказал полковник, показывая подошвы своих лакированных туфель. — Этим чудищам сорок лет, но они впервые слышат подобные ругательства.

— Готово, — крикнул Херман из глубины мастерской, и тут как раз часы зазвонили.

В соседнем доме забарабанили в стену, и какая-то женщина прокричала:

— Прекратите играть на гитаре, еще год не прошел со смерти Агустина.

Все засмеялись.

— Это же часы.

Херман вышел с часами в руках.

— Ничего серьезного, — сказал он. — Если хотите, я провожу вас до дома и помогу повесить.

Полковник отказался.

— Сколько я должен?

— Не беспокойтесь, полковник, — ответил Херман, садясь на прежнее место. — В январе за все заплатит петух.

Полковник решил, что настал подходящий момент.

— Хочу предложить тебе одну вещь, — сказал он.

— Какую?

— Я дарю тебе петуха. — И он обвел взглядом всех присутствующих. — Я дарю его всем вам.

Херман озадаченно посмотрел на него.

— Я слишком стар, — продолжал полковник. Он придал голосу подобающую случаю убедительность. — Слишком большая ответственность. Вот уже несколько дней мне кажется, что он умирает.

— Вы зря тревожитесь, полковник, — сказал Альфонсо. — Просто в это время петухи меняют перья. Поэтому у них воспаленная кожа.

— Через месяц он будет в порядке, — заверил Херман.

— В любом случае я не хочу больше держать его у себя, — сказал полковник.

Херман сверлил его взглядом.

— Поймите, полковник, — настаивал он. — Важно, чтобы именно вы принесли на гальеру петуха Агустина.

Полковник помолчал.

— Я понимаю, — сказал он. — Поэтому я до сих пор его и держал. — Он стиснул зубы и почувствовал в себе силы продолжить разговор: — Самое плохое, что осталось еще три месяца.

Херман наконец понял.

— Если дело только в этом, нет ничего проще, — сказал он.

И внес предложение. Остальные одобрили. Вечером, когда полковник вернулся домой со свертком под мышкой, жена встретила его, не скрывая разочарования.

— Ничего не вышло? — спросила она.

— Ничего, — ответил полковник. — Но это уже не важно. Ребята взялись кормить петуха.

— Подождите, кум, я дам вам зонтик.

Дон Сабас открыл стеной шкаф. Там царил полнейший беспорядок: сапоги для верховой езды впере-

между со стременами и поводьями, алюминиевый ящик, доверху заполненный шпорами. В верхней части шкафа висело полдюжины мужских зонтов и один женский зонтик от солнца. Все это показалось полковнику похожим на останки давнишней катастрофы.

— Спасибо, кум, — сказал он, опершись о подоконник. — Я лучше подожду, пока дождь кончится.

Дон Сабас не стал закрывать шкаф. Он сел у письменного стола так, чтобы его обдувал электрический вентилятор. Потом вынул из коробочки шприц, обернутый ватой. Полковник смотрел на миндальные деревья — сквозь дождь они казались свинцовыми. Улица была безлюдна.

— Дождь кажется совсем другим, если смотреть на него из окна, — сказал он. — Как будто он идет где-то в другом городе.

— Дождь всегда дождь, откуда ни смотри, — ответил дон Сабас. Он кипятил шприц на столешнице, покрытой стеклом. — И город этот — дерьмо.

Полковник пожал плечами. Он походил по конторе: гостиная в зеленых изразцах, обитая яркими тканями мебель. В углу, сваленные в кучу, лежали мешки с солью, бурдюки с медом, седла. Дон Сабас смотрел на полковника отсутствующим взглядом.

— На вашем месте я бы так не думал, — сказал полковник.

Он сел, скрестив ноги, и устремил спокойный взгляд на дону Сабаса, склонившегося над письменным столом. Маленький человечек, дряблый и одутловатый, с лягушачьей тоской в глазах.

— Вам бы надо самому осмотреться у врача, кум, — сказал дон Сабас. — Вы все никак не придете в себя со дня похорон.

Полковник поднял голову.

— Я чувствую себя прекрасно, — сказал он.

Дон Сабас ждал, пока прокипятится шприц.

— Если б я мог сказать такое о себе, — пожаловался

он. — А вы счастливчик — небось можете съесть даже медные шпоры.

Он рассматривал свои волосатые руки, покрытые бурыми пятнами. Кроме обручального кольца, на том же пальце он носил перстень с черным камнем.

— Могу, — подтвердил полковник.

Дон Сабас просунул голову в дверь, соединявшую контору с остальной частью дома, и позвал жену. Потом пустился в душераздирающие объяснения о своем режиме питания. Вынул из кармана рубашки какой-то пузырек и вытряхнул из него на письменный стол белую таблетку величиной с фасолину.

— Такое мучение повсюду таскать это с собой, — сказал он. — Как будто носишь собственную смерть.

Полковник подошел к столу. Положил таблетку на ладонь и стал внимательно рассматривать ее, пока дон Сабас не предложил ему попробовать.

— Это чтобы подсластить кофе, — объяснил он полковнику. — Сахар, но без сахара.

— Понятно, — сказал полковник, чувствуя во рту печально-сладковатый привкус. — Это как колокольный звон без колоколов.

Дон Сабас облокотился на стол и, пока жена делала ему укол, спрятал лицо в ладонях. Полковник не знал, куда себя девать. Женщина выключила электрический вентилятор, поставила его на сейф и подошла к шкафу.

— Зонтики почему-то напоминают мне о смерти, — сказала она.

Полковник не обратил внимания на ее слова. Он вышел из дома в четыре с намерением встретить почту, но дождь загнал его под крышу дона Сабаса. Когда пришли катера, дождь все еще лил.

— Говорят, смерть всегда является в виде женщины, — продолжала жена дона Сабаса. Она была выше своего мужа, полная, с волосатой бородавкой над верхней губой. Ее манера говорить напоминала жужжание вентилятора. — А мне не кажется, что она должна быть

женщиной, — добавила она. Закрыла шкаф и обернулась к полковнику, пытаясь поймать его взгляд: — Мне кажется, она должна быть похожа на животное с копытами.

— Возможно, — согласился полковник. — Чего только не бывает на свете.

Он подумал о почтовом инспекторе, который в своем клеенчатом плаще, должно быть, запрыгивает сейчас на катер. Прошел месяц с того дня, как полковник поменял адвоката. Пора бы уже получить ответ. Жена дона Сабаса все продолжала говорить о смерти, пока не заметила наконец, что полковник ее не слушает.

— Кум, — сказала она, — вы чем-то озабочены?

Полковник очнулся.

— Ваша правда, кума, — солгал он. — Я вспомнил, что до сих пор не сделал укол петуху, а ведь уже пять часов.

Женщина была поражена.

— Укол петуху, будто он человек! — воскликнула она. — Какое кошунство!

Дон Сабас не выдержал. Поднял побагровевшее лицо.

— Закрой рот хоть на минуту, — приказал он жене. Она тут же закрыла рот руками. — Ты уже полчаса надоедаешь куму своими глупостями.

— Что вы, никоим образом, — запротестовал полковник.

Женщина хлопнула дверь. Дон Сабас вытер шею платком, благоухавшим лавандой.

Полковник подошел к окну. Дождь все шел и шел. Курица пересекала пустынную площадь, ступая в воду длинными желтыми лапами.

— Вы что, действительно делаете уколы петуху?

— Действительно, — сказал полковник. — На следующей неделе начнутся тренировки.

— Это безрассудно, — сказал дон Сабас. — Все это не для вас.

— Согласен, — сказал полковник. — Но это не причина, чтобы свернуть петуху шею.

— Идиотское упрямство, — сказал дон Сабас, подходя к окну.

Его шумное дыхание напоминало звук раздувающихся мехов. Полковник исполнился состраданием.

— Послушайте моего совета, кум, — сказал дон Сабас. — Продайте вы этого петуха, пока не поздно.

— Никогда не бывает поздно ни для чего, — сказал полковник.

— Будьте же благоразумны, — настаивал дон Сабас. — Вы убьете сразу двух зайцев. С одной стороны, вы избавитесь от этой головной боли, а с другой — положите себе в карман девятьсот песо.

— Девятьсот песо! — выдохнул полковник.

— Девятьсот.

Полковник попытался представить себе подобную сумму денег.

— Вы полагаете, за петуха дадут такую уйму деньжищ?

— Не то что полагаю, — ответил дон Сабас. — Я абсолютно в этом уверен.

Такую сумму полковник не держал в руках с тех пор, как сдал под расписку казну революционной армии. Когда он вышел из конторы дона Сабаса, ему казалось: кишки у него завязались узлом, но на этот раз он знал — дело не в погоде. На почте он направился прямо к инспектору:

— Я жду срочное письмо. Авиа.

Инспектор пересмотрел в соответствующем ящичке все конверты, потом положил их обратно и ничего не сказал. Он отряхнул ладони и выразительно посмотрел на полковника.

— Но письмо обязательно должно было прийти сегодня.

Инспектор пожал плечами:

— Только смерть приходит обязательно, полковник.

Жена ждала полковника, приготовив маисовую кашу. Он ел молча, с долгими паузами после каждой ложки, уйдя в свои мысли. Жена, сидевшая напротив него, заметила в нем какую-то перемену.

— Что с тобой? — спросила она.

— Я думаю о чиновнике, от которого зависит моя пенсия, — солгал полковник. — Через пятьдесят лет мы будем спокойно лежать в земле, а этот бедняга будет изводиться каждую пятницу в ожидании своей пенсии.

— Плохой признак, — сказала жена. — Это означает, что ты начинаешь сдаваться.

Она снова принялась за кашу. Через минуту она вновь заметила, что у мужа по-прежнему отсутствующий вид.

— Ты бы лучше ел кашу.

— Каша очень вкусная, — сказал полковник. — Откуда ты взяла маис?

— У петуха, — ответила женщина. — Ребята принесли ему столько, что он решил поделиться с нами. Вот такая жизнь.

— Да, это так, — вздохнул полковник. — Жизнь — лучшее изобретение на земле!

Он посмотрел на петуха, привязанного к плите, и ему показалось, что тот выглядит по-иному, чем прежде. Жена тоже взглянула на петуха.

— Сегодня мне пришлось прогонять детей палкой, — сказала она. — Они принесли для него старую курицу, чтобы он ее потоптал.

— Что ж тут особенного, — сказал полковник. — То же самое было с полковником Аурелиано Буэндиа, когда мы занимали какую-нибудь деревню. Ему тоже приводили девушек.

Жене сравнение понравилось. Петух издал гортанный возглас, чрезвычайно похожий на человеческий, особенно если слышать его через коридор.

— Иногда я думаю, эта птица вот-вот заговорит, — сказала жена.

Полковник снова посмотрел на петуха.

— Голос звонкий, что звон монет, — вот какой это петух, — сказал он. Он что-то подсчитывал, пережевывая кашу. — Он будет кормить нас три года.

— Фантазиями сыт не будешь, — сказала женщина.

— Фантазии, может, и не кормят, но пищу дают, — ответил полковник. — Что-то похожее на волшебные таблетки кума Сабаса.

Спал он этой ночью плохо — все что-то считал в уме. На следующее утро жена снова подала маисовую кашу и, наклонив голову, стала есть, не произнося ни слова. Полковнику передалось ее дурное настроение.

— Что с тобой?

— Ничего.

Получалось: теперь настала ее очередь лгать. Полковник попытался ее утешить. Она не обращала внимания на его слова.

— Правда, ничего, — сказала она. — Я думаю о том, что прошло уже два месяца после похорон, а я так и не сходила выразить соболезнования.

Она решила пойти сегодня же вечером. Полковник проводил ее до дома покойного, а сам направился к кинотеатру, привлеченный музыкой, льющей из громкоговорителей. Отец Анхель, сидя у дверей своего дома, следил за входом, чтобы знать, кто из прихожан собирается смотреть фильм, несмотря на двенадцать предупреждающих ударов колокола. Потоки света, громкая музыка, крики детей создавали мощное противодействие запретам отца Анхеля, почти осязаемое физически. Какой-то мальчишка нацелил на полковника деревянное ружье.

— Как петух, полковник? — грозно крикнул он.

Полковник поднял руки вверх.

— В полном порядке.

Фасад здания закрывала афиша, раскрашенная всеми цветами радуги: «Полуночная девственница». На афише была изображена женщина в бальном платье, в разрезе которого виднелась стройная нога, открытая до середи-

ны бедра. Полковник бродил около кинотеатра до тех пор, пока не послышались отдаленные раскаты грома и на горизонте не засверкали молнии. Тогда он отправился за женой.

Но в доме покойного ее не было. Не было ее и дома. Хотя часы стояли, полковник прикинул, что до комендантского часа остается совсем немного времени. Он ждал, слушая, как на городок надвигается гроза. Он уже было решил идти искать жену, как она вошла в комнату.

Он отнес петуха в спальню. Она переделалась и вошла в гостиную попить воды как раз в тот момент, когда полковник собирался завести часы и ждал горна, возвещавшего наступление комендантского часа.

— Где ты была? — спросил полковник.

— Там, — ответила жена. Не глядя на мужа, она налила воды из кувшина в стакан и пошла в спальню. — Никто и подумать не мог, что дождь сегодня начнется так рано.

Полковник промолчал. Когда прозвучал горн, он поставил стрелки часов на одиннадцать, закрыл стеклянный футляр и отнес стул на место. Жена молилась, перебирая четки.

— Ты не ответила на мой вопрос, — сказал полковник.

— На какой?

— Где ты была?

— Засиделась там, у них, — ответила она. — Я столько времени не выходила из дому.

Полковник повесил гамак. Запер дверь, распылил средство от насекомых. Потом поставил лампу на пол и устроился в гамаке.

— Я тебя понимаю, — печально сказал он. — Самое худшее, когда живешь так трудно, как мы, — то, что приходится говорить неправду.

Она глубоко вздохнула.

— Я была у отца Анхеля, — сказала она. — Хотела занять у него денег под обручальные кольца.

— И что он сказал?

— Что это грех — торговать святынями.

Она говорила, опустив полог москитной сетки.

— Два дня назад я пытался продать часы, — сказал полковник.

— Они никому не нужны, потому что теперь на всех углах продаются новые, современные, со светящимся циферблатом. На них даже в темноте видно, который час.

Полковник подумал, что за сорок лет совместной жизни, совместного голода, совместных страданий он так и не узнал до конца, что за человек его жена. И любовь их состарилась тоже.

— И картина никому не нужна, — сказала она. — Почти во всех домах висит точно такая же. Я даже в турецких лавках была.

Полковник ответил с горечью:

— Ну вот, теперь все знают, что мы умираем с голоду.

— Я устала, — сказала женщина. — Мужчинам нет дела до домашних проблем. Много раз я ставила на огонь кастрюльку с камнями, чтобы соседи не узнали, что нам нечего туда положить.

Полковнику стало стыдно.

— Мы дошли до настоящего унижения, — сказал он.

Жена вылезла из-под москитной сетки и подошла к гамаку.

— А я вообще собираюсь покончить со всякими там добропорядочными манерами в нашем доме, — сказала она. Голос ее стал глухим от гнева. — Я по горло сыта смирением и достоинством.

На лице полковника не дрогнул ни один мускул.

— После каждых выборов тебе обещают райские кущи, и так уже двадцать лет, а что мы получили? Смерть сына, и больше ничего.

К такого рода упрекам полковник уже привык.

— Мы выполняем свой долг, — сказал он.

— А те, в сенате, выполняют свой за тысячу песо в месяц в течение двадцати лет, — парировала женщина. — Взять хоть кума Сабаса — двухэтажный дом, где уже места не хватает, куда деньги складывать, а ведь он явился в город бродячим торговцем, продавал лекарства, обмотав вокруг шеи живую змею.

— Но он умирает от диабета, — сказал полковник.

— А ты умираешь от голода, — сказала жена. — И когда ты только поймешь — достоинством сыт не будешь.

В этот момент сверкнула молния. Раскаты грома слышались на улице, достигли спальни и укатились под кровать, будто куча булыжников. Женщина бросилась к москитной сетке за четками.

Полковник улыбнулся.

— Это тебе предупреждение, чтобы ты не распускала язык, — сказал он. — Я тебе всегда говорил, что мы с Господом Богом — в одной партии.

Но на самом деле ему было горько. Вскоре он погасил лампу и погрузился в размышления, лежа в темноте, разрываемой вспышками молний. Он вспоминал Макондо. Десять лет он ждал, когда будут выполнены обещания Неерландского договора. В сонной одуре системы видел, как подъезжает желтый, покрытый пылью поезд, а в нем — мужчины, женщины, домашние животные, задыхающиеся от духоты, пожитки, громоздящиеся до самой крыши вагона. Это было время банановой лихорадки. За одни сутки городок совершенно изменился. «Я уезжаю, — сказал тогда полковник. — От запаха бананов у меня сводит кишки».

И он уехал из Макондо в среду, двадцать седьмого июня одна тысяча девятьсот шестого года, в два часа и восемнадцать минут пополудни. Понадобилось прожить полвека, чтобы понять: у него не было ни минуты покоя с тех пор, как была сдана Неерландия.

Он открыл глаза.

— Что толку думать сейчас об этом, — сказал полковник.

— О чем?

— О петухе, — сказал полковник. — Завтра же утром продам его куму Сабасу за девятьсот песо.

В окно конторы доносились вопли кастрированных животных и крики донна Сабаса.

«Если он не вернется через десять минут — уйду», — решил полковник после двух часов ожидания. Однако прождал еще двадцать минут. Только он собрался уйти, как дон Сабас вошел в контору; с ним несколько его работников. Дон Сабас прошел мимо полковника не один раз, но ни разу даже не взглянул на него. Только когда работники ушли, он заметил полковника.

— Вы меня ждете, кум?

— Да, кум, — сказал полковник. — Но если вы сейчас заняты, я могу прийти попозже.

Дон Сабас не дослушал его — он был уже в дверях.

— Я сейчас вернусь, — сказал он.

Полуденное солнце палило нещадно. Яркий свет с улицы заливал помещение конторы. Измученный жарой, полковник невольно закрыл глаза, и тут же перед ним возникло лицо его жены.

В комнату на цыпочках вошла жена донна Сабаса.

— Отдыхайте, кум, отдыхайте, — сказала она. — Я только хочу опустить жалюзи, а то здесь как в аду.

Полковник посмотрел на нее отсутствующим взглядом. Опустив жалюзи, она продолжала говорить в полумраке:

— Вам часто снятся сны?

— Иногда, — ответил полковник, сконфуженный тем, что уснул. — Я почти всегда вижу, как меня опутывает паутина.

— А у меня что ни ночь, то кошмары, — сказала

женщина. — Хотела бы я знать, кто все эти люди, которых видишь во сне.

Она включила электрический вентилятор.

— На прошлой неделе я видела женщину, которая стояла у изголовья моей кровати, — сказала она. — Я набралась смелости и спросила, кто она, и она ответила: я умерла в этой комнате двенадцать лет назад.

— Этому дому нет и двух лет, — сказал полковник.

— Вот именно — получается, что и мертвецы могут ошибаться.

Жужжание вентилятора сгущало сумрак. Полковник чувствовал себя неважно — его измучили жара и болтовня женщины, которая перешла от снов к таинству реинкарнации.

Он ждал паузы, чтобы попрощаться, но тут в контору вошел дон Сабас в сопровождении управляющего.

— Я четыре раза подогрела тебе суп, — сказала женщина.

— Подогревай хоть десять, если тебе нравится, — сказал дон Сабас. — Только отстань сейчас от меня.

Он открыл сейф и дал управляющему пачку денег, на ходу что-то говоря.

Управляющий приподнял жалюзи и стал пересчитывать деньги. Дон Сабас видел, что в глубине комнаты сидит полковник, но не обращал на него ни малейшего внимания. Он продолжал разговаривать с управляющим. Полковник привстал, видя, что оба они снова собираются уходить.

В дверях дон Сабас задержался.

— У вас ко мне какое-то дело, кум?

Полковник чувствовал, что управляющий смотрит на него.

— Ничего особенного, кум, — сказал он. — Просто хотел поговорить с вами.

— Так говорите сейчас, — сказал дон Сабас. — У меня нет ни одной лишней минуты.

Он стоял в позе нетерпеливого ожидания, держась

за ручку двери. Полковник пережил пять самых длинных секунд в своей жизни. Стиснул зубы.

— Я насчет петуха, — прошептал он.

Тут дон Сабас открыл дверь.

— Насчет петуха, — повторил он, улыбаясь, и подтолкнул управляющего к выходу. — Мир может рушиться, а мой кум только и знает, что о петухе. — И добавил, обращаясь к полковнику: — Ладно, кум. Я сейчас вернусь.

Полковник неподвижно стоял посреди конторы до тех пор, пока не затихли шаги мужчин по коридору. После чего вышел побродить по городку, погруженному в воскресную сиесту. В портняжной мастерской никого не было. Амбулатория была закрыта. Никто не смотрел за товаром, выставленным в лавках сирийцев. Река была похожа на стальную пластину.

Какой-то человек спал в порту на составленных вместе четырех бочках с нефтью, прикрыв шляпой лицо от солнца. Полковник направился домой в уверенности, что он — единственный живой человек в этом городке.

Жена ждала его с обедом.

— Я взяла это все под честное слово и обещала принести деньги завтра утром, — объяснила она.

Пока они ели, полковник рассказал ей о своих злоключениях последних трех часов. Жена едва дослушала его.

— Все дело в том, что ты бесхарактерный человек, — сказала она. — Ты ведешь себя так, будто пришел просить милостыню, а ты должен прийти к нему с поднятой головой, отозвать кума в сторонку и так прямо и сказать ему: «Кум, я решил продать вам петуха».

— Не все так просто в этой жизни, — сказал полковник.

Жена в тот день без передышки хлопотала по хозяйству. Утром она убиралась в доме и была одета не так, как всегда, — на ней были ботинки мужа, клеенчатый передник, волосы повязаны старым платком с двумя узлами за ушами.

— Ты совершенно не приспособлен к делам, — сказала она. — Когда что-то продаешь, надо это делать с таким лицом, будто что-то покупаешь.

Полковнику ее вид показался забавным.

— Ходи всегда, как сейчас, — перебил он ее, улыбаясь. — В таком виде ты похожа на человечка с рекламы овсянки.

Она сняла с головы платок.

— Я тебе серьезно говорю, — сказала она. — Я сейчас же снесу куму петуха, и можешь быть уверен — через полчаса я вернусь с деньгами.

— Тебе девятьсот песо в голову ударили, — сказал полковник. — Заранее ставишь на петуха.

Ему стоило большого труда отговорить ее. Все утро она подсчитывала: на эти деньги можно будет прожить три года без мучительного ожидания пятниц. Она еще раз прибралась в доме, чтобы он выглядел достойным таких денег. Сделала список самых необходимых покупок, не забыв о новых ботинках для мужа. Присмотрела в спальне место, куда повесить зеркало. Мысль о том, что все ее планы могут рухнуть, вызвала в ней смешанное чувство стыда и досады.

Потом она ненадолго прилегла. Когда она встала, полковник был в патио.

— А сейчас что ты делаешь? — спросила она.

— Думаю, — ответил полковник.

— Тогда проблема решена. Не пройдет и пятидесяти лет, как мы получим эти деньги.

Однако в действительности полковник решил продать петуха сегодня вечером. Он представлял себе, как дон Сабас сидит один у себя в конторе около электрического вентилятора и готовится к ежедневному уколу. Он заранее прикидывал, что тот ему скажет.

— Возьми с собой петуха, — посоветовала ему жена, выходя в патио. — Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Полковник отказался. Она проводила его до дверей, чувствуя тревогу и отчаяние.

— Пусть у него в конторе будет хоть целая толпа, — сказала она. — Ты возьмешь его под руку и не отпустишь до тех пор, пока он не даст тебе девятьсот песо.

— Можно подумать, мы готовимся к штурму.

Она не обратила внимания на его слова.

— Помни, что хозяин петуха — это ты, — убеждала она. — И, стало быть, это ты делаешь одолжение.

— Ладно.

Дон Сабас сидел в спальне с врачом.

— Попробуйте счастья сейчас, кум, — сказала полковнику жена дона Сабаса. — Они с доктором говорят о том, что ему делать в ближайшую неделю, так как он уезжает в имение и вернется не раньше четверга.

Полковник разрывался между двумя противоречивыми чувствами: с одной стороны, он твердо решил продать петуха сейчас же, с другой — предпочел бы прийти часом позже, чтобы уже не застать дона Сабаса дома.

— Я могу и подождать, — сказал он.

Но женщина не отставала. Она провела его в спальню, где ее муж сидел на кровати, похожей на трон, уставившись на врача бесцветными глазами. Полковник подождал, пока врач поднял к свету стеклянную пробирку с мочой пациента, понюхал ее и одобрительно кивнул дону Сабасу.

— Его надо расстрелять, — сказал врач, обращаясь к полковнику. — Диабет слишком долгая болезнь — так нам никогда не покончить с богачами.

— Вы уже почти добились этого своими инсулиновыми инъекциями, — сказал дон Сабас и подпрыгнул на дряблых ягодицах. — Но я крепкий орешек, не на такого напали. — И добавил, обращаясь к полковнику: — Проходите, кум. Я сегодня утром пошел было вас искать, но даже шляпы вашей не увидел.

— Я не ношу шляпу, чтобы ни перед кем не снимать ее.

Дон Сабас принялся одеваться. Врач положил в карман пиджака стеклянную пробирку с анализом крови. Потом навел порядок у себя в саквояже. Полковник подумал, что врач, должно быть, собирается уходить.

— На вашем месте, доктор, я бы выставил моему куму счет на сто тысяч песо, — ответил полковник. — Дел у него сразу поубавится.

— Я уже предлагал ему сделку, только на миллион, — ответил врач. — Бедность — лучшее лекарство от диабета.

— Спасибо за рецепт, — сказал дон Сабас, пытаясь всунуть свой обширный живот в штаны для верховой езды. — Но я ему не последую, чтобы уберечь вас от несчастья стать богатым.

Врач сверкнул ослепительной улыбкой, отразившейся в никелированной застежке саквояжа. Потом взглянул на часы без всякого нетерпения. Дон Сабас начал надевать сапоги и неожиданно обратился к полковнику:

— Да, кум, так что там такое с петухом?

Полковник заметил, что и врача интересует его ответ. Он стиснул зубы.

— Ничего особенного, кум, — прошептал он. — Просто я пришел продать его.

Дон Сабас закончил надевать сапоги.

— Отлично, кум, — сказал он без всякого выражения. — Это самое разумное, что можно придумать.

— Стар я уже, — оправдывался полковник, глядя в непроницаемое лицо врача. — Лет двадцать назад все было бы по-другому.

— Вы всегда будете казаться на двадцать лет моложе, — ответил ему доктор.

Полковник перевел дух. Подождал, не скажет ли дон Сабас еще что-нибудь, но тот молчал. Надел куртку с застежкой-«молнией» и собрался уходить.

— Если хотите, кум, мы можем поговорить об этом на следующей неделе, — сказал полковник.

— Я как раз и собирался вам это предложить, — ска-

зал дон Сабас. — У меня есть кое-кто на примете, кто даст за него четыреста песо. Но давайте подождем до четверга.

— Сколько?

— Четыреста песо.

— Я слышал, он стоит гораздо дороже, — сказал доктор.

— Вы мне говорили про девятьсот песо, — сказал полковник, почувствовав поддержку в словах врача. — Это лучший петух во всем департаменте.

Дон Сабас ответил, обращаясь к врачу.

— В другие времена за него любой бы дал тысячу, — объяснил он. — Но сейчас никто не отважится выпустить на бои хорошего петуха. Всегда есть риск получить пулю на галере. — Он обернулся к полковнику с подчеркнутым сожалением: — Вот что я хотел вам сказать, кум.

Полковник кивнул:

— Пусть так.

Все они собрались уходить. Врач задержался в гостинной — его позвала жена дона Сабаса, чтобы спросить, не знает ли он какого-нибудь средства «против чего-то такого, что вдруг возникает, но непонятно где». Полковник дождал его в конторе. Дон Сабас открыл сейф, набил деньгами все карманы и протянул несколько банкнотов полковнику.

— Вот вам шестьдесят песо, кум, — сказал он. — Продадите петуха — вернете.

Полковник вместе с врачом пошел через торговый район городка, который начинал оживать с наступлением вечерней прохлады. Баркас, груженный сахарным тростником, плыл вниз по реке. Полковнику показалось, что врач, против обыкновения, молчалив.

— А вы-то сами как, доктор?

Врач пожал плечами.

— Как обычно, — сказал он. — Думаю, и мне было бы не лишним показаться врачу.

— Это все зима, — сказал полковник. — У меня внутри тоже все разладилось.

Врач внимательно посмотрел на него, но в его взгляде не было профессионального интереса. Потом он поприветствовал сирийских торговцев, которые сидели у дверей своих лавочек. Когда подошли к амбулатории, полковник счел своим долгом объяснить, почему он все-таки решил продать петуха.

— У меня нет другого выхода, — сказал он. — Это животное питается человеческим мясом.

— Единственное животное, которое питается человеческим мясом, — это дон Сабас, — сказал врач. — Уверен, он перепродает петуха за девятьсот песо.

— Вы думаете?

— Уверен, — сказал врач. — Дельце сработано так же чисто, как его пресловутое соглашение с алькальдом.

Полковник отказывался в это верить.

— Кум пошел на это, чтобы спасти свою шкуру, — сказал он. — Только так он мог остаться в городе.

— И только так он мог скупить половину имущества своих товарищей по партии, которых алькальд выслал из города, — откликнулся врач.

Он не нашел в карманах ключа и постучал в дверь. Потом снова обратился к полковнику, который все еще не мог поверить в то, что услышал.

— Не будьте наивным, — сказал он. — Деньги интересуют дона Сабаса гораздо больше, чем собственная шкура.

Этим же вечером жена полковника отправилась за покупками. Провожая ее в лавку сирийцев, полковник все еще обдумывал сказанное врачом.

— Сейчас же пойди к ребятам и скажи им, что петух продан, — решительным тоном заявила жена. — Пусть не надеются понапрасну.

— Петух не будет продан до тех пор, пока не приедет дон Сабас, — ответил полковник.

Он нашел Альваро в бильярдной — тот играл в ру-

летку. Был воскресный вечер, и заведение бурлило. Из-за радио, которое орало во всю мочь, жара казалась еще более невыносимой. Внимание полковника привлекли яркие цифры на черной клеенке, покрывавшей большой стол, освещенные керосиновой лампой, стоявшей на ящике посреди стола. Альваро проигрывал, но продолжал упорно ставить на двадцать три. Следя за игрой через его плечо, полковник заметил, что четыре раза из девяти выпало одиннадцать.

— Поставь на одиннадцать, — сказал он Альваро на ухо. — Это число выпадает чаще других.

Альваро внимательно оглядел цифры на клеенке. Следующий кон он пропустил. Достал из кармана брюк деньги и вместе с ними какой-то листок бумаги. И передал его полковнику под столом.

— Это написал Агустин, — сказал он.

Полковник спрятал листовку в карман. Альваро сделал крупную ставку на одиннадцать.

— Начинай понемногу, — сказал ему полковник.

— У вас, видно, хорошее предчувствие, — отозвался Альваро.

Еще несколько игроков сняли ставки с других номеров и поставили на одиннадцать, когда большое разноцветное колесо уже стало вращаться. У полковника сжалось сердце. Впервые в жизни он переживал все прелести азарта, его очарование и его горечь.

Выпало пять.

— Сожалею, — сказал полковник смущенно и с чувством непоправимой вины смотрел, как деревянные грабельки утаскивают деньги Альваро. — Так мне и надо, не лезь куда не просят.

Альваро улыбнулся, не глядя на него.

— Не переживайте, полковник. Значит, повезет в любви.

Неожиданно звуки мамбы прекратились. Все игроки подняли руки вверх. Полковник услышал у себя за спиной сухой шелкающий звук взведенного курка. Тут

до него дошло, что он самым нелепым образом попал в полицейскую облаву с нелегальной листовкой в кармане. Обернулся, не поднимая рук. И тут впервые в жизни полковник совсем близко увидел человека, который застрелил его сына. Сейчас этот человек стоял прямо перед ним, наставив дуло ружья ему в живот. Он был маленький, с индейскими чертами лица и обветренной кожей, и пахло от него, как от ребенка. Полковник стиснул зубы и кончиком пальца спокойно отвел дуло ружья.

— Позвольте, — сказал он.

На него смотрели маленькие круглые глаза летучей мыши. В одну секунду эти глаза проглотили его, пережевывали, переварили и выплюнули.

— Проходите, полковник.

Не надо было открывать окно, чтобы понять: наступил декабрь. Полковник почувствовал это каждой косточкой еще в кухне, когда нарезал фрукты на завтрак петуху. Потом он открыл дверь, и то, что увидел в патио, подтвердило его ощущения. Патио выглядело чудесно: трава, деревья и деревянная будочка туалета — все будто парило в ясном воздухе, в миллиметре над землей.

Жена лежала в постели до девяти утра. Когда она вошла в кухню, полковник уже прибрался в доме и разговаривал с детьми, что окружали петуха. Жене пришлось, чтобы пробраться к плите, обходить их.

— Отойдите в сторонку, — прикрикнула она на них. Мрачно посмотрела на петуха. — Не чаю избавиться от этой злосчастной птицы.

Полковник внимательно посмотрел на петуха, пытаясь понять причину раздражения жены. В петухе не было ничего такого, что могло бы ее разозлить. Он был готов к тренировочным боям. Шея и ноги у него были облезлые, сизого цвета, гребень рваный, а общий вид невзрачный и какой-то беззащитный.

— Выгляни в окно и забудь о петухе, — сказал пол-

ковник, когда дети ушли. — Такое утро хочется сфотографировать.

Она выглянула в окно, но на лице у нее не отразилось никаких чувств.

— Мне бы хотелось посадить розы, — сказала она, вернувшись к плите.

Полковник, собираясь бриться, повесил зеркало.

— Хочешь посадить розы, так и посади, — сказал он.

Его движения в точности совпадали с движениями жены, которую он видел в зеркале.

— Их съедят свиньи, — сказала она.

— Тем лучше, — ответил полковник. — Отличные будут свиньи, если кормить их розами.

Он посмотрел в зеркало на жену и увидел, что выражение ее лица не изменилось. В отблесках огня ее лицо казалось вылепленным из той же глины, что и печь. Сам того не замечая, он брился наугад, как это делал уже многие годы, поскольку взгляд его был прикован к жене.

Женщина молчала, погруженная в глубокие раздумья.

— Потому я и не хочу их сажать, — сказала она.

— Ладно, — ответил полковник. — Тогда не сажай.

Он чувствовал себя хорошо. Растительность у него в кишках от декабрьской погоды завяла. Правда, утром случилась неприятность, когда он пытался надеть новые ботинки. После нескольких бесплодных попыток понял, что это бесполезно, и надел лакированные. Жена это заметила.

— Если ты не будешь надевать новые, ты их никогда не разносишь, — сказала она.

— Это ботинки для паралитиков, — возразил полковник. — Ботинки надо продавать после того, как их месяц разношивали.

Он вышел из дома, воодушевленный предчувствием, что сегодня он обязательно получит письмо. Поскольку встречать катер было еще рано, он решил подождать дона Сабаса у него в конторе. Но там ему сказали,

что хозяин будет не раньше понедельника. Он решил не отчаиваться, несмотря на то что не рассчитывал на такую отсрочку. «Рано или поздно он все равно приедет», — подумал он и направился к пристани — погода была прекрасная, утро сияло нетронутой свежестью.

— Вот бы весь год стоял декабрь, — прошептал полковник, сидя в магазинчике сирийца Моисея. — Чувствуешь себя так, будто и сам прозрачный.

Сириец Моисей с трудом перевел эту мысль на арабский, который он почти забыл.

Это был человек типично восточной внешности, туго обтянутый гладкой кожей, с медлительными движениями утопленника. Казалось, его действительно только что вытащили из воды.

— В библейские времена так и было, — сказал он. — Значит, сейчас мне было бы восемьсот девяносто семь лет. А тебе?

— Семьдесят пять, — сказал полковник, не отрывая взгляда от почтового инспектора.

Только сейчас полковник увидел, что приехал цирк. Он узнал залатанный шатер на палубе катера, среди других разноцветных тюков. На секунду отвел взгляд от инспектора и стал высматривать зверей среди нагромождения каких-то ящиков на других катерах. Но зверей не было.

— Цирк приехал, — сказал он. — Первый раз за последние десять лет.

Сириец Моисей сам удостоверился, что это так. И стал что-то говорить жене на смеси арабского с испанским. Она отвечала ему из глубины помещения. Сириец проговорил что-то самому себе и потом перевел полковнику то, что вызвало его обеспокоенность.

— Спрячьте кота, полковник. Мальчишки украдут его, чтобы продать в цирк.

Полковник уже снова следил за почтовым инспектором.

— В этом цирке нет зверей, — сказал он.

— Не важно, — ответил сириец. — Канатоходцы едят кошек, чтобы не переломать себе кости.

Полковник шел за инспектором по торговой улице до самой площади. Там он услышал громкие крики, доносившиеся с гальеры. Кто-то на ходу спросил его о петухе. Только тогда он вспомнил, что в этот день начинались тренировочные бои.

Почту он обошел стороной. И вскоре оказался среди бушующих страстей гальеры.

В центре арены стоял его петух — одинокий и беззащитный, шпоры у него были обмотаны тряпками, а очевидный испуг выдавали дрожащие ноги. Противником его был печальный петух пепельного цвета.

Полковник не чувствовал никакого волнения. Последовало несколько взаимных наскоков. Клубок из перьев, ног и шей, среди бурных оваций. Ударяясь о доски барьера, противник кувыркался через голову и снова бросался в атаку. Петух полковника не атаковал.

Он отбивал наскоки пепельного петуха и возвращался точно на то же место. Теперь ноги у него не дрожали.

Херман перепрыгнул через барьер, взял его на руки и показал зрителям.

Раздался мощный взрыв аплодисментов и криков. Полковник обратил внимание на несоответствие между громом оваций и невзрачностью зрелища. Все происходящее показалось ему фарсом, в котором — добровольно и сознательно — участвуют и петухи.

Он обвел взглядом круглую галерею, испытывая несколько презрительное любопытство. Возбужденная толпа бросилась вниз по ступеням галереи на арену. Полковник разглядывал скопище лиц — раскрасневшихся, напряженных, охваченных яростной надеждой.

Это были новые люди. Раньше их в городке не было. Он снова пережил — будто озарение — момент из давнего прошлого, уже исчезнувшего с горизонта его памяти. Он перешагнул через барьер, проложил себе дорогу в

толпе и тут увидел спокойные глаза Хермана. Они посмотрели друг на друга не мигая.

— Добрый вечер, полковник.

Полковник взял у него петуха.

— Добрый вечер, — пробормотал он.

И больше ничего не сказал, потому что ему передана горячая и сильная дрожь птицы. Он подумал, что никогда не держал на руках ничего более живого, чем этот петух.

— Вас не было дома, — сказал Херман, оправдываясь.

Раздался новый взрыв оваций. Полковнику стало не по себе. Он снова проложил дорогу в толпе и, не глядя ни на кого, оглушенный аплодисментами и криками, вышел наконец на улицу с петухом под мышкой.

Весь городок — жители бедных кварталов — высыпал на улицу, когда он, сопровождаемый мальчишками, проходил мимо. На площади огромный негр, обмотав змею вокруг шеи, прямо со столика продавал нелегализованные лекарства. Вокруг него собралось довольно много народу: люди возвращались из порта и останавливались послушать его зазывания. Но когда появился полковник с петухом под мышкой, все внимание переместилось на него. Никогда еще дорога домой не казалась полковнику такой длинной.

Однако полковник об этом не жалел. Много лет городок жил в какой-то сонной одуре, бесполезно растратив десять лет своей истории. В этот день — еще одна пятница без письма — люди пробудились от спячки. Полковник вспомнил другие времена. Он увидел себя вместе с женой и сыном, как они сидели и смотрели кино под зонтом и досмотрели до конца, несмотря на дождь. Вспомнил партийных руководителей, тщательно причесанных, как они обмахиваются веерами в такт музыке, сидя в патио его дома. Он явственно почувствовал, как барабанная дробь мучительной болью отзывается у него внутри.

Он пересек улицу, параллельную реке, но и там увидел бурлящую толпу, как в далекие времена выборов. Все смотрели, как разгружается цирк. Какая-то женщина из глубины своей лавки крикнула ему что-то о петухе. Но он был погружен в себя, прислушиваясь к голосам прошлого, которые смешались со звуками оваций на галере, услышанных им сегодня.

В дверях своего дома он обернулся к мальчишкам.

— А ну-ка по домам! — сказал он. — А то возьму ремень.

Он запер дверь на засов и прошел прямо в кухню. Жена вышла из спальни, задыхаясь.

— Они забрали его, — проговорила она. — Я сказала им, что петух не покинет стены этого дома, пока я жива.

Полковник привязал петуха к ножке плиты. Поменял петуху воду в миске, но жена раздраженно продолжала говорить.

— Они сказали, что унесут его даже через мой труп, — сказала она. — Что петух, мол, не наш, а принадлежит всему городу.

Только покончив с делами, полковник решился взглянуть в растерянное лицо жены.

И с удивлением понял, что она не вызывает в нем ни угрызений совести, ни сострадания.

— Правильно сделали, — спокойно сказал он. И, проверив содержимое своих карманов, добавил с какой-то особенной нежностью: — Петух не продается.

Она пошла за ним в спальню. Полковник был вроде таким же, как всегда, и в то же время далеким, будто она видела его на экране кино.

Полковник вытащил из шкафа деньги, прибавил к ним те, что были в карманах, сосчитал всю сумму и убрал деньги в шкаф.

— Здесь двадцать девять песо, их надо вернуть куму Сабасу, — сказал он. — Остальное отдадим, когда придет пенсия.

— А если не придет?

- Придет.
- Ну а если все-таки нет?
- Значит, не отдадим.

Под кроватью он отыскал свои новые ботинки. Вынул из шкафа картонную коробку, вытер подошвы тряпчочкой и положил ботинки в коробку, точно так, как они лежали, когда жена принесла их в воскресенье вечером. Жена не пошевелилась.

— Ботинки надо вернуть, — сказал полковник. — Еще тринадцать песо для кума.

- Их не возьмут, — сказала она.
- Должны взять, — ответил полковник. — Я надевал их всего два раза.
- Турки этого не понимают, — сказала жена.
- Должны понимать.
- А они не понимают.
- Ну и пусть не понимают.

Они легли спать без ужина. Полковник ждал, когда жена закончит перебирать четки, чтобы погасить лампу. Но он никак не мог уснуть. Слышал колокол киноцензуры и почти вслед за этим — на самом деле прошло три часа — горн комендантского часа. Хриплое дыхание жены в холодном предрассветном воздухе стало еще более затрудненным. Полковник так и не сомкнул глаз до того момента, пока она не заговорила с ним уже спокойно и примирительно.

- Ты не спишь?
- Нет.
- Пойми же ты наконец, — сказала жена. — Поговори завтра с кумом Сабасом.
- Его не будет раньше понедельника.
- Тем лучше, — сказала женщина. — У тебя еще три дня, чтобы все обдумать.
- Мне больше нечего обдумывать, — ответил полковник.

Липкий воздух октября сменился декабрьской свежестью. Декабрь был узнаваем еще и потому, что выпь те-

перь кричала в другое время. Когда пробило два часа, полковник все еще не спал. Знал, что жена тоже не спит. Он заворочался в гамаке.

— Не спишь? — спросила жена.

— Нет.

Она немного помолчала.

— Для нас это непозволительная роскошь, — сказала она. — Ты только представь, что такое для нас чetyреста песо!

— До прихода пенсии осталось совсем немного, — сказал полковник.

— Ты повторяешь это вот уже пятнадцать лет.

— Именно поэтому, — сказал полковник. — Значит, осталось уже совсем немного.

Она умолкла. А когда заговорила снова, полковнику показалось, что время стоит на месте.

— По-моему, твои деньги никогда не придут.

— Придут.

— А если не придут?

Полковник решил не отвечать. Запел петух, и это вернуло его к действительности, но затем он погрузился в сон, глубокий, не потревоженный угрызениями совести. Когда проснулся, солнце стояло уже высоко. Жена еще спала. Полковник проделал все то, что и обычно делал каждое утро, и стал ждать, когда проснется жена, чтобы позавтракать.

Она появилась в кухне с непроницаемым лицом. Кроме пожелания друг другу доброго утра, за завтраком они не обмолвились ни словом. Полковник выпил черный кофе и съел кусочек сыра со сладкой булочкой. Все утро он провел в портняжной мастерской. В час дня вернулся домой и застал жену за латанием одежды — она сидела среди бегоний.

— Пора обедать, — сказал он.

— Обеда нет, — ответила женщина.

Он пожал плечами. Старательно заделал дырки в из-

города патио, чтобы мальчишки не лазали в кухню. Когда он вернулся в дом, стол был накрыт.

За обедом он увидел: жена делает огромные усилия, чтобы не заплакать. Это его встревожило. Он знал характер своей жены, и так-то достаточно суровый, но ставший еще тверже за сорок лет горечи. Когда умер их сын, она не уронила ни слезинки.

Он с упреком посмотрел ей прямо в глаза. Она прикусила губу, вытерла уголки глаз рукавом и снова принялась есть.

— Тебе на меня наплевать, — сказала она.

Полковник промолчал.

— Ты капризный, упрямый, и тебе на меня наплевать, — повторила она. Сложила нож и вилку крест-накрест на тарелке, но тут же суеверно вернула их на прежнее место. — Всю жизнь быть с тобой, а сейчас значить для тебя меньше, чем петух!

— Это разные вещи, — сказал полковник.

— Нет, не разные, — ответила женщина. — Можешь ты наконец понять, что я умираю, что это не просто болезнь, а агония?

Полковник не произнес ни слова, пока не закончил обедать.

— Если доктор даст мне гарантию, что продажа петуха вылечит тебя от астмы, я продам его тут же, — сказал он. — Но если нет, тогда нет.

В тот день он понес петуха на галерею. Когда вернулся, у жены начинался приступ.

Она ходила туда-сюда по коридору, простоволосая, раскинув руки, и хватала ртом воздух, который со свистом проникал в легкие. И так до самого вечера. Потом она легла, не сказав мужу ни слова.

После комендантского часа она все еще бормотала молитвы. Полковник решил наконец погасить лампу. Но жена воспротивилась.

— Я не хочу умереть в темноте, — сказала она.

Полковник снова поставил лампу на пол. Он чувст-

вовал себя вымотанным. Ему хотелось забыть обо всем, проспаться сорок четыре дня кряду и проснуться двадцатого января в три часа дня на галере, как раз в тот момент, когда надо будет выпускать петуха. Но жена не спала, и поэтому ему тоже не удавалось уснуть.

— Вечная история, — начала она снова. — Мы умираем с голоду, чтобы другие ели досыта. И так все сорок лет.

Полковник молчал до тех пор, пока жена не спросила, не спит ли он. Тогда он ответил, что да, спит. Жена продолжала ровным голосом, неумолимая, будто течение реки:

— Все наживутся на этом петухе, кроме нас. Мы единственные, у кого нет ни сентаво, чтобы на него поставить.

— Хозяин петуха имеет право на двадцать процентов.

— Ты имел право и на должность, когда с тебя драли три шкуры во время выборов, — возразила жена. — Ты имеешь право на пенсию ветерана после того, как рисковал своей шкурой во время гражданской войны. Теперь у всех жизнь устроена, а ты совершенно один и умираешь с голоду.

— Я не один, — сказал полковник. Он хотел еще что-то добавить, но его сморил сон. Жена продолжала приглушенно говорить, пока не поняла, что муж уже спит. Тогда она выбралась из-под москитника и в темноте прошла в гостиную. И там продолжала говорить. Полковник окликнул ее, когда уже светало.

Она появилась в дверях, похожая на привидение, освещенная снизу едва горевшей лампой. Прежде чем забраться под москитную сетку, погасила ее. И продолжала говорить.

— Давай сделаем одну вещь, — перебил ее полковник.

— Единственное, что мы можем сделать, — это продать петуха, — сказала жена.

— Мы можем продать часы.

— Их никто не купит.

— Завтра попробую продать их дону Альваро за сорок песо.

— Он их не даст.

— Тогда продадим картину.

Жена встала с постели и снова заговорила. Полковник чувствовал ее дыхание, смешанное с запахом лекарственных трав.

— Ее никто не купит.

— Посмотрим, — примирительно сказал полковник, стараясь, чтобы его голос звучал как можно спокойнее. — А сейчас спи. Если завтра ничего не удастся продать, тогда и подумаем, что делать.

Он попытался полежать немного с открытыми глазами, но тут же уснул. Провалился куда-то, где нет ни времени, ни пространства и где слова его жены имели совершенно иной смысл. Но вскоре почувствовал, что его трясут за плечо.

— Ответь мне.

Полковник сразу и не понял, слышал ли он этот голос до сна или после. Светало. В окне виднелась чистая зелень воскресного утра. Ему казалось: его лихорадит. Веки горели, он с трудом собрался с мыслями.

— Что мы будем делать, если ничего не удастся продать? — снова завела жена все ту же песню.

— Тогда уже будет двадцатое января, — сказал полковник, полностью очнувшись. — Двадцать процентов выплачивают в тот же день.

— Если петух выигрывает, — сказала жена. — А если проигрывает? Тебе не приходило в голову, что он может проиграть?

— Этот петух не может проиграть.

— А ты представь, что проигрывает.

— Об этом надо будет думать еще только через сорок пять дней, — сказал полковник.

Жена пришла в отчаяние.

— И что мы будем есть все это время? — спросила она и, схватив полковника за ворот рубашки, с силой тряхнула его. — Скажи, что мы будем есть?

Полковнику потребовалось прожить семьдесят пять лет — семьдесят пять лет своей жизни, минута в минуту, чтобы дожить до этого мгновения. Он почувствовал себя непобедимым, когда четко и ясно произнес в ответ:

— Дерьмо.

РАССКАЗЫ

Там снова послышался этот шум. Звуки были резкие, отрывистые, надоедливые, уже узнаваемые; но сейчас они вызвали острое, мучительное ощущение — видимо, за эти дни он от них отвык.

Они гулко отдавались в голове — глухие, болезненные. Казалось, череп у него заполняется сотами. Они вырастали, закручиваясь восходящими спиралями, и ударили его изнутри, заставляя вибрировать верхушки позвонков в нервном, неустойчивом ритме, в каком вибрировало и все тело. Что-то разладилось в устройстве его крепкого человеческого организма; что-то действовавшее до *того* нормальным образом теперь стучало у него в голове сухими, жесткими ударами молотка, чья-то рука, лишенная плоти, как у скелета, ударила по черепу, и это заставляло его вспоминать самые горькие в жизни минуты. Подсознательным движением он сжал кулаки и поднес их к голубовато-фиолетовым артериям на висках, стараясь раздавить невыносимую боль. Ему хотелось взять в руки и ощутить ладонями этот шум, который дырявил его сознание острием алмазной иглы. Мускулы его напряглись, словно у кота, стоило ему только представить себе, как он преследует его, этот шум, в самых чувствительных участках воспаленного мозга, попавшего в лапы лихорадки. Вот он уже достиг его. Нет. Шкура у этого шума скользкая, почти неосязаемая. Но он все-таки доберется до него благодаря хорошо продуманным приемам и будет долго, до самого конца, сжимать его изо всех сил своего отчаяния. Он не позволит ему больше проникать в его слух; пусть он

выйдет у него изо рта, через каждую пору, из глаз, которые вылезут из орбит и ослепнут, следя за тем, как шум этот выходит из глубин охваченного лихорадкой мрака. Он не позволит, чтобы тот выдавливал из него осколки кристалликов, сверкающие снежинки на внутренних стенках черепа. Вот какой это был шум: нескончаемый и такой, будто ребенка ударяли головой о каменную стену. Когда резко ударяют чем-нибудь о твердую поверхность природных образований. Шум перестанет его мучить, если окружить его, изолировать. Отрезать и отрезать по куску от его собственной тени. И схватить. Сжать его, теперь уже наверняка; изо всех сил швырнуть на пол и яростно топтать до тех пор, пока он уже действительно не сможет пошевелиться; и тогда скажет, задыхаясь, что он убил шум, который мучил его, который сводил с ума и который теперь валяется на полу, как самая обычная вещь, — превратившись в остывшего покойника.

Но ему никак было не сжать виски. Руки стали короткими, словно у карлика, — маленькие, толстые, жирные руки. Он попробовал встряхнуть головой. Встряхнул. Шум в голове возник с новой силой, он становился все более жестким, усиливался и тяжелел от собственной силы. Он был жесткий и тяжелый. Такой жесткий и такой тяжелый, что, когда настигнешь его и уничтожишь, будет казаться, что оборвал лепестки свинцового цветка.

Он слышал этот шум с той же настойчивостью и раньше. Например, когда умер первый раз. Когда — перед тем как увидеть труп — понял: этот труп — его собственный. Он осмотрел его и потрогал. Тело оказалось неосязаемым, неосязаемым, несуществующим. Он действительно стал трупом и уже чувствовал, как его тело, молодое и пораженное болезнью, заполняет смерть. Воздух во всем доме сгустился, будто пропитался цементом, а внутри этой густоты — там, где предметы оставались такими же, будто это все еще был обычный

воздух, — внутри был он, заботливо упрятанный в гроб из твердого, но прозрачного цемента. В тот раз в голове у него возник *этот самый шум*. Какими чужими и холодными казались ему стопы его ног; там, на другом конце гроба, лежала подушка, потому что ящик был великоват для него и надо было подогнать по росту, приладить к мертвому телу эту новую и последнюю его одежду. Его покрыли белым покрывалом и подвязали челюсть платком. Он казался себе очень красивым в этом саване, смертельно красивым.

Он лежал в гробу, готовый к погребению, и, однако, знал, что не умер. И если бы он попытался встать, ему удалось бы это без труда. По крайней мере *мысленно*. Но делать этого не стоило. Уж лучше умереть там, умереть от *смерти*, которой, в сущности, и была его болезнь. Когда-то врач сухо сказал его матери:

— Сеньора, ваш ребенок тяжело болен — все равно что мертв. Однако, — продолжал он, — мы сделаем все возможное, чтобы продлить ему жизнь и оттянуть смерть. Мы добьемся продолжения органических функций благодаря комплексной системе самонасыщения. Изменяется только двигательные функции, будут затруднены одновременные движения. О том, что он жив, мы будем знать по его росту, — расти он будет обычным порядком, просто-напросто *смерть заживо*. Подлинная, действительная смерть...

Он помнил эти слова, хотя и смутно. А может, он никогда их не слышал и они были измышлением его мозга, когда поднялась температура во время кризиса тифозной горячки.

Когда он утопал в бреде. Когда читал истории о набальзамированных фараонах. Когда поднималась температура, он чувствовал себя ее протагонистом. Тогда и началось что-то вроде пустоты, из которой состояла его жизнь. С тех пор он перестал различать, какие события случились на самом деле, а какие ему пригрезились. Поэтому он и сомневался сейчас. Может быть, врач ни-

когда и не говорил об этой странной *смерти заживо*. Ведь это алогично, парадоксально, это просто противоречит само себе. И это заставляет его подозревать, что он на *самом деле* умер. Вот уже восемнадцать лет, как это произошло.

Тогда — ему было семь лет, когда он умер, — его мать заказала для него маленький гроб из свежеспиленной древесины, гроб для ребенка, но врач велел сделать ящик побольше, как для нормального взрослого, а то этот, маленький, мог бы замедлить рост, и в результате получился бы деформированный мертвец или живой урод. Или из-за того, что задержится рост, нельзя будет заметить улучшение. Учитывая подобное развитие событий, мать заказала большой гроб, как для умершего подростка, и положила в ногах три подушки, чтобы гроб был впору.

Вскоре он начал расти внутри ящика, да так, что каждый год нужно было понемногу вынимать перья из подушки, лежавшей к нему ближе всех, чтобы освободить место. Так прошла половина жизни. Восемнадцать лет. (Теперь ему было двадцать пять.) Он дорос до своих окончательных, нормальных размеров. Столяр и врач ошиблись в расчетах, и гроб получился на полметра больше, чем нужно. Они думали, что он будет такого же роста, как его отец, который был похож на первобытного гиганта. Но он таким не стал. Единственное, что он унаследовал, — это бороду «лопатой». Пепельную густую бороду, которую приводила в порядок его мать, чтобы он выглядел в гробу достойно. Борода ужасно мешала ему в жаркие дни.

Но было еще кое-что, беспокоившее его больше, чем *этот шум!* Это были крысы. Особенно когда он был ребенком, ничто так не мучило его и не приводило в такой ужас, как крысы. Именно эти мерзкие животные сбегались на запах горящих свечей, которые ставили у него в ногах. Они обгладывали его одежду, и он знал, что очень скоро они возьмутся за него самого и начнут

глодать его плоть. Однажды ему удалось их увидеть: пять крыс, скользких и блестящих, забрались в гроб, вскарабкавшись по ножке стола, и сожрали его. Когда мать обнаружит это, она увидит только его останки, только твердые холодные кости. Но самый большой ужас он испытал не оттого, что крысы могут его съесть. В конце концов, он мог бы продолжать жить в виде скелета. Больше всего его мучил врожденный ужас перед этими зверьми. У него волосы вставали дыбом, стоило ему только подумать об этих существах, покрытых шерстью, которые бегали по всему телу, проникали в каждую складку кожи и царапали губы своими холодными лапами. Одна из них добралась до его век и стала грызть роговицу. Когда она отчаянно пыталась продырявить сетчатку, он видел, какая она огромная, безобразная. Тогда он подумал, что умирает еще раз, и целиком отдался обморочной неизбежности.

Он вспомнил, что достиг взрослого возраста. Ему было двадцать пять, и это означало, что больше он расти не будет. Черты лица его определились, стали жесткими. Но если бы он выздоровел, то не мог бы говорить о своем детстве. У него не было детства. Он прожил его мертвым.

Пока совершался переход от детства к отрочеству, у его матери было много тревог и опасений. Она беспокоилась о поддержании чистоты в гробу и в комнате вообще. Она часто меняла цветы в вазах и каждый день открывала форточки, чтобы проветрить комнату. С каким удовлетворением любовалась она отметкой на сантиметре, когда убеждалась, что он вырос еще немного! Она испытывала материнскую гордость, видя его живым. Заботилась мать и о том, чтобы в доме не было посторонних. В конце концов, многолетнее пребывание мертвеца в жилой комнате могло быть кому-то неприятно и необъяснимо. Это была самоотверженная женщина. Но скоро ее оптимизм начал убывать. В последние годы она с грустью смотрела на сантиметр. Ее ребенок пере-

стал расти. За последние месяцы его рост не увеличился ни на один дюйм. Мать знала, что очень трудно найти какой-либо другой способ, с помощью которого можно было бы обнаружить признаки жизни в ее дорогом покойнике. Она боялась, что однажды утром он встретит ее *действительно* мертвым, так что каждый день он видел, как она осторожно подходит к его ящику и обнюхивает его. Она впала в безысходное отчаяние. Последнее время мать уже не была такой внимательной и даже не брала в руки сантиметр. Она знала, что он больше не растет.

И он знал, что теперь *действительно* умер. Знал по мирному спокойствию, в котором пребывал его организм. Все разладилось. Едва уловимые удары сердца, которые мог ощутить только он сам, исчезали совсем, заглушаемые ударами пульса. Удары были тяжелые, будто их влекла призывная могучая сила первородной субстанции — земли. Казалось, его влечет к себе с необоримой мощью сила притяжения. Он был тяжелым, как безвозвратно умерший человек. Зато теперь он мог отдохнуть. Именно там. Ему даже не надо было дышать, чтобы жить в смерти.

В его воображении, не прикасаясь к нему, прошли, одно за другим, воспоминания. Там, на жесткой подушке, покоилась его голова, слегка повернутая влево. Он представил себе, что его полуоткрытый рот — это узкий берег прохлады, которая заполняла его гортань множеством мелких градин. Он был сломан, словно двадцатипятилетнее дерево. Он попытался закрыть рот. Платок, которым была подвязана челюсть, ослаб. Он не мог даже улечься, устроиться таким образом, чтобы принять *достойную позу*. Мускулы и сочленения уже не слушались его, не отзывались на сигналы нервной системы. Он уже был не таким, как восемнадцать лет назад, — нормальным ребенком, который мог двигаться, как ему нравится. Он чувствовал свои бессильные руки, прижатые к обитым ватой стенкам гроба, руки, которые ему уже ни-

когда не будут повиноваться. Живот был твердым, как ореховая скорлупа. Затем ноги — прямые, правильной формы, по которым можно изучать анатомию человека. Покоясь в гробу, его тело становилось тяжелее, но все происходило тихо, без какого-либо беспокойства, как будто мир вокруг замер и никто не нарушает этой тишины; будто легкие земли перестали дышать, чтобы не тревожить невесомый покой воздуха. Он чувствовал себя счастливым, как ребенок, который лежит на прохладной упругой траве и смотрит на плывущие в вечернем небе облака. Он был счастлив, хотя знал, что умер, что навсегда упокоился в деревянном ящике, обитом искусственным шелком. Ум его был необыкновенно ясен. Это было не так, как после первой смерти, когда он чувствовал, что оступел и ничего не воспринимает. Четыре свечи, поставленные вокруг него и обновлявшиеся каждые три месяца, почти истаяли, как раз когда они были так нужны! Он почувствовал близкую свежесть влажных фиалок, которые его мать принесла утром. Он чувствовал, как свежесть исходит и от белых лилий, и от роз. Но вся эта пугающая реальность не причиняла ему никакого беспокойства — напротив, он был счастлив, совсем один, наедине со своим одиночеством. Может быть, ему станет страшно потом?

Кто знает. Жестоко было думать о той минуте, когда молоток вобьет гвозди в свежую древесину и гроб закрипит в крепнущей надежде снова стать деревом. Его тело, теперь увлекаемое высшей силой земли, опустится на влажное дно, глинистое и мягкое, и там, наверху, заглушаемые четырьмя кубометрами земли, затихнут последние удары погребения. Нет. Ему и тогда не будет страшно. Это будет продолжением его смерти, самым естественным продолжением его нового состояния.

Его тело уже не сохраняло ни одного градуса тепла, мозг застыл, и снежинки проникли даже в костный мозг. Как просто оказалось привыкнуть к новой жизни, жизни мертвеца! Однажды — несмотря ни на что — он почув-

ствует, как развалится на части его прочный каркас; и когда он захочет ощутить каждое из своих сочленений, у него уже ничего не получится. Он поймет, что у него больше нет определенной, точной формы, и сумеет смириться с тем, что потерял свое совершенное анатомическое устройство двадцатипятилетнего человека и превратился в бесформенную горсть праха, без всяких геометрических очертаний.

В библейский прах смерти. Может быть, тогда его охватит легкая тоска — тоска по тому, что он уже не настоящий труп, имеющий анатомию, а труп воображаемый, абстрактный, существующий только в смутных воспоминаниях родственников. Он поймет, что теперь будет подниматься по капиллярам какой-нибудь яблони и однажды будет разбужен проголодавшимся ребенком, который надкусит его осенним утром. Он узнает тогда — и от этого ему сделается грустно, — что утратил гармоническое единство и теперь не является даже самым обыкновенным покойником, мертвецом, как все прочие мертвецы.

Последнюю ночь он провел счастливо, в обществе собственного трупа.

Но с наступлением нового дня, когда первые лучи нежаркого солнца проникли в приоткрытое окно, он почувствовал, что кожа стала мягкой. Минуту он оглядывал себя. Спокойно, тщательно. Подождал, пока до него долетит ветерок. Сомнений быть не могло: от него *пахло*. За ночь мертвая плоть начала разлагаться. Его организм стал разрушаться и гнить, как тело любого покойника. *Запах*, несомненно, был — запах тухлого мяса, который то исчезал, то вновь появлялся уже с новой силой. Тело стало разлагаться из-за жары, в прошлую ночь. Да. Он гнил. Через несколько часов придет мать, чтобы поменять цветы, и с порога ее окутает запах гниющей плоти. И тогда его унесут, чтобы предать вечному сну второй смерти среди прочих мертвецов.

Вдруг страх толкнул его в спину. Страх! Какое глу-

бокое, какое значащее слово! Теперь он был охвачен страхом, *физическим*, подлинным. Что это означает? Он прекрасно понял и содрогнулся: наверное, он не умер. Они поместили его сюда, в этот ящик, который он прекрасно чувствовал всем телом: мягкий, подбитый ватой, ужасающе удобный; а призрак страха открыл ему окно в действительность: его похоронят живым!

Он не мог быть мертвым, поскольку ясно отдавал себе отчет во всем, что происходит, он чувствовал шепот жизни вокруг. Мягкий аромат гелиотропов, проникавший в открытое окно, смешивался с этим *его запахом*. Он отчетливо услышал, как тихо плещется вода в пруду. Как не переставая стрекочет сверчок в углу, полагая, что еще не рассвело.

Все говорило ему, что он не умер. Все, кроме *запаха*. Но почему он решил, что этот запах исходит от него? Может быть, мать забыла поменять воду в вазах и это гниют стебли цветов? А может быть, гниет крыса, которую кошка притащила в его комнату? Нет. Это не может быть *его запахом*.

Всего несколько минут назад он был счастлив, что умер, потому что считал себя мертвым. Потому что мертвый может быть счастливым в своем непоправимом положении. Но живой не может примириться с тем, что его похоронят заживо. Однако его тело не подчинялось ему. Он не мог выразить то, что хотел, и это внушало ему ужас — самый большой ужас в его жизни и в его смерти. Его похоронят заживо. Он сможет это почувствовать. Ощутить ту минуту, когда будут заколачивать гроб. Почувствовать невесомость своего тела, которое будут поддерживать плечи друзей, в то время как гнетущая тоска и отчаяние будут расти в нем с каждым шагом похоронной процессии.

Бесполезно будет пытаться подняться, взывать изо всех своих слабых сил, бесполезно стучать, лежа внутри темного тесного гроба, пытаясь дать им знать, что он еще жив и что они идут хоронить его заживо. Это будет

бесполезно: его мышцы и тогда не ответят на тревожный и последний призыв нервной системы.

Он услышал шум в соседней комнате. Он что, спал? Вся эта жизнь мертвеца была кошмарным сном? Однако звон посуды продолжал слышаться. Ему сделалось грустно, может быть, даже неприятно, от этого шума. Захотелось, чтобы вся посуда в мире взяла и разбилась, там, рядом с ним, чтобы какая-то внешняя причина пробудила то, что его воля была уже бессильна пробудить.

Но нет. Это не было сном. Он был уверен: если бы это был сон, его последняя попытка вернуться к реальности не потерпела бы поражения. Он никогда уже не проснется. Он чувствовал податливость шелка в гробу и *запах*, который окутал его так сильно, что он даже усомнился, от него ли это пахнет. Ему захотелось увидеть родственников, прежде чем он начнет разлагаться, чтобы вид гнилого мяса не вызвал у них отвращения. Соседи в ужасе бросятся от гроба врассыпную, прижимая к носам платки. Их будет рвать. Нет. Не надо такого. Пусть лучше его похоронят. Лучше покончить со всем *этим* как можно раньше. Он и сам уже хотел отделаться от собственного трупа. Теперь он знал, что *действительно* умер или, может быть, жив, но так, что это уже ничего не значит для него. Все равно. В любом случае *запах* слышался все настойчивее.

Смирившись, он бы слушал последние молитвы, последние слова, звучащие на скверной латыни, нечетко повторяемые собравшимися. Ветер кладбищенских костей, наполненный прахом, проникнет в его кости и, может быть, немного рассеет этот запах. Быть может — кто знает! — неизбежность происходящего заставит его очнуться от летаргического сна. Когда он почувствует, что плавает в собственном поту, в густой вязкой жидкости, вроде той, в которой он плавал до рождения в утробе матери. Тогда, быть может, он станет живым.

Но он уже так смирился со смертью, что, возможно, от смирения и умер.

Она вдруг заметила, что красота разрушает ее, что красота вызывает физическую боль, будто какая-нибудь опухоль, возможно даже раковая. Она ни на миг не забывала всю тяжесть своего совершенства, которая обрушилась на нее еще в отрочестве и от которой она теперь готова была упасть без сил — кто знает куда, — в усталом смирении дернувшись всем телом, словно загнанное животное. Невозможно было дальше тащить такой груз. Надо было избавиться от этого бесполезного признака личности, от части, которая была ее именем и которая так сильно выделялась, что стала лишней. Да, надо сбросить свою красоту где-нибудь за углом или в отдаленном закоулке предместья. Или забыть в гардеробе какого-нибудь второсортного ресторана, как старое ненужное пальто. Она устала везде быть в центре внимания, осаждаемой долгими взглядами мужчин. По ночам, когда бессонница втыкала иголки в веки, ей хотелось быть обычной, ничем не привлекательной женщиной. Ей, заключенной в четырех стенах комнаты, все казалось враждебным. В отчаянии она чувствовала, как бессонница проникает под кожу, в мозг, подталкивает лихорадку к корням волос. Будто в ее артериях поселились крошечные теплокровные насекомые, которые с приближением утра просыпаются и перебирают подвижными лапками, бегая у нее под кожей туда-сюда, — вот что такое был этот кусок плодоносной глины, принявшей обличье прекрасного плода, вот какой была ее природная красота. Напрасно она боролась, пытаясь прогнать этих мерзких тварей. Ей это не удавалось. Они

были частью ее собственного организма. Они жили в ней задолго до ее физического существования. Они перешли к ней из сердца ее отца, который, мучась, кормил их ночами безутешного одиночества. А может быть, они попали в ее артерии через пуповину, связывавшую ее с матерью со дня основания мира. Несомненно, эти насекомые не могли зародиться только в ее теле. Она знала: они пришли из далекого прошлого и все, кто носил ее фамилию, вынуждены были их терпеть и так же, как она, страдали от них, когда до самого рассвета их одолевала бессонница. Именно из-за этих тварей у всех ее предков было горькое и грустное выражение лица. Они глядели на нее из ушедшей жизни, со старинных портретов, с выражением одинаково мучительной тоски. Она вспоминала беспокойное выражение лица своей прабабки, которая, глядя со старого холста, просила минуту покоя, покоя от этих насекомых, которые сновали в ее кровеносных сосудах, немилосердно муча и создавая ее красоту. Нет, это были насекомые, что зародились не в ней. Они переходили из поколения в поколение, поддерживая своей микроскопической конструкцией избранную касту, обреченную на мучения. Эти насекомые родились во чреве первой из матерей, которая родила красавицу дочь. Однако надо было срочно разрушить такой порядок наследования. Кто-то должен был отказаться передавать эту искусственную красоту. Грош цена женщинам ее рода, которые восхищались собой, глядя в зеркало, если по ночам твари, населяющие их кровеносные сосуды, продолжали свою медленную и вредоносную работу — без усталости, на протяжении веков. Это была не красота, а болезнь, которую надо было остановить, оборвать этот процесс решительно и по существу.

Она вспоминала нескончаемые часы, проведенные в постели, будто усеянной горячими иголками. Ночи, когда она старалась торопить время, чтобы с наступлением дня эти твари оставили ее в покое и боль утихла.

Зачем нужна такая красота? Ночь за ночью, охваченная отчаянием, она думала: лучше бы родиться обыкновенной женщиной или родиться мужчиной, чтобы не было этого бесполезного преимущества, что приносят насекомые из рода в род, насекомые, которые только ускоряют приход неминуемой смерти. Возможно, она была бы счастливей, если бы была уродиной, непоправимо некрасивой, как ее чешская подруга, у которой было какое-то собачье имя. Лучше уж быть некрасивой и спокойно спать, как все добропорядочные христиане.

Она проклинала своих предков. Они виноваты в ее бессоннице. Они передали ей эту застывшую совершенную красоту, как будто, умерев, матери подновляли и подправляли свои лица и прилаживали их к туловищам дочерей. Казалось, одна и та же голова, всего одна, переходит из одного поколения в другое и у всех женщин, которые должны неотвратно принять ее как наследственный признак красоты, — одинаковые уши, нос, рот. И так, переходя от лица к лицу, был создан этот вечный микроорганизм, который с течением времени усилил свое воздействие, приобрел свои особенности, мощь и превратился в непобедимое существо, в неизлечимую болезнь, которая, пройдя сложный процесс отбора, добралась до нее, и нет больше сил терпеть — такой острой и мучительной она стала!.. И в самом деле, будто опухоль, будто раковая опухоль.

Именно в часы бессонницы вспоминала она о таких неприятных для тонко чувствующего человека вещах. О том, что заполняло мир ее чувств, где выращивались, как в пробирке, эти ужасные насекомые. В такие ночи, глядя в темноту широко открытыми изумленными глазами, она чувствовала тяжесть мрака, опустившегося на виски, словно расплавленный свинец. Вокруг нее все спало. Лежа в углу, она пыталась разглядеть окружающие предметы, чтобы отвлечь себя от мыслей о сне и своих детских воспоминаниях.

Но это всегда кончалось ужасом перед неизвестнос-

тью. Каждый раз ее мысль, бродя по темным закоулкам дома, наталкивалась на страх. И тогда начиналась борьба. Настоящая борьба с тремя неподвижными врагами. Она не могла — нет, никогда не могла — выкинуть из головы этот страх. Горло ее сжималось, а надо было терпеть его, этот страх. И все для того, чтобы жить в огромном старом доме и спать одной, отделенной от остального мира, в своем углу.

Мысль ее бродила по затхлым темным коридорам, стряхивая пыль со старых, покрытых паутиной портретов. Эта ужасная, потревоженная ее мыслью пыль прилетала оттуда, где превращался в ничто прах ее предков. Она всегда вспоминала о *малыше*. Представляла себе, как он, уснувший, лежит под корнями травы, в патио, рядом с апельсиновым деревом, с комком влажной земли во рту. Ей казалось, она видит его на глинистом дне, как он царапает землю ногтями и зубами, пытаясь уйти от холода, проникающего в него; как он ищет выход наверх в этом узком туннеле, куда его положили и обсыпали ракушками. Зимой она слышала, как он тоненько плачет, перепачканный глиной, и его плач прорывается сквозь шум дождя. Ей казалось, он должен был сохраниться в этой яме, полной воды, таким, каким его оставили там пять лет назад. Она не могла представить себе, что плоть его сгнила. Напротив, он, наверное, очень красивый, когда плавает в той густой воде, из которой нет выхода. Или она видела его живым, но испуганным, ему страшно быть там одному, погребенному в темном патио. Она сама не хотела, чтобы его оставляли там, под апельсиновым деревом, так близко от дома. Ей было страшно... Она знала: он догадается, что по ночам ее неотступно преследует бессонница. И придет по широким коридорам просить ее, чтобы она пошла с ним и защитила бы его от других тварей, пожирающих корни его фиалок. Он вернется, чтобы уснуть рядом с ней, как делал это, когда был жив. Она боялась почувствовать его рядом с собой снова — после того, как ему удастся

разрушить стену смерти. Боялась прикосновения этих рук, *малыш* всегда будет держать их крепко сцепленными, чтобы отогреть кусочек льда, который принесет с собой. После того как его превратили в цемент, наводящее страх надгробие, она хотела, чтобы его увезли далеко, потому что боялась вспоминать его по ночам. Однако его оставили там, окоченелого, в глине, и дождевые черви теперь пьют его кровь. И приходится смириться с тем, что он является ей из глубины мрака, ибо всякий раз, неизменно, когда она не могла заснуть, она думала о *малыше*, который зовет ее из земли и просит, чтобы она помогла ему освободиться от этой нелепой смерти.

Но сейчас, по-новому ощутив пространство и время, она немного успокоилась. Она знала, что там, за пределами ее мира, все идет своим чередом, как и раньше; что ее комната еще погружена в предрассветный сумрак и что предметы, мебель, тринадцать любимых книг — все остается на своих местах. И что запах живой женщины, заполняющий пустоту ее чрева, который исходит от ее одинокой постели, начинает исчезать. Но как *это* могло произойти? Как она, красивая женщина, в крови которой обитают насекомые, преследуемая страхом многие ночи, оставила свои бессонные кошмары и оказалась в странном, неведомом мире, где вообще нет измерений? Она вспомнила. В ту ночь — ночь перехода в этот мир — было холоднее, чем всегда, и она была дома одна, измученная бессонницей. Никто не нарушал тишины, и запах из сада был запахом страха. Обильный пот покрывал все ее тело, будто вся кровь из вен разлилась внутри ее, вытесненная насекомыми. Ей хотелось, чтобы хоть кто-нибудь прошел мимо дома по улице или кто-нибудь крикнул, чтобы расколоть эту застывшую тишину. Пусть что-нибудь в природе произойдет, и Земля снова завертится вокруг Солнца. Но все было бесполезно. Эти глупые люди даже не проснутся, они будут и дальше спать, зарывшись в подушки. Она тоже сохраняла неподвижность. От стен несло свежей крас-

кой, запах был такой густой и навязчивый, что чувствовался не обонянием, а скорее желудком. Единственными, кто разбивал тишину своим неизменным тиканьем, были часы на столике. «Время... о время!» — вздохнула она, вспомнив о смерти. А там, в патио, под апельсиновым деревом, тоненько плакал *малыш*, и плач его доносился из другого мира.

Она призвала на помощь всю свою веру. Почему никак не рассветет, почему ей сейчас не умереть? Она никогда не думала, что красота может стоять таких жертв. В тот момент, как обычно, кроме страха она почувствовала физическую боль. Даже сквозь страх мучили ее эти жестокие насекомые. Смерть схватила ее жизнь, как паук, который злобно кусал ее, намереваясь уничтожить. Но оттягивал последнее мгновение. Ее руки, те самые, что глупцы мужчины сжимали, не скрывая животной страсти, были неподвижны, парализованы страхом, необъяснимым ужасом, шедшим изнутри, не имеющим причины, кроме той, что она покинута всеми в этом старом доме. Она хотела собраться с силами и не смогла. Страх поглотил ее целиком и только возростал, неотступный, напряженный, почти осязаемый, будто в комнате был кто-то невидимый, кто не хотел уходить. И больше всего ее тревожило: у этого страха не было никакого объяснения, это был страх как таковой, без всяких причин, просто страх.

Она почувствовала густую слюну во рту. Было мучительно ощущать эту жесткую резину, которая прилипла к нёбу и текла неудержимым потоком. Это не было похоже на жажду. Это было какое-то желание, преобладавшее над всеми прочими, которое она испытывала впервые в жизни. На какой-то миг она забыла о своей красоте, бессоннице и необъяснимом страхе. Она не узнавала себя самое. Ей вдруг показалось — из ее организма вышли микробы. Она чувствовала их в слюне. Да, и это было очень хорошо. Хорошо, что насекомых больше нет и что она сможет теперь спать, но нужно было

найти какое-то средство, чтобы избавиться от резины, обмотавшей язык. Вот бы дойти до кладовой и... Но о чем она думает? Она вдруг удивилась. Она никогда не чувствовала *такого* желания. Неожиданный терпкий привкус лишал ее сил и делал бессмысленным тот обет, которому она была верна с того дня, как похоронила *малыша*. Глупость, но она не могла побороть отворачивания и съесть апельсин. Она знала: *малыш* добирается весной до цветов на дереве, и плоды осенью будут питаны его плотью, освеженные жуткой прохладой смерти. Нет. Она не могла их есть. Она знала, что под каждым апельсиновым деревом, во всем мире, похоронен ребенок, который насыщает плоды сладостью из кальция своих костей. Однако сейчас ей хотелось съесть апельсин. Это было единственным средством от тягучей резины, которая душила ее. Глупо было думать, что *малыш* был в каждом апельсине. Надо воспользоваться тем, что боль, какую причиняла ей красота, наконец оставила ее, надо дойти до кладовой. Но... не странно ли это? Впервые в жизни ей хотелось съесть апельсин. Она улыбнулась — да, улыбнулась. Ах, какое наслаждение! Съесть апельсин. Она не знала почему, но никогда у нее не было желания более сильного. Вот бы встать, счастливой от сознания, что ты обыкновенная женщина, и, весело напевая, дойти до кладовой — весело, как обновленная женщина, которая только что родилась. Обязательно пойти в патио и...

Вдруг мысли ее прервались. Она вспомнила, что уже попыталась подняться и что она уже не в своей постели, что тело ее исчезло, что нет тринадцати любимых книг и что она — уже не она. Она стала бестелесной и парила в свободном полете в абсолютной пустоте, летела неизвестно куда, превратившись в нечто аморфное, в нечто мельчайшее. Она не могла с точностью сказать, что происходит. Все перепуталось. У нее было ощущение, что кто-то толкнул ее в пустоту с невероятно высокого обрыва. Ей казалось, она превратилась в нечто абстракт-

ное, воображаемое. Она чувствовала себя бестелесной женщиной — как если бы вдруг вошла в высший, непознанный мир невинных душ.

Ей снова стало страшно. Но не так, как раньше. Теперь она не боялась, что заплачет *малыш*. Она боялась этого чуждого, таинственного и незнакомого нового мира. Подумать только — все произошло так естественно, при полном ее неведении! Что скажет ее мать, когда придет домой и поймет, что произошло? Она представила, как встревожатся соседи, когда откроют дверь в ее комнату и увидят, что кровать пуста, замки целы и что никто не мог ни выйти, ни войти, но, несмотря на это, ее в комнате нет. Представила отчаяние на лице матери, которая ищет ее повсюду, теряясь в догадках и спрашивая себя, что случилось с ее девочкой. Дальнейшее виделось ясно. Все соберутся и начнут строить предположения — разумеется, зловещие — о ее исчезновении. Каждый на свой лад. Выискивая объяснение наиболее логичное, по крайней мере наиболее приемлемое; и дело кончится тем, что мать бросится бежать по коридорам дома, в отчаянии звать ее по имени.

А она будет в комнате. Она будет смотреть на происходящее, тщательно разглядывая все вокруг, глядя из угла, с потолка, из щелей в стенах, отовсюду — из самого удобного местечка, под прикрытием своей бестелесности, своей неузнаваемости. Ей стало тревожно, когда она подумала об этом. Только теперь она поняла свою ошибку. Она ничего не сможет объяснить, рассказать и никого не сможет утешить. Ни одно живое существо не узнает о ее превращении. Теперь — единственный раз, когда все это ей нужно, — у нее нет ни рта, ни рук для того, чтобы все поняли, что она здесь, в своем углу, отделенная от трехмерного мира непреодолимым расстоянием. В этой своей новой жизни она совсем одинока, и ощущения ей совершенно неподвластны. Но каждую секунду что-то вибрировало в ней, по ней пробегала дрожь, заполняя ее всю и заставляя помнить, что есть

другой материальный мир, который движется вокруг ее собственного мира. Она не слышала, не видела, но знала, что можно слышать и видеть. И там, на вершине высшего мира, она поняла, что ее окружает аура мучительной тоски.

Секунды не прошло — в соответствии с нашими представлениями о времени, — как она совершила этот переход, а она уже стала понемногу понимать законы и размеры нового мира. Вокруг нее кружился абсолютный и окончательный мрак. До каких же пор будет длиться эта мгла? И привыкнет ли она к ней в конце концов? Тревожное чувство усилилось, когда она поняла, что утонула в густом, непроницаемом мраке: она — в преддверии рая? Она вздрогнула. Вспомнила все, что когда-либо слышала о лимбе. Если она и вправду там, рядом с ней должны парить другие невинные души, души детей, умерших некрещеными, которые жили и умирали на протяжении тысяч лет. Она попыталась отыскать во мраке эти существа, которые, вероятно, еще более невинны и простодушны, чем она. Полностью отделенные от материального мира, обреченные на сомнамбулическую и вечную жизнь. Может быть, *малыш* здесь, ищет выход, чтобы вернуться в свою телесную оболочку.

Но нет. Почему она должна оказаться в преддверии рая? Разве она умерла? Нет. Произошло изменение состояния, обыкновенный переход из материального мира в мир более легкий, более удобный, где стираются все измерения.

Здесь не надо страдать от подкожных насекомых. Ее красота растворилась. Теперь, когда все так просто, она может быть счастлива. Хотя... о! не вполне, потому что сейчас ее самое большое желание — съесть апельсин — стало невыполнимым. Это была единственная причина, по которой она хотела вернуться в прежнюю жизнь. Чтобы избавиться от терпкого привкуса, который продолжал преследовать ее после перехода. Она попыта-

лась сориентироваться и сообразить, где кладовая, и хотя бы почувствовать прохладный и терпкий аромат апельсинов. И тогда она открыла новую закономерность своего мира: она была в каждом уголке дома, в патио, на потолке и даже в апельсине *малыша*. Она заполняла весь материальный мир и мир потусторонний. И в то же время ее не было нигде. Она снова встревожилась. Она потеряла контроль над собой. Теперь она подчинялась высшей воле, стала бесполезным, нелепым, ненужным существом. Непонятно почему, ей стало грустно. Она почти скучала по своей красоте — красоте, которую по глупости не ценила.

Внезапно она оживилась. Разве она не слышала, что невинные души могут по своей воле проникать в чужую телесную оболочку? В конце концов, что она потеряет, если попытается? Она стала вспоминать, кто из обитателей дома более всего подошел бы для этого опыта. Если ей удастся осуществить свое намерение, она будет удовлетворена: она сможет съесть апельсин. Она перебрала в памяти всех. В этот час слуг в доме не бывает. Мать еще не пришла. Но непреодолимое желание съесть апельсин вместе с любопытством, которое вызывал в ней опыт реинкарнации, вынуждали ее действовать как можно скорее. Но не было никого, в кого можно было бы воплотиться. Причина была нешуточной: дом был пуст. Значит, она вынуждена вечно жить отделенной от внешнего мира, в своем мире, где нет никаких измерений, где нельзя съесть апельсин. И все — по глупости. Уж лучше было бы еще несколько лет потерпеть эту жестокую красоту, чем исчезнуть навсегда, стать бесполезной, как поверженное животное. Но было уже поздно.

Разочарованная, она хотела где-то укрыться, где-нибудь вне вселенной, там, где она могла бы забыть все свои прошлые земные желания. Но что-то властно не позволяло ей сделать это. В неизведанном ею пространстве открылось обещание лучшего будущего. Да, в доме

есть некто, в кого можно воплотиться: кошка! Какое-то время она колебалась. Трудно было представить себе, как это можно — стать животным. У нее будет мягкая белая шерстка, и она всегда будет готова к прыжку. Она будет знать, что по ночам глаза ее светятся, как раскаленные зеленые угли. У нее будут белые острые зубы, и она будет улыбаться матери от всего своего дочернего сердца широкой и доброй улыбкой зверя. Но нет!.. Этого не может быть. Она вдруг представила: она — кошка и бежит по коридорам дома на четырех еще непривычных лапах, легко и произвольно помахивая хвостом. Каким видится мир, если смотреть на него зелеными сверкающими глазами? По ночам она будет мурлыкать, подняв голову к небу, и просить, чтобы люди не заливали цементом из лунного света глаза *малыша*, который лежит лицом кверху и пьет росу. Возможно, если она будет кошкой, ей все равно будет страшно. И возможно, в довершение всего она не сможет съесть апельсин своим хищным ртом. Вселенский холод, родившийся у самых истоков души, заставил ее задрожать при этой мысли. Нет. Перевоплотиться в кошку невозможно. Ей стало страшно оттого, что однажды она почувствует на небе, в горле, во всем своем четвероногом теле непреодолимое желание съесть мышь. Наверное, когда ее душа поселится в кошачьем теле, ей уже не захочется апельсина, ее будет мучить отвратительное и сильное желание съесть мышь. Ее затрясло, стоило ей представить, как она, поймав мышь, держит ее в зубах. Она почувствовала, как та бьется, пытаясь вырваться и убежать в нору. Нет. Только не это. Уж лучше жить так, в далеком и таинственном мире невинных душ.

Однако тяжело было смириться с тем, что она навсегда покинула жизнь. Почему ей должно будет хотеться есть мышей? Кто будет главенствовать в этом соединении женщины и кошки? Будет ли главным животный инстинкт, примитивный, низменный, или его заглушит

независимая воля женщины? Ответ был прозрачно ясен. Зря она боялась. Она воплотится в кошку и съест апельсин. К тому же она станет необычным существом — кошкой, обладающей разумом красивой женщины. Она будет привлекать всеобщее внимание... И тут она впервые поняла, что самой главной ее добродетелью было тщеславие женщины, полной предрассудков.

Подобно насекомому, которое шевелит усиками-антеннами, она направила свою энергию на поиски кошки, которая была где-то в доме. В этот час она, должно быть, дремлет на каминной полке и мечтает проснуться со стебельком валерианы в зубах. Но там кошки не было. Она снова поискала ее, но вновь не нашла на камине. Кухня была какая-то странная. Углы ее были не такие, как раньше, не те темные углы, затянутые паутиной. Кошки нигде не было. Она искала ее на крыше, на деревьях, в канавах, под кроватью, в чулане. Все показалось ей изменившимся. Там, где она ожидала увидеть, как обычно, портреты своих предков, были только флаконы с мышьяком. И потом она постоянно находила мышьяк по всему дому, но кошка исчезла. Дом был не похож на прежний. Что случилось со всеми предметами? Почему ее тринадцать любимых книг покрыты теперь толстым слоем мышьяка? Она вспомнила об апельсиновом дереве в патио. Отправилась на поиски, предполагая найти его около *малыша*, в его яме, полной воды. Но апельсинового дерева на месте не было, и *малыша* тоже не было — только горсть мышьяка и пепла под тяжелой могильной плитой. Она, несомненно, спала. Все было другим. Дом был полон запаха мышьяка, который ударял в ноздри, как будто она находилась в аптеке.

Только тут она поняла, что прошло уже три тысячи лет с того дня, когда ей захотелось съесть апельсин.

Неизвестно почему — он вдруг проснулся, словно от толчка. Терпкий запах фиалок и формальдегида шел из соседней комнаты широкой волной, смешиваясь с ароматом только что раскрывшихся цветов, который посылал утренний сад. Он попытался успокоиться и обрести присутствие духа, которого сон лишил его. Должно быть, было уже раннее утро, потому что было слышно, как поливают грядки огорода, а в открытое окно смотрело синее небо. Он оглядел полутемную комнату, пытаясь как-то объяснить это резкое, тревожное пробуждение. У него было ощущение, физическая уверенность, что кто-то вошел в комнату, пока он спал. Однако он был один, и дверь, запертая изнутри, не была взломана. Сквозь окно пролилось сияние. Какое-то время он лежал неподвижно, стараясь унять нервное напряжение, которое возвращало его к пережитому во сне, и, закрыв глаза, лежа на спине, пытался восстановить прерванную нить спокойных размышлений. Ток крови резкими толчками отзывался в горле, а дальше, в груди, отчаянно и сильно колотилось сердце, все отмеряя и отмеряя отрывистые и короткие удары, как после изнурительного бега. Он заново мысленно пережил прошедшие несколько минут. Возможно, ему приснился какой-то странный сон. Должно быть, кошмар. Да нет, ничего особенного не было, никакого повода для *такого* состояния.

Они ехали на поезде (сейчас я это помню) по какой-то местности (я это часто вижу во сне) среди мертвой природы, среди искусственных, ненастоящих деревьев, об-

вешанных бритвенными лезвиями, ножницами и прочими острыми предметами вместо плодов (я вспоминаю: мне надо было причесаться) — в общем, парикмахерскими принадлежностями. Он часто видел этот сон, но никогда не просыпался от него так резко, как сегодня. За одним из деревьев стоял его брат-близнец, тот, которого недавно похоронили, и знаками показывал ему — однажды такое было в реальной жизни, — чтобы он остановил поезд. Убедившись в бесполезности своих жестов, брат побежал за поездом и бежал до тех пор, пока, задыхаясь, не упал с пеной у рта. Конечно, это было нелепое, ирреальное видение, но в нем не было ничего, что могло бы вызвать *такое* беспокойство. Он снова прикрыл глаза — в прожилках его век застучала кровь, и удары ее становились все жестче, словно удары кулака. Поезд пересекал скучную, унылую, бесплодную местность, и тут боль, которую он почувствовал в левой ноге, отвлекла его внимание от пейзажа. Он осмотрел ногу и увидел — не следует надевать тесные ботинки — опухоль на среднем пальце. Самым естественным образом, как будто всю жизнь только это и делал, он достал из кармана отвертку и вывинтил головку фурункула. Потом аккуратно убрал отвертку в синюю шкатулку — ведь сон был цветной, верно? — и увидел, что из опухоли торчит конец грязной желтоватой веревки. Не испытывая никакого удивления, будто ничего странного в этой веревке не было, он осторожно и ловко потянул за ее конец. Это был длинный шнур, длиннющий, который все тянулся и тянулся, не причиняя неудобства или боли. Через секунду он поднял взгляд и увидел, что в вагоне никого нет, только в одном из купе едет его брат, переодетый женщиной, и, стоя перед зеркалом, пытается ножницами вытащить свой левый глаз.

Конечно, этот сон был неприятный, но он не мог объяснить, почему у него поднялось давление, ведь в предыдущие ночи, когда он видел тяжелейшие кошмары, ему удавалось сохранять спокойствие. Он почувст-

вовал, что у него холодные руки. Запах фиалок и формальдегида стал сильнее и был неприятен, почти невыносим. Закрыв глаза и пытаясь выровнять дыхание, он попытался подумать о чем-нибудь привычном, чтобы снова погрузиться в сон, прервавшийся несколькими минутами раньше. Можно было, например, подумать: через несколько часов мне надо идти в похоронное бюро платить по счетам. В углу запел неугомонный сверчок и наполнил комнату сухим отрывистым стрекотанием. Нервное напряжение начало ослабевать понемногу, но ощутимо, и он почувствовал, как его отпустило, мускулы расслабились; он откинулся на мягкую подушку, тело его, легкое и невесомое, испытывало благодатную усталость и теряло ощущение своей материальности, земной субстанции, имеющей вес, которая определяла и устанавливала его в присутствии ему на лестнице зоологических видов месте, которое заключало в своей сложной архитектуре всю сумму систем и геометрию органов, поднимало его на высшую ступень в иерархии разумных животных. Веки послушно опустились на радужную оболочку, так же естественно, как соединяются члены, составляющие руки и ноги, которые постепенно, впрочем, теряли свободу действий; как будто весь организм превратился в единый большой, отдельный орган и он — человек — перестал быть смертным и обрел другую судьбу, более глубокую и прочную: вечный сон, нерушимый и окончательный. Он слышал, как снаружи, на другом конце света, стрекотание сверчка становилось все тише, пока совсем не смолкло; как время и состояние входили внутрь его существа, вырастая в нем в новые и простые понятия, вычеркивая из сознания материальный мир, физический и мучительный, заполненный насекомыми и терпким запахом фиалок и формальдегида.

Спокойно, обласканный теплом каждодневного покоя, он почувствовал, как легка его выдуманная дневная смерть. Он погрузился в мир отрадных путешеств-

вий, в призрачный идеальный мир — мир, будто нарисованный ребенком, без алгебраических уравнений, любовных прощаний и силы притяжения.

Он не мог сказать, сколько времени провел так, на зыбкой грани сна и реальности, но вспомнил, что рывком, будто ему ножом полоснули по горлу, подскочил в постели и почувствовал: брат-близнец, его умерший брат, сидит в ногах кровати.

Снова, как раньше, сердце сжалось в кулак и ударило его в горло так сильно, что он подскочил. Нарождающийся свет, сверчок, который нарушал тишину своим расстроенным органчиком, прохладный ветерок, донесший из мира цветов в саду, — все это вместе вернуло его к реальной жизни; но в этот раз он понимал, отчего вздрогнул. В короткие минуты бессонницы и — сейчас я отдаю себе в этом отчет — в течение всей ночи, когда он думал, что видит спокойный, мирный сон *без мыслей*, его сознание занимал только один образ, постоянный, неизменный, — образ, существующий *отдельно от всего*, утвердившийся в мозгу помимо его воли и несмотря на сопротивление его сознания. Да. *Некая мысль* — так, что он почти не заметил этого, — овладела им, заполнила, охватила все его существо, будто появился занавес, представляющий неподвижный фон для всех остальных мыслей; она составляла опору и главный позвонок мысленной драмы его дней и ночей. Мысль о мертвом теле брата-близнеца гвоздем застряла в мозгу и стала центром жизни. И сейчас, когда его оставили там, на крохотном клочке земли, и веки его вздрагивают от дождевых капель, сейчас он *боится его*.

Он никогда не думал, что удар будет таким сильным. В открытое окно снова проник аромат цветов, смешанный теперь с запахом влажной земли, погребенных костей; его обоняние обострилось, и его охватила ужасающая животная радость. Уже много часов прошло с тех пор, когда он *видел*, как *тот* корчится под простынями, словно раненый пёс, и стонет, и этот задавленный пос-

ледный крик заполняет *его* пересохшее горло; как пытается ногтями разодрать боль, которая ползет по его спине, забираясь в самую сердцевину опухоли. Он не мог забыть, как *тот* бился, будто агонизирующее животное, восстав против правды, которая была перед *ним*, во власти которой находилось его тело, с непреодолимым постоянством, окончательным, как сама смерть. Он видел *его* в последние минуты ужасной агонии. Когда *он* обломал ногти о стену, раздирая последнюю крупницу жизни, что уходила у него между пальцев и обогрилась *его* кровью, а в это время гангрена сжирала *его* плоть, как ненасытно-жестокая женщина. Потом он увидел, как он откинулся на смятую постель, даже не успев устать, покрытый испариной и смирившийся, и *его* губы, увлажненные пеной, сложились в жуткую улыбку, и смерть потекла по *его* телу, будто поток пепла.

Так было, когда я вспомнил об опухоли в животе, которая его мучила. Я представлял себе ее круглой — теперь у него было то же самое ощущение, — разбухающей внутри, будто маленькое солнце, невыносимой, будто желтое насекомое, которое протягивает свою вредоносную нить до самой глубины внутренностей. (Он почувствовал, что в организме у него все разладилось, словно уже от философского понимания необходимости неизбежного.) Возможно, и у меня будет такая же опухоль, какая была у него. Сначала это будет маленькое вздутие, которое будет расти, разветвляясь, увеличиваясь у меня внутри, будто плод. Возможно, я почувствую опухоль, когда она начнет двигаться, перемещаться внутри меня с неистовством ребенка-лунатика, переходя по моим внутренностям, как слепая, — он прижал руки к животу, чтобы унять острую боль, затем с тревогой вытянул их в темноту, в поисках матки, гостеприимного теплого убежища, которое ему не суждено найти; и сотни лапок этого фантастического существа, перепутавшись, станут длинной желтоватой пуповиной. Да. Возможно, и у меня в желудке — как у брата,

который только что умер, — будет опухоль. Запах из сада стал очень сильным, неприятным, превращаясь в тошнотворную вонь. Время, казалось, застыло на пороге рассвета. Через окно сияние утра было похоже на свернувшееся молоко, и казалось, что именно поэтому из соседней комнаты, там, где всю прошлую ночь пролежало тело, так несло формальдегидом. Это, разумеется, был не тот запах, что шел из сада. Это был тревожный, особенный запах, не похожий на аромат цветов. Запах, который навсегда, стоило только узнать его, казался трупным. Запах ледящий и неотвязный — так пахло формальдегидом в анатомическом театре. Он вспомнил лабораторию. Заспиртованные внутренности, чучела птиц. У кролика, пропитанного формалином, мясо становится жестким, обезвоживается, теряет мягкую эластичность, и он превращается в бессмертного, вечного кролика. Формальдегидного. Откуда этот запах? *Единственный способ остановить разложение.* Если вены человека заполнить формалином, мы станем заспиртованными анатомическими образчиками.

Он услышал, как снаружи усиливается дождь и барабанит, будто молоточками, по стеклу приоткрытого окна. Свежий воздух, бодрящий и обновленный, ворвался в комнату, неся с собой влажную прохладу. Руки его совсем застыли, наводя на мысль о том, что по артериям течет формалин, — будто холод из патио проник до самых костей. Сырость. Там очень сыро. С горечью он подумал о зимних ночах, когда дождь будет заливать траву, и сырость примостится под боком его брата, и вода будет циркулировать в его теле, как токи крови. Он подумал, что у мертвецов должна быть другая система кровообращения, которая быстро ведет их к другой ступени смерти — последней и невозвратной. В этот момент ему захотелось, чтобы дождь перестал и лето стало бы единственным, вытеснившим все остальные времена года. И поскольку он об этом думал, настойчивый и влажный шум за окном его раздражал. Ему хотелось,

чтобы глина на кладбищах была сухой, всегда сухой, поскольку его беспокоила мысль: там, под землей, две недели — сырость уже проникла в костный мозг — лежит человек, уже совсем не похожий на него.

Да. Они были близнецами, похожими как две капли воды, близнецами, которых с первого взгляда никто не мог различить. Раньше, когда они были братьями и жили каждый своей жизнью, они были просто *братьями-близнецами*, живущими как два отдельных человека. В *духовном* смысле у них не было ничего общего. Но сейчас, когда жестокая, ужасная реальность, будто беспозвоночное животное, холодом заскользила по спине, что-то нарушилось в едином целом, появилось нечто похожее на пустоту, словно в теле у него открылась рана, глубокая, как бездна, или как будто резким ударом топора ему отсекли половину туловища: не от этого тела с конкретным анатомическим устройством и совершенным геометрическим рисунком, не от физического тела, которое сейчас чувствовало страх, — от другого, которое было далеко от него, которое вместе с ним погрузили в водянистый мрак материнской утробы и которое вышло на свет, поднявшись по ветвям старого генеалогического древа; которое было вместе с ним в крови четырех пар их прадедов, оно шло к нему оттуда, с сотворения мира, поддерживая своей тяжестью, своим таинственным присутствием всю мировую гармонию. Возможно, в его жилах течет кровь Исаака и Ревекки, возможно, он мог быть другим братом, тем, который родился на свет, уцепившись за его пятку, и который пришел в этот мир через могилы поколений и поколений, от ночи к ночи, от поцелуя к поцелую, от любви к любви, путешествуя, будто в сумраке, по артериям и семенникам, пока не добрался до матки своей родной матери. Сейчас, когда равновесие нарушено и уравнение окончательно решено, таинственный генеалогический маршрут виделся ему реально и мучительно. Он знал, что в гармонии его личности чего-то недостает, как не-

достаёт этого в его обычной, видимой глазу целостности: «Потом вышел Иаков, держась за пята Исава».

Пока брат его болел, у него не было такого ощущения, потому что изменившееся лицо, искаженное лихорадкой и болью, с отросшей бородой, было непохоже на его собственное.

Сразу же, как только брат вытянулся и затих, побежденный окончательной смертью, он позвал брадобрера «привести тело в порядок». Сам он был тут же и стоял, вжавшись в стену, когда пришел человек, одетый в белое, и принес сверкающие инструменты для работы... Ловким движением мастер покрыл мыльной пеной бороду покойника — рот тоже был в пене. Таким я видел брата перед смертью — медленно, будто стараясь вызнать какой-то ужасный секрет, парикмахер начал его брить. Вот тогда-то и пришла эта жуткая мысль, которая заставила его вздрогнуть. По мере того как с помощью бритвенного лезвия все более проступали бледные, искаженные ужасом черты *брата-близнеца*, он все более чувствовал, что это мертвое тело не есть что-то чуждое ему — это нечто составляющее единый с ним земной организм, и все, что происходит, — это просто репетиция его собственной... У него было странное чувство, что родители вынули из зеркала его отражение, то, которое он видел, когда брился. Ему казалось сейчас, что это изображение, повторявшее каждое его движение, стало независимым от него. Он видел свое отражение множество раз, когда брился, — каждое утро. Сейчас он присутствовал при драматическом событии, когда другой человек бреет его отражение в зеркале, невзирая на его собственное физическое присутствие. Он был уверен, убежден, что если сейчас подойдет к зеркалу, то не увидит там *ничего*, хотя законы физики и не смогут объяснить это явление. Это было раздвоение сознания! Его двойником был покойник! В полном отчаянии, пытаясь овладеть собой, он ощупал пальцами прочную стену,

которую ощутил как застывший поток. Бладобрей закончил работу и кончиками ножниц закрыл глаза покойному. Мрак дрожал внутри его, в непоправимом одиночестве ушедшей из мира плоти. Теперь они были одинаковыми. Неотличимые друг от друга братья, без усталости повторяющие друг друга.

И тогда он пришел к выводу: если эти две природные сущности так тесно связаны между собой, то должно произойти нечто необычайное и неожиданное. Он вообразил, что разделение двух тел в пространстве — не более чем видимость, на самом же деле у них единая, общая природа. Так что, когда мертвец станет разлагаться, он, живой, тоже начнет гнить внутри себя.

Он услышал, как дождь застучал по стеклу с новой силой и сверчок принялся щипать свою струну. Руки его стали совершенно ледяными, скованные холодом долгой неодоушевленности. Острый запах формальдегида заставлял думать, что гниение, которому подвергнулся его брат, проникает, как послание, оттуда, из ледяной земляной ямы. Это было нелепо! Возможно, все перевернуто с ног на голову: влияние должен оказывать он, тот, кто продолжает жить, — своей энергией, своими живыми клетками! И тогда — если так — его брат останется таким, какой он есть, и равновесие между жизнью и смертью защитит его от разложения. Но кто убедит его в этом? Разве невозможно и то, что погребенный брат сохранится нетронутым, а гниение своими синеватыми щупальцами заполонит живого?

Он подумал, что последнее предположение наиболее вероятно, и, смирившись, стал ждать своего смертного часа. Плоть его стала мягкой, разбухшей, и ему показалось, что какая-то голубая жидкость покрыла все его тело целиком. Он почувствовал — один за другим — все запахи своего тела, однако только запах формалина из соседней комнаты вызвал знакомую холодную дрожь. Потом его уже ничто не волновало. Сверчок в углу снова затянул свою песенку, большая круглая капля свисала с

чистых небес прямо посреди комнаты. Он услышал: вот она упала — и не удивился, потому что знал — старая деревянная крыша здесь прохудилась, но представил себе эту каплю — каплю прохладной, бескрайней, как небеса, воды, добрую и ласковую, которая пришла с небес, из лучшей жизни, где нет таких idiotских вещей, как любовь, пищеварение или жизнь близнецов. Может быть, эта капля заполнит всю комнату через час или через тысячу лет и растворит это брэнное сооружение, эту никому не нужную субстанцию, которая, возможно, — почему бы и нет? — превратится через несколько мгновений в вязкое месиво из белковины и сукровицы. Теперь уже все равно. Между ним и его могилой — только его собственная смерть. Смирившись, он услышал, как большая круглая тяжелая капля упала, произошло это где-то в другом мире, в мире нелепостей и заблуждений, в мире разумных существ.

Жил некогда человек, который, проспав несколько часов сном праведника, забывшего о заботах и тревогах недавнего рассвета, проснулся, когда солнце было уже высоко и городской шум наполнял — всю целиком — комнату, дверь в которую была приоткрыта. Опять ему на ум пришла — таково было состояние его духа — неотвязная мысль о смерти, о всеобъемлющем страхе, о том комке глины, частью которого стал его брат и которая, должно быть, уже забила ему рот. Однако веселое солнце, освещавшее сад, переключило его внимание на жизнь более обычную, более земную и, может быть, менее реальную, чем его пугающая внутренняя жизнь. Это был обычный человек, заезженная рабочая скотина, который волей-неволей знал — не говоря уже о том, что у него расшатанная нервная система и увеличенная печень, — ему никогда не спать сном добропорядочного буржуа. Он вспомнил о финансовых головоломках, которыми занимался на работе, — в них, в этой числовой путанице, было что-то от старой доброй математики.

Двенадцать минут девятого. Наверняка опоздаю. Он провел по щеке кончиками пальцев. Шершавая кожа, покрытая однодневной щетиной, показалась ему на ощупь жесткой. Потом ладонью, с отсутствующим видом, тщательно ощупал лицо — спокойно и уверенно, как хирург, знающий, где расположена опухоль, — убедился, что, если немного нажать на эластичную поверхность, можно обнаружить твердую субстанцию некой истины, которая порой тревожила его. Там, под пальцами — и

еще глубже, там, где кости, — крепкое анатомическое строение хранило неизменный порядок всех его составляющих, вселенную переплетенных тканей, маленьких миров, которые поддерживали снизу доверху каркас из мяса, менее постоянный, чем естественное и окончательное расположение костей.

Да. Уйдя с головой в мягкую подушку, удобно устроив тело так, чтобы отдыхали все его органы, он ощущал, что у жизни горизонтальный привкус и что эта позиция — самая удобная для его принципов. Он знал: стоит смежить веки, долгая, утомительная работа, поджидавшая его, станет казаться чем-то простым, не зависящим от времени и пространства; совсем необязательно, выполняя работу, причинять хоть малейшее неудобство этому соединению химических элементов, которым является его тело. Напротив, если вот так смежить веки, будет происходить огромная экономия жизненных ресурсов, будет полностью исключен органический износ. Его тело, погруженное в глубину снов, могло бы двигаться, жить, развиваться в другие формы существования материи, которыми располагает реальный мир, потому что этого хочет его внутренний мир, яркий мир его эмоций, — более того, развиваться в такие формы существования, благодаря которым потребность жить была бы полностью удовлетворена без всякого ущерба для физической оболочки. И тогда куда более легкой была бы задача сосуществования с людьми и предметами, причем жить можно так же, как в реальном мире. Такие действия, как бритье, поездка в автобусе, математические уравнения на работе, во сне осуществляются просто и легко и оставляют по себе чувство внутреннего удовлетворения.

Да. Лучше было проделать это своеобразно — так, как он делал раньше: надо найти в освещенной комнате зеркало. Он уже было взялся за дело, но в этот момент грузовая машина, тяжелая и нелепая, разрушила хрупкую субстанцию охватившего его сна. Когда он снова

вернулся в мир условностей, все показалось ему более сложным. Однако необычная теория, так его разнежившая, сузила границы понимания, и из глубин существа он почувствовал, как его рот сдвигается куда-то в сторону, и это означает произвольную улыбку. Но, хотя и с отвращением, он, в глубине души, продолжал улыбаться. «Надо побриться, я должен быть во всеоружии через двадцать минут». Умыться — восемь, если бриться быстро — пять, завтрак — семь. Противные лежалые сосиски. Магазин Мабель — приправы, выпечка, лекарственные препараты, ликеры; это похоже на чей-то ящик, я знаю чей, — забыл слово. (Автобус по вторникам ломается и опаздывает на семь минут.) Пендора. Нет, Пельдора. Не так. Всего полчаса. Времени нет. Забыл, как называется ящик, где есть все на свете. Педора. Начинается на «п».

Стоя в ванной комнате в халате, заспанный, растрепанный и небритый, он бросил недовольный взгляд в зеркало. Слегка вздрогнул, поняв, как похоже то, что он увидел в зеркале, на его умершего брата, когда тот вставал по утрам. То же усталое лицо, тот же взгляд еще не проснувшегося человека.

Он изменил выражение лица, чтобы на отражение в зеркале стало приятно смотреть, однако зеркало вернуло ему — вопреки желанию — насмешливую мину. Вода. Горячая струя хлынула булькающим потоком, и облако густого белого пара поднялось между ним и зеркалом. И тут, заполнив образовавшийся перерыв быстрыми движениями, удается привести к согласию внутреннее время и время внешнее — подвижное, словно ртуть.

Из облака выступили острые края холодной, как мороженое, металлической пряжки ремня для бритья; когда облако рассеялось, зеркало показало ему другое лицо — лицо, затуманенное физическим удовольствием и математическими законами, следуя которым геометрия по-новому определяла объем и конкретную форму света. Там, напротив себя, он видел лицо, биение пульса,

удары собственного сердца этого другого «я», он видел его меняющееся выражение — серьезность, приветливую и насмешливую одновременно, выглядывающую из влажного стекла, которое еще удерживало в себе пар.

Он улыбнулся. (Он улыбнулся.) Он показал — самому себе — язык. (Он показал — тому, кто на самом деле, — язык.) У того, в зеркале, язык был разбухший, с желтым налетом. «У тебя неважно с желудком», — поставил он диагноз (молча — просто показал жестом) и сделал гримасу. Снова улыбнулся. (Снова улыбнулся.) Но теперь он заметил нечто глупое, искусственное и фальшивое в улыбке, которую ему вернули. Он пригладил волосы (он пригладил волосы) правой (левой) рукой, чтобы тут же вернуть обратно виноватый взгляд (и исчезнуть). Его самого удивляло, что он стоит перед зеркалом и гримасничает, как придурак. Однако он подумал, что все перед зеркалом ведут себя именно так, и от этого возмутился еще более, поскольку тогда получалось, что весь мир состоит из придураков и он только вносит свою лепту в самое обычное придурачье дело. Восемь семнадцать.

Он знал, надо поторопиться, если он не хочет распрощаться с агентством. С агентством, которое с некоторых пор превратилось для него в место отправки на собственные ежедневные похороны.

Мыльная пена, взбитая кисточкой, превратилась в мягкую голубоватую белизну — и это вернуло ему все его тревоги. На какой-то момент мыльная жижа растеклась по лицу, заполнила паутинку артерий и облегчила работу всех жизненных механизмов... Так что, вернувшись к привычным мыслям, он решил: в намыленных мозгах скорее найдет слово, с которым хотел сравнить магазин Мабель. Пелдора. Барахло Мабель. Палдора. Приправы или аптекарские товары. Или и то и другое: Пендора.

Пены в мыльнице было уже вполне достаточно. Однако он продолжал как одержимый взбивать ее кисточ-

кой. От созерцания мыльных пузырей он развеселился, как большой ребенок, — такое же надрывное веселье, через силу, бывает, когда пьешь дешевый ликер. Еще одно усилие в поисках нужных звуков — и слово вспыхнуло, созревшее и яростное; выплыло на поверхность густой мутной воды из его неподатливой памяти. Но и на этот раз, как раньше, разрозненные и разобщенные куски единого целого не соединялись столь точно, чтобы достичь органического единства, и он уже был готов навсегда отказаться от этого слова: Пендора!

Пора было бросить эти бесполезные поиски — оба подняли глаза, и взгляды их встретились, — его брат-близнец мягкими и точными движениями левой руки, в которой он держал намыленную кисточку, начал покрывать подбородок и щеки бело-голубой прохладной пеной — он делал то же самое правой. Он отвел глаза, и геометрическое расположение часовых стрелок предложило ему решение еще одной беспокоящей его теоремы: восемь восемнадцать. Всему виной его медлительность. С твердым намерением кончить бриться как можно скорее он, оттопырив мизинец, крепко взялся за бритвенное лезвие.

Прикинув, что побреется за три минуты, он поднял правую (левую) руку на высоту правого (левого) уха — отметил мимоходом, что нет ничего более трудного, чем бриться так, как это делает человек в зеркале. Он произвел серию сложнейших подсчетов, намереваясь вычислить скорость света, который, чтобы воспроизвести каждое его движение, почти мгновенно проделывает путь туда и обратно. Но эстет, живший в нем — несмотря на борьбу приблизительно равных сил, что продолжалась во времени, равном квадратному корню скорости, которую он пытался узнать, — победил математика, и мысль человека от искусства двинулась навстречу наблюдениям над лезвием, которое окрашивалось в зеленый, голубой или белый цвет, в зависимости от светового луча.

Быстро — оставив в покое и математика, и эстета — он провел лезвием по правой (левой) щеке до меридиана губ и с удовлетворением отметил, что левая щека избражения, окаймленная хлопьями пены, видится чисто выбритой.

Он еще не успел стряхнуть пену с лезвия, как из кухни донесся острый запах жаркого. Под языком у него защипало, и он почувствовал, как рот наполняется легкой тонкой слюной с сильным привкусом растопленного масла. Жареные почки. Наконец-то от него отцепился приставший было магазин Мабель. Пендора. Тоже нет. Бульканье почек в соусе донеслось до его слуха, и тут же вспомнилась барабанная дробь дождя, совсем недавно, на рассвете, — так похоже по звуку. А потому надо не забыть надеть боты и плащ. Почки под соусом. Никакого сомнения.

Из всех его органов чувств ни один не вызывал такого сильного недоверия, как обоняние. Но над всеми пятью чувствами, в том числе и над вкусовыми ощущениями, которые радовали только слизистую оболочку рта, в тот момент главенствовала необходимость как можно скорее закончить бритье. Это и было самой насущной необходимостью всех органов чувств. Точными и легкими движениями — математик и эстет, оба показали друг другу зубы — он повел лезвие от себя (к себе) назад (вперед), до левого (правого) уголка губ, и в это же время левой (правой) рукой поглаживал кожу, смягчая прикосновение металлического лезвия, от себя (к себе) назад (вперед) и сверху (сверху) вниз, заканчивая — оба при этом уже задыхались — одновременную для обоих работу.

И вот, уже закончив, похлопывая себя по левой щеке правой рукой, он вдруг увидел в зеркале собственный локоть. Локоть показался ему странно большим, неузнаваемым, а выше, вздрогнув, он увидел чужие глаза, тоже большие и тоже неузнаваемые, вытарщенные глаза,

искавшие бритву. Кто-то пытался убить его брата. Могучей рукой. Кровь! Так всегда бывает, когда торопишься.

Он ощупал лицо пальцами — искал порез; однако пальцы не оказались запачканными кровью: искать порез дальше смысла не было. Он испугался. На его лице порезов не было, но там, в зеркале, у двойника кровь на лице была. Омерзительное чувство тревоги, что появилось нынешней ночью, в глубине его сознания становилось реальностью. Сейчас, перед зеркалом, у него снова появилось ощущение раздвоения личности. Он посмотрел на подбородок (круглый; лица их были одинаковы, неотличимы одно от другого). Эта щетина около ямки на щеке — ее нужно сбрить. Ему показалось, что торопливый жест его изображения, пожалуй, был несколько судорожным. Разве может быть, даже учитывая быстроту, с которой он побрился, — математик полностью овладел ситуацией, — что скорость света не успевает зафиксировать каждое его движение? Мог он, торопясь, опередить изображение в зеркале и побриться раньше его? А может быть — и тут человек от искусства, после короткой борьбы, вытеснил математика, — изображение живет собственной жизнью, оно решило — чтобы жить в своем времени — закончить работу позже, чем это сделает человек во внешнем мире?

Охваченный беспокойством, он открыл горячую воду и почувствовал, как поднимается теплый густой пар, а когда стал умываться, в ушах у него звучало какое-то горловое бульканье. Прикосновение к коже свежестиранного, слегка шершавого полотенца вызвало у него глубокий вздох удовлетворения, словно у вымывшегося животного. Пандора! Вот это слово: Пандора.

Он с удивлением посмотрел на полотенце и в тревоге закрыл глаза, а между тем человек в зеркале рассматривал его большими удивленными глазами, и на щеке его была видна багровая царапина.

Он открыл глаза и улыбнулся (улыбнулся). Все это было уже не важно. Магазин Мабель — это ящик Пандоры.

Теплый аромат почек под соусом достиг его обоняния, на этот раз запах был очень настойчивым. И ему стало хорошо — он почувствовал, как в душе у него воцаряется благодный покой: злая собака тайников его души завиляла хвостом.

ОГОРЧЕНИЕ ДЛЯ ТРОИХ СОМНАМБУЛ

И вот она теперь там, покинутая, в дальнем углу дома. Кто-то сказал нам — еще до того, как мы принесли ее вещи: одежду, еще хранящую лесной дух, почти невесомую обувь для плохой погоды, — что она не сможет привыкнуть к неторопливой жизни, без вкуса и запаха, где самое привлекательное — это жесткое, будто из камня и извести, одиночество, которое постоянно давит ей на плечи. Кто-то сказал нам — и мы вспомнили об этом, когда прошло уже много времени, — что когда-то у нее тоже было детство. Возможно, тогда мы просто не поверили сказанному. Но сейчас, видя, как она сидит в углу, глядя удивленными глазами и приложив палец к губам, пожалуй, поняли, что у нее и вправду когда-то было детство, что она знала недолговечную прохладу дождя и что в солнечные дни от нее, как это ни странно, падала тень.

Во все это — и во многое другое — мы поверили в тот вечер, когда поняли, что, несмотря на ее пугающую слитность с низшим миром, она полностью очеловечена. Мы поняли это, когда она, будто у нее внутри разбилось что-то стеклянное, начала издавать тревожные крики; она звала нас, каждого по имени, звала сквозь слезы, пока мы все не сели рядом с ней; мы стали цетъ и хлопать в ладоши, как будто этот шум мог склеить разбитое стекло. Только тогда мы и поверили, что у нее когда-то было детство. Получается, что благодаря ее крикам нам что-то открылось; вспомнилось дерево и

глубокая река, когда она поднялась и, немного наклонившись вперед, не закрывая лицо передником, не высморкавшись, все еще со слезами, сказала нам:

— Я никогда больше не буду улыбаться.

Мы молча, все втроем, вышли в патио, может быть потому, что нас одолевали одни и те же мысли. Может, мысли о том, что не стоит зажигать свет в доме. Ей хотелось побыть одной — быть может, посидеть в темном углу, последний раз заплетая косу, — кажется, это было единственным, что уцелело в ней из прежней жизни после того, как она стала зверем.

В патио, окруженные тучами насекомых, мы сели, чтобы подумать о ней. Мы и раньше так делали. Мы, можно сказать, делали это каждый день на протяжении всех наших жизней.

Однако та ночь отличалась от других: она сказала тогда, что никогда больше не будет улыбаться, и мы, так хорошо ее знавшие, поверили, что кошмарный сон станет явью. Мы сидели, образовав треугольник, представляя себе, что в его середине она — нечто абстрактное, неспособное даже слушать бесчисленное множество тикающих часов, отмеряющих четкий, до секунды, ритм, который обращал ее в тлен. «Если бы у нас достало смелости желать ей смерти», — подумали мы все одновременно. Но мы так любили ее безобразную и леденящую душу, подобную жалкому соединению наших скрытых недостатков.

Мы выросли давно, много лет тому назад. Она, однако, была еще старше нас. И этой ночью она могла сидеть вместе с нами, чувствуя ровный пульс звезд, в окружении крепких сыновей. Она была бы уважаемой сеньорой, если бы вышла замуж за добропорядочного буржуа или стала бы подругой достойного человека. Но она привыкла жить в одном измерении — подобная прямой линии, наверное, потому, что ее пороки и добродетели было невозможно увидеть в профиль. Мы узнали об этом уже несколько лет назад. Мы — однажды утром

встав с постели — даже не удивились, когда увидели, что она совершенно неподвижно лежит в патио и грызет землю. Она тогда улыбнулась и посмотрела на нас; она выпала из окна второго этажа на жесткую глину патио и осталась лежать, несгибаемая и твердая, уткнувшись лицом в грязь. Позже мы поняли: единственное, что осталось неизменным, — это страх перед расстоянием, естественный ужас перед пустотой. Мы подняли ее, придерживая за плечи. Она была не одеревенелая, как нам показалось вначале. Наоборот, все в ней было мягким, податливым, будто у еще не остывшего покойника.

Когда мы повернули ее лицом к солнцу — словно поставили перед зеркалом, — глаза ее были широко открыты, рот выпачкан землей, погребальный привкус которой, должно быть, был ей известен. Она оглядела нас потухшим, бесполом взглядом, от которого создавалось ощущение — я держал ее на руках, — что ее будто нет. Кто-то сказал нам, что она умерла; но осталась ее холодная, спокойная улыбка — она всегда так улыбалась, когда по ночам бродила без сна по дому. Она сказала, что не понимает, как добралась до патио. Сказала, что ей стало жарко, что она услышала назойливое, пронзительное стрекотание сверчка, который, как ей казалось — так она сказала, — хочет разрушить стену ее комнаты, и что, прижавшись щекой к цементному полу, она вспомнила все воскресные молитвы.

Однако мы знали, что она не могла вспомнить ни одной молитвы, поскольку мы уже знали, что она давно потеряла представление о времени, и тут она сказала, что уснула, поддерживая стену комнаты изнутри, тогда как сверчок толкал ее снаружи, и что она глубоко спала, когда кто-то, взяв ее за плечи, отодвинул стену и повернул ее лицом к солнцу.

В ту ночь, сидя в патио, мы поняли, что она уже не будет улыбаться. Может быть, нам заранее стало горько от ее равнодушной серьезности, ее своевольной и не-

объяснимой привычки жить в углу. Нам стало горько, как в тот день, когда мы впервые увидели, что она сидит в углу, вот как сейчас; и мы услышали, как она говорит, что не будет больше бродить по дому. Сначала мы не поверили ей. Мы столько месяцев подряд видели, как она ходит по комнатам в любое время суток, держа голову прямо и опустив плечи, не останавливаясь и никогда не уставая. По ночам мы слышали неясный шорох ее шагов, когда она проходила меж двух мраков, и случалось, не раз, лежа в кроватях, просыпались, слушая ее таинственную поступь, и мысленно следили за ней по всему дому. Однажды она сказала, что когда-то видела сверчка внутри круглого зеркала, погруженного, утопленного в его твердую прозрачность, и что она проникла внутрь стеклянной поверхности, чтобы достать его. Мы не поняли, что она хотела этим сказать, но смогли убедиться, что одежда на ней мокрая и прилипает к телу, будто она только что купалась в пруду. Не найдя объяснения этому, мы решили покончить с насекомыми в доме: уничтожить причину мучившего ее наваждения.

Мы вымыли стены, велели подрезать кустарник в патио, и получилось так, будто мы счистили грязь с тишины ночи. Но мы уже не слышали, как она ходит, как говорит о сверчках, — до того дня, когда, поев в последний раз, она оглядела всех нас, села, не отрывая от нас взгляда, на цементный пол и сказала нам: «Я буду сидеть здесь»; и мы содрогнулись, потому что увидели, как она становится чем-то, что очень сильно похоже на смерть.

С тех пор прошло много времени, и мы уже привыкли видеть ее сидящей там, на полу, с наполовину расплетенной косой, будто она расплетала ее, уйдя в свое одиночество, и там затерялась, несмотря на то что была нам видна. И потому мы поняли, что она больше никогда не будет улыбаться; она сказала это так же уверенно и убежденно, как когда-то — что она уже не будет ходить.

У нас появилась уверенность, что пройдет немного времени, и она скажет нам: «Я больше не буду видеть» — или: «Я больше не буду слышать», и мы бы поняли тогда, что в ней достаточно человеческого, чтобы по собственной воле погасить свою жизнь, и что одновременно органы чувств отказывают ей, один за другим, и так будет до того дня, когда мы найдем ее прислонившуюся к стене, будто она заснула впервые в жизни; может быть, это произойдет еще не скоро, но мы трое, сидя в патио, хотели в ту ночь услышать ее пронзительный и неумолчный плач, похожий на звон бьющегося стекла, чтобы хоть тешить себя иллюзией, что в доме родился ребенок (он или она). Нам хотелось верить, что она родилась еще раз.

Она пристально смотрела на меня, а я все не мог понять, где прежде я видел эту девушку. Ее влажный тревожный взгляд заблестел в неровном свете керосиновой лампы, и я вспомнил — мне каждую ночь снится эта комната и лампа, и каждую ночь я встречаю здесь девушку с тревожными глазами. Да-да, именно ее я вижу каждый раз, переступая зыбкую грань сновидений, грань яви и сна. Я отыскал сигареты и закурил, откинувшись на спинку стула и балансируя на его задних ножках, — терпкий кисловатый дым заструился кольцами. Мы молчали. Я — покачиваясь на стуле, она — грея тонкие белые пальцы над стеклянным колпаком лампы. Тени дрожали на ее веках. Мне показалось, я должен что-то сказать, и я произнес наугад: «Глаза голубой собаки» — и она отозвалась печально: «Да. Теперь мы никогда этого не забудем». Она вышла из светящегося круга лампы и повторила: «Глаза голубой собаки. Я написала это повсюду».

Она повернулась и отошла к туалетному столику. В круглой луне зеркала появилось ее лицо — отражение лица, его оптический образ, двойник, готовый раствориться в трепетном свете лампы. Грустные глаза цвета остывшей золы печально посмотрели на меня и опустились, она открыла перламутровую пудреницу и коснулась пуховкой носа и лба. «Я так боюсь, — сказала она, — что эта комната приснится кому-нибудь еще и он все здесь перепутает». Она щелкнула замочком пудреницы, поднялась и вернулась к лампе. «Тебе не бывает холодно?» — спросила она. «Иногда бывает...» — ответил я.

Она раскрыла озябшие руки над лампой, и тень от пальцев легла на ее лицо. «Я, наверное, простужусь, — пожаловалась она. — Ты живешь в ледяном городе».

Керосиновый огонек делал ее кожу медно-красной и глянцевой. «У тебя бронзовая кожа, — сказал я. — Иногда мне кажется, что в настоящей жизни ты должна быть бронзовой статуэткой в углу какого-нибудь музея». — «Нет, — сказала она. — Но порой мне и самой кажется, что я металлическая, — когда я сплю на левом боку и сердце гулко бьется у меня в груди». — «Мне всегда хотелось услышать, как бьется твое сердце». — «Если мы встретимся наяву, ты сможешь приложить ухо к моей груди и услышишь». — «Если мы встретимся наяву...» Она положила руки на стеклянный колпак и промолвила: «Глаза голубой собаки. Я всюду повторяю эти слова».

Глаза голубой собаки. С помощью этой фразы она искала меня в реальной жизни, слова эти были паролем, по которому мы должны были узнать друг друга наяву. Она ходила по улицам и повторяла как бы невзначай: «Глаза голубой собаки». И в ресторанах, сделав заказ, она шептала молодым официантам: «Глаза голубой собаки». И на запотевших стеклах, на окнах отелей и вокзалов выводила она пальцем: «Глаза голубой собаки». Люди вокруг лишь недоуменно пожимали плечами, а официанты кланялись с вежливым равнодушием. Как-то в аптеке ей почудился запах, знакомый по снам, и она сказала аптекарю: «Есть юноша, которого я вижу во сне. Он всегда повторяет: «Глаза голубой собаки». Может быть, вы знаете его?» Аптекарь в ответ рассмеялся неприязненно и отошел к другому концу прилавка. А она смотрела на новый кафельный пол аптеки, и знакомый запах все мучил и мучил ее. Не выдержав, она опустилась на колени и губной помадой написала на белых плитках: «Глаза голубой собаки». Аптекарь бросился к ней: «Сеньорита, вы испортили мне пол. Возьмите тряпку и сотрите немедленно!» И весь вечер она ползала на

коленях, стирая буквы и повторяя сквозь слезы: «Глаза голубой собаки. Глаза голубой собаки». А в дверях гоготали зеваки, собравшиеся посмотреть на сумасшедшую.

Она умолкла, а я все сидел, покачиваясь на стуле. «Каждое утро, — сказал я, — я пытаюсь вспомнить фразу, по которой должен найти тебя. Во сне мне кажется, что я хорошо заучил ее, но проснувшись, я не могу вспомнить ни слова». — «Но ты же сам придумал их!» — «Да. Они пришли мне в голову потому, что у тебя пепельные глаза. Но днем я не могу вспомнить даже твоего лица». Она стиснула в отчаянии пальцы: «Ах, если бы нам знать по крайней мере название моего города!»

Горькие складки легли в уголках ее губ. «Я хочу до тебя дотронуться», — сказал я. Она вскинула глаза, и язычки пламени заплясали в ее зрачках. «Ты никогда не говорил этого», — заметила она. «А теперь говорю». Она опустила глаза и попросила сигарету. «Почему же, — повторила она, — мне никак не вспомнить название своего города?» — «А мне — наши заветные слова», — сказал я. Она грустно улыбнулась: «Эта комната снится мне так же, как и тебе». Я поднялся и направился к лампе, а она в испуге отступила назад, опасаясь, что я случайно заступлю за невидимую черту, пролегающую между нами. Взяв протянутую сигарету, она склонилась к огоньку лампы. «А ведь в каком-то городе мира все стены исписаны словами: «Глаза голубой собаки», — сказал я. — Если я вспомню эти слова, я отправлюсь утром искать тебя по всему свету». Ее лицо осветилось красноватым огоньком сигареты, она глубоко затянулась и, покручивая сигарету в тонких пальцах, сказала: «Слава богу. Я, кажется, начинаю согреваться, — и проговорила нараспев, будто повторяя за пишущим пером: — Я... начинаю... — она задвигала пальцами, будто сворачивая в трубочку невидимый листок бумаги по мере того, как я прочитывал написанные на нем слова, — согреваться...» — бумажка кончилась и упала на пол — сморщенная, крохотная, превратившаяся в пыль золы.

«Это хорошо, — сказал я. — Мне всегда страшно, когда ты мерзнешь».

Так мы и встречаемся с ней, вот уже несколько лет. Порою в тот момент, когда мы находим друг друга в лабиринте снов, кто-то там, снаружи, роняет на пол ложечку, и мы просыпаемся. Мало-помалу мы смирились с печальной истиной — наша дружба находится в зависимости от очень прозаических вещей. Какая-нибудь ложечка на рассвете может положить конец нашей короткой встрече.

Она стоит за лампой и смотрит на меня. Смотрит так же, как в первую ночь, когда я очутился среди сна в странной комнате с лампой и зеркалом и увидел перед собой девушку с пепельными глазами. Я спросил: «Кто вы?» А она сказала: «Не помню...» — «Но мы, кажется, уже встречались?» — «Может быть. Вы могли сниться мне, в этой самой комнате». — «Точно! — сказал я. — Я видел вас во сне». — «Как забавно, — улыбнулась она. — Значит, мы с вами встречаемся в сновидениях?»

Она затянулась, сосредоточенно глядя на огонек сигареты. И мне опять показалось, что она — из меди, но не холодной и твердой, а из теплой и податливой. «Я хочу дотронуться до тебя», — повторил я. «Ты все погубишь, — испугалась она. — Прикосновение разбудит нас, и мы больше не встретимся». — «Вряд ли, — сказал я. — Нужно только положить голову на подушку, и мы увидимся вновь». Я протянул руку, но она не пошевелилась. «Ты все погубишь... — прошептала она. — Если переступить черту и зайти за лампу, мы проснемся, заброшенные в разные части света». — «И все же», — настаивал я. Но она лишь опустила ресницы: «Не будем рисковать. Эти встречи — наш последний шанс. Ты же не помнишь ничего наутро». И я отступил. А она положила руки на лампу и пожаловалась: «Я никогда не могу заснуть после наших встреч. Я просыпаюсь среди ночи и больше не могу сомкнуть глаз — подушка жжет лицо, и я все твержу: «Глаза голубой собаки. Глаза голубой собаки».

«Скоро рассветет, — заметил я. — Последний раз я просыпался в два часа, и с тех пор прошло много времени». Я подошел к двери и взялся за ручку. «Осторожнее, — предупредила она. — За дверью живут тяжелые сны». — «Откуда ты знаешь?» — «Совсем недавно я выходила туда и с трудом вернулась назад. А проснувшись, заметила, что лежу на сердце». Но я все же приоткрыл дверь. Створка подалась, и легкий ветерок принес снаружи запах плодородной земли и возделанной пашни. Я повернул к ней голову и сказал: «Тут нет коридора. Я чувствую запах поля». — «Там, за дверью, — сказала она, — спит женщина, которая видит поле во сне. Она всегда мечтала жить в деревне, но так никогда и не выбралась из города». За дверью светало, и люди повсюду уже начали просыпаться. «Меня, наверное, ждут к завтраку», — сказал я.

Ветер с поля стал слабее, а потом стих. Вместо него послышалось ровное дыхание спящего, который только что перевернулся в постели на другой бок. Стих ветерок, а с ним умерли и запахи.

«Завтра мы непременно узнаем друг друга, — сказал я. — Я буду искать женщину, которая пишет на стенах: «Глаза голубой собаки». Она улыбнулась грустно и положила руки на остывающий колпак лампы: «Ты ничего не помнишь днем». Ее печальный силуэт уже начал таять в предутреннем свете. «Ты удивительный человек, — сказала она. — Ты никогда не помнишь своих снов».

ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПРИХОДИЛА РОВНО В ШЕСТЬ

Дверь открылась, скрипя. В этот час ресторан Хосе был пуст. Было шесть, а Хосе знал: постоянные посетители начинают собираться не раньше половины седьмого. Каждый клиент ресторана был неизменно верен себе; и вот с последним, шестым ударом вошла женщина и, как всегда молча, подошла к высокому вращающемуся табурету. Во рту она держала незажженную сигарету.

— Привет, королева, — сказал Хосе, глядя, как она усаживается.

Он направился к другому краю стойки, на ходу протирая сухой тряпкой ее стеклянную поверхность. Хосе делал так каждый раз, когда кто-нибудь входил. Даже при виде этой женщины, с которой был дружен, он — рыжий краснощекий толстяк — всегда разыгрывал роль усердного хозяина.

— Что ты хочешь сегодня? — спросил Хосе.

— Перво-наперво я хочу, чтобы ты был настоящим кабальеро.

Она сидела на самом крайнем в ряду табурете и, облокотившись о стойку, покусывала сигарету. Заговорив, она выпятила чуть-чуть губы, чтобы Хосе обратил внимание на сигарету.

— Я не заметил, — пробормотал он.

— Ты вообще ничего не замечаешь, — сказала женщина.

Хосе положил тряпку, шагнул к темным, пахнущим смолой и старой древесиной шкафам и достал оттуда

спички. Она наклонилась, чтобы прикурить от огонька, спрятанного в грубых волосатых руках. Он увидел ее густые волосы, обильно смазанные дешевым жирным лосьоном. Увидел чуть опавшую грудь в вырезе платья, когда женщина выпрямилась с зажженной сигаретой.

— Ты сегодня красивая, королева, — сказал Хосе.

— Брось свои глупости, — сказала женщина. — Этим я с тобой расплачиваться не стану, не надейся.

— Да я совсем о другом, королева, — сказал Хосе. — Не иначе, ты съела что-нибудь не то за обедом.

Женщина затянулась крепким дымом, скрестила руки, все так же облокотившись о стойку, и стала глядеть на улицу сквозь широкое стекло ресторана. На лице ее была тоска. Привычная и ожесточенная тоска.

— Я тебе сделаю отличный бифштекс.

— Мне пока нечем платить.

— Тебе уже три месяца нечем платить, а я все равно готовлю для тебя самое вкусное, — сказал Хосе.

— Сегодня все иначе, — мрачно сказала женщина, не отрывая глаз от улицы.

— Каждый день одно и то же, — сказал Хосе. — Каждый день часы бьют шесть, тыходишь, говоришь, что голодна как волк, ну а я готовлю тебе что-нибудь вкусное. Разве что сегодня ты не говоришь, что голодна как волк, а что, мол, все иначе.

— Так оно и есть, — сказала женщина. Она посмотрела на Хосе, который что-то искал в холодильнике, и почти тут же перевела взгляд на часы, стоящие на шкафу. Было три минуты седьмого. — Сегодня все иначе. — Она выпустила дым и сказала взволнованно и резко: — Сегодня я пришла не в шесть, поэтому все иначе, Хосе.

Он посмотрел на часы.

— Да пусть мне отрубят руку, если эти часы отстают хоть на минуту, — сказал он.

— Не в этом дело, Хосе. А в том, что я пришла не в шесть, — сказала женщина. — Я пришла без четверти шесть.

— Пробыло шесть, моя королева, ты вошла, когда пробыло шесть, — сказал Хосе.

— Я здесь уже четверть часа, — сказала женщина.

Хосе подошел к ней. Приблизил свое огромное багровое лицо и потер свое веко указательным пальцем.

— Ну-ка дыхни!

Женщина откинулась назад. Она была серьезная, чем-то удрученная, поникшая. Но ее красил легкий налет печали и усталости.

— Брось эти глупости, Хосе. Ты сам знаешь, что я не пью уже полгода.

— Расскажи кому-нибудь другому, — сказал он, — только не мне. Готов поклясться, что вы вдвоем выпили целый литр.

— Всего два глотка с моим приятелем, — сказала женщина.

— А-а! Тогда все ясно, — протянул Хосе.

— Ничего тебе не ясно, — возразила женщина. — Я здесь уже четверть часа.

Хосе пожал плечами.

— Ну пожалуйста. Четверть так четверть, если тебе хочется, — сказал он. — В конце концов, какая разница — десятью минутами раньше, десятью минутами позже.

— Большая разница, Хосе, — сказала женщина и, вытянув руки на стеклянной стойке, с безразличным, отсутствующим видом добавила: — Дело не в том, что мне так нужно, а в том, что я уже четверть часа здесь. — Она снова посмотрела на стрелки. — Да нет, уже двадцать минут.

— Пусть так. Я бы подарил тебе весь день и ночь в придачу, лишь бы ты была довольна. — Все это время Хосе что-то делал за стойкой, что-то переставлял с места на место. Играл свою привычную роль. — Лишь бы ты была довольна, — повторил он. Вдруг резко остановился и повернулся к женщине. — Ты знаешь, я тебя очень люблю.

Женщина холодно посмотрела на него:

— Да ну! Какое открытие, Хосе. Думаешь, я пошла бы с тобой хоть за миллион песо?

— Да я не об этом, королева, — отмахнулся Хосе. — Ручаюсь, за обедом ты съела что-то несвежее.

— Вся штука в том... — сказала женщина, и голос ее немного смягчился, — вся штука в том, что ни одна женщина не выдержит такого груза даже за миллион песо.

Хосе вспыхнул, повернулся к ней спиной и стал смахивать пыль с бутылок. Он продолжал говорить, не глядя в ее сторону:

— Ты сегодня злая, королева, тебе лучше всего съесть бифштекс и отоспаться.

— Я не хочу есть, — сказала женщина. Она снова смотрела на улицу, разглядывая в сумеречном свете города редких прохожих.

На несколько минут в ресторане установилась почти полная тишина. Лишь Хосе чем-то шуршал в шкафу. Внезапно женщина отвела глаза от улицы и заговорила совсем другим голосом — погасшим и мягким:

— Правда, ты меня любишь, Пепильо¹?

— Правда, — не глядя на нее, кратко ответил Хосе.

— После всего, что я тебе наговорила... — сказала женщина.

— А что ты наговорила? — спросил Хосе все так же сдержанно и все так же не глядя на нее.

— А про миллион песо.

— Я уже забыл об этом, — сказал Хосе.

— Значит, ты меня любишь?

— Да, — сказал Хосе.

Потянулось молчание. Хосе по-прежнему что-то искал в шкафу, не оборачиваясь к женщине. Она выпустила изо рта дымок, легла грудью на стойку и насто-роженно, с сомнением покусывая губу, словно остере-гаясь чего-то, спросила:

¹ Пепильо — уменьшительное от Хосе.

— Даже если я не стану спать с тобой?

Вот тут Хосе взглянул на нее:

— Мне этого не надо, потому что я тебя слишком люблю. — Он шагнул к ней. И остановился. Опираясь могучими руками о стойку и заглядывая женщине в самые глаза, сказал: — Я так люблю тебя, что мог бы убить каждого, с кем ты уходишь.

В первый момент она вроде бы растерялась. Потом посмотрела на него очень внимательно — во взгляде ее вместе с жалостью проступала насмешка. Потом задумалась в нерешительности. И вдруг разразилась смехом:

— Да ты ревнив, Хосе. Ну и ну, ты, оказывается, ревнив?

Хосе снова покраснел, засмутился откровенно, даже беззастенчиво, как бывает у детей, когда разом открываются все их тайны.

— Ты сегодня какая-то бестолковая, королева, — сказал он, утирая пот тряпкой. И добавил: — Вот что с тобой сделала такая скотская жизнь.

Но теперь лицо женщины стало другим.

— Значит, нет, — сказала она. И посмотрела на него пристально, странно блестя глазами, вызывая и одновременно грустно. — Значит, не ревнив.

— Ну не скажи, — возразил Хосе. — Но не так, как ты думаешь. — Он расстегнул воротничок и долго тер тряпкой шею.

— Тогда объясни, — сказала женщина.

— Понимаешь, я тебя так люблю, что не могу больше видеть все это, — сказал Хосе.

— Что? — переспросила женщина.

— Да то, что каждый вечер ты уходишь с первым встречным.

— А правда, ты бы убил любого, только чтобы он не пошел со мной? — спросила женщина.

— Чтоб не пошел — нет, — сказал Хосе. — Я бы убил за то, что пошел.

— Не все ли равно? — сказала женщина.

Напряженный разговор будоражил обоих. Женщина говорила тихо, мягким и вкрадчивым голосом. Лицо ее почти вплотную приблизилось к багровому добродушному лицу толстяка. Он сидел не шелохнувшись, будто околдованный жаром ее слов.

— Все это правда, — сказал Хосе.

— Значит... — сказала женщина и, подавшись вперед, погладила его огромную шершавую руку. Отбросила погасший окурок. — Значит, ты способен убить человека?

— За то, о чем я тебе сказал, — да! — с горячностью ответил Хосе.

Женщина зашлась судорожным смехом, не скрывая издевки.

— Какой ужас, Хосе! Какой ужас! — говорила она сквозь смех. — Хосе убивает человека! Ну кто бы подумал, что такой солидный человек, такой праведник, что кормит меня задарма бифштексами и болтает со мной, пока я жду клиентов, — самый что ни на есть убийца. Какой ужас, Хосе, я боюсь тебя!

Хосе опешил. Может, он даже возмутился. Может, в тот момент, когда женщина расхохоталась, он почувствовал, что все для него рухнуло.

— Ты пьяна, дурочка, — сказал он. — Иди отоспись. Вот даже есть не хочешь...

Но женщина больше не смеялась, она сидела снова серьезная, задумчивая, сторбившись над стойкой. И следила взглядом за Хосе. Вот он открыл холодильник и снова закрыл его, ничего оттуда не достав. Вот протер сверкающее, без пылинки, стекло. Женщина заговорила тем же мягким и ласковым голосом, каким спросила его раньше: «Правда, ты меня любишь, Пепильо?»

— Хосе, — сказала она.

Толстяк даже не обернулся.

— Хосе!

— Иди prospись! — сказал Хосе. — Да ополоснись, перед тем как лечь, чтоб хмель сошел!

— Нет, взаправду, Хосе, — сказала женщина, — я не пьяная.

— Значит, на тебя дурь нашла, — сказал Хосе.

— Поди-ка, мне надо поговорить с тобой, — позвала женщина.

Мужчина подошел с надеждой и в то же время с недоверием.

— Поближе.

Он встал прямо перед ней. Она потянулась к нему и больно схватила за волосы, но сделала это с явной нежностью.

— Повтори, что ты мне сказал, — попросила она.

— Что? — сказал Хосе. Он глядел ей в глаза исподлобья, так как она пригнула ему голову.

— Что убил бы человека, который переспит со мной.

— Убил бы того, который переспит, королева. Клянись, — сказал Хосе.

Женщина выпустила его волосы.

— Стало быть, ты вступишься за меня, если я убью кого-нибудь, — сказала она утвердительно, отталкивая с грубым кокетством огромную, как у кабана, голову.

Хосе ничего не ответил, лишь улыбнулся.

— Отвечай, Хосе, — сказала женщина. — Ты меня защитишь, если я убью кого-нибудь?

— Ну, это зависит... — сказал Хосе. — Говорить — одно, а делать — другое.

— Никому полиция так не верит, как тебе, — сказала женщина.

Хосе самодовольно улыбнулся, польщенный. Женщина снова перегнулась к нему через стойку.

— Нет, правда, Хосе. Я могу побиться об заклад, что ты ни разу в жизни не соврал, — сказала она.

— А какой толк от этого?

— И все равно, — настаивала женщина, — полиция это знает и верит каждому твоему слову.

Хосе постукивал по стеклу, стоя перед женщиной, и не знал, что сказать. Она снова устала на улице. Потом глянула на часы, и голос ее сделался другим, то-ропливым, словно ей хотелось закончить разговор, пока они одни.

— Ты мог бы соврать ради меня, Хосе? — спросила она. — Я всерьез.

И тут Хосе испытующе посмотрел на нее, в упор, глаза в глаза, словно ему вдруг ударила в голову страшная мысль. Мысль, которую он с лету поймал, шевельнулась у него в мозгу, смутная, неясная, и исчезла, оставив лишь жаркий след страха.

— Во что ты впуталась, королева? — спросил Хосе. Он потянулся к ней, скрестив руки над стойкой. Женщина почувствовала крепкий, едкий, отдающий нашатырем запах в его дыхании, которое сделалось тяжелым, оттого что он навалился животом на стекло. — Нет, правда, королева... Что ты натворила? — сказал он.

Женщина оттолкнула от себя его голову.

— Ничего, — сказала она. — Что, уж нельзя поговорить просто так, со скуки? — Потом взглянула на него. — Знаешь, может, тебе и не придется никого убивать.

— Да у меня и в мыслях никогда не было, чтоб убить человека, — сказал Хосе озадаченно.

— Да нет же, — сказала женщина, — я говорю, никого, кто переспит со мной.

— А-а! — протянул Хосе. — Вот теперь мне ясно. Я ведь всегда говорил, что ты зря пустилась в такую жизнь. И даю слово, бросишь все это — буду жарить для тебя каждый день самый лучший бифштекс, и бесплатно.

— Спасибо, Хосе, — сказала женщина. — Тут другое. Вся штука в том, что я больше *не смогу* ни с кем.

— Снова темнишь, — сказал Хосе. Он явно терял терпение.

— Ничего я не темню, — сказала женщина.

Она выпрямилась, села поудобнее, и Хосе увидел ее опавшую, жалкую грудь под корсетом.

— Завтра я уеду и, клянусь, больше никогда ничем тебя не побеспокою. И больше ни с кем не буду путаться, помани мое слово.

— И с чего это ты? — удивился Хосе.

— Вот решила, и точка. Я теперь только поняла, что все это одно скотство.

Хосе снова схватился за тряпку и давай начищать стекло там, где она сидела. Заговорил, не глядя в ее сторону:

— Конечно, то, чем ты занимаешься, — настоящее скотство. Давно пора бы опомниться.

— Да я давно опомнилась, — сказала она. — Но вот до конца убедилась в этом только-только. Мне опротивели мужчины.

Хосе улыбнулся. Он поднял голову и, все так же улыбаясь, посмотрел на нее.

Но она уже сидела подавленная, задумчивая, втянув голову в плечи, и раскачивалась на табурете с каким-то помертвелым лицом, которое золотила преждевременная осенняя дымка увядания.

— По-моему, надо оставить в покое женщину, которая убила человека, потому что он ей опротивел, после того как она с ним переспала, и не только он, но все, с кем она была в постели.

— Ну, уж тыхватила через край, — сказал Хосе растроганно, и в голос его просочилась нежность.

— А если женщина говорит мужчине, что он ей противен, когда тот уже одевается, потому что у нее перед глазами все, что он над ней вытворял весь вечер, и она чувствует, что ни мылом, ни щеткой не отодрать его запах...

— Это бывает, королева, — сказал Хосе, теперь уже с некоторым равнодушием, по-прежнему надраивая стекло. — Его вовсе незачем убивать. Просто пошли его куда подальше.

Но женщина все говорила, и быстрые бесцветные слова ее лились взволнованно, без удержу.

— Ну а если женщина говорит, что он ей противен, а он вдруг бросает одеваться и снова к ней, и давай ее целовать, и...

— Да ну! Какой порядочный мужчина сделает такое, — сказал Хосе.

— Ну а если сделает? — сказала женщина с ожесточением. — Ну представь, что сделает!

— Да ну, до этого не дойдет, — сказал Хосе. Он по-прежнему тер одно и то же место на стойке, но разговор явно его интересовал уже меньше.

Женщина стукнула по стеклу костяшками пальцев. Она снова стала уверенной и сказала с пафосом:

— Какой ты дикий, Хосе. Ничего не понимаешь. — Она с силой вцепилась в его рукав. — Нет, ты скажи, эта женщина должна была его убить?

— Да будет тебе, — примирительно, как бы успокаивая ее, сказал Хосе. — Раз ты говоришь — так оно и есть.

— Ведь она же защищалась! — Женщина трясла его за руку.

Наконец Хосе бросил на нее мягкий, потеплевший взгляд.

— Пожалуй, так, — сказал он. И подмигнул ей понимающе, как бы подыгрывая, — мол, он соучастник какого-то злодеяния. Но женщина оставалась серьезной. Лишь выпустила его рукав.

— А ты соврал бы, чтобы спасти женщину, которая сделала такое?

— Ну, это зависит...

— От кого же? — спросила она.

— От женщины, — сказал он.

— А ты представь, что это женщина, которую ты очень любишь. И не чтоб иметь ее, понимаешь, а так, как ты сам говорил, просто любишь.

— Ладно. Пусть так, как ты хочешь, королева, — вяло сказал Хосе, которому этот разговор уже порядком надоел.

Он отошел от нее. Посмотрел на часы и увидел, что

почти половина седьмого. «Через несколько минут, — подумал он, — ресторан заполнят посетители», и еще яростнее принялся тереть стекло, поглядывая на улицу. Женщина неподвижно сидела на табурете.

Молча, сосредоточенно, с выражением бесконечной тоски, точно угасающая лампочка, она следила за Хосе. Вдруг, после тягостного молчания, она произнесла кротким, искательным голосом:

— Хосе!..

Он посмотрел на нее с глубокой и печальной нежностью, какая бывает во взгляде быка. Нет, ему не хотелось больше никаких разговоров. Он посмотрел просто так, лишь бы убедиться, что она здесь и ожидает, в общем-то, зря, найти в нем защитника.

— Я вот говорю, что завтра уеду, а ты хоть бы что, — сказала женщина.

— Ну... — сказал Хосе. — Но ведь ты не сказала куда.

— А туда, где не нужно спать с мужчинами.

Хосе усмехнулся:

— Ты что, всерьез уезжаешь? — И лицо его вдруг переменялось, точно он наконец понял, что к чему в жизни.

— Это от тебя зависит, — сказала женщина. — Сумеешь соврать про то, когда я пришла, — завтра уеду и покончу с этим навсегда. Идет?

Хосе улыбнулся и согласно кивнул. Женщина наклонилась к нему:

— Если я когда-нибудь вернусь и увижу на этом месте в это же время другую женщину — умру от ревности.

— Если вернешься, привези мне что-нибудь, — сказал Хосе.

— Да, — сказала женщина. — Обещаю, что куплю тебе заводного медвежонка.

Хосе улыбнулся. Провел тряпкой в воздухе между ней и собой, словно протер незримое стекло. Женщина

тоже улыбнулась. Теперь ласково и кокетливо. Хосе двинулся к другому краю стойки, на ходу протирая стекло.

— Ну что? — спросил он не оборачиваясь.

— Значит, ты всем, кто бы ни спросил, скажешь, что я пришла без четверти шесть, так?

— А зачем? — спросил Хосе ей в спину.

— Какое тебе дело? — сказала она. — Главное, что ты это сделаешь.

Дверь, скрипя, открылась. Вошел первый посетитель и занял столик в углу. Хосе поспешил к нему, бегло взглянув на часы. Ровно половина седьмого.

— Ладно, королева, будет, как ты хочешь, — сказал он рассеянно. — Я всегда делаю, как ты хочешь.

— Ну что ж, — сказала женщина, — тогда зажарь мне бифштекс.

Хосе открыл холодильник, достал тарелку с мясом, положил его на стол и зажег плиту.

— Я приготовлю тебе отличный бифштекс на прощание.

— Спасибо, Пепильо.

Она задумалась, будто погрузилась в какой-то странный мир, населенный зыбкими, расплывчатыми, неведомыми образами. Она не услышала, как зашипело сырое мясо, брошенное на сковороду с кипящим маслом, не услышала, как оно потрескивало, когда Хосе его переворачивал. Не почувствовала сочного запаха жареного мяса, который медленно распространялся по всему ресторану. Она так и сидела, уйдя в свои мысли, задумавшись глубоко-глубоко, и наконец подняла голову, зажмурилась, будто вернулась к жизни с того света. Увидела, что Хосе стоит у плиты, освещенный весело разгоревшимся пламенем.

— Пепильо!

— Ну что?

— О чем задумался?

— Вот думаю, купишь ли ты мне взаправду заводного медвежонка.

— Конечно, но мне надо знать, сделаешь ли ты на прощание то, о чем я попрошу.

Хосе глянул на нее из-за плиты:

— Сколько повторять одно и то же?! Ты хочешь еще что-нибудь, кроме бифштекса?

— Да, — сказала женщина.

— Чего? — спросил Хосе.

— Хочу еще четверть часа.

Хосе откинулся назад, чтобы посмотреть на часы. Потом взглянул на посетителя, который молча сидел в углу, а затем на мясо, зарумянившееся на сковородке. И лишь тогда сказал:

— Нет, серьезно, я ничего не понимаю, королева.

— Не будь дурачком, Хосе, — сказала женщина. — Запомни, я здесь с половины шестого.

НОЧЬ, КОГДА ХОЗЯЙНИЧАЛИ ВЫПИ

Мы втроем сидели за столиком, когда кто-то опустил монету в щель автомата и началась нескончаемая, на всю ночь, пластинка. У нас не было времени подумать о чем бы то ни было. Это произошло быстрее, чем мы вспомнили бы, где же мы встретились, и быстрее, чем обрели бы способность ориентироваться в пространстве. Один из нас вытянул руку вперед, провел по стойке (мы не видели руку, мы слышали ее), наткнулся на стакан и замер, положив обе руки на твердую поверхность. Тогда мы стали искать друг друга в темноте и нашли — соединили все тридцать пальцев на поверхности стойки. Один сказал:

— Пошли.

И мы поднялись, будто ничего не случилось. У нас все еще не было времени встревожиться.

Когда мы проходили по коридору, то слышали музыку где-то близко, прямо перед нами. Пахло печальными женщинами, они сидели и ждали. Пахло длинным пустым коридором — он тянулся перед нами, пока мы шли к дверям, чтобы выйти на улицу, но тут мы почувствовали терпкий запах женщины, что сидела у дверей. И мы сказали:

— Мы уходим.

Женщина ничего не ответила. Мы услышали скрип кресла-качалки — кресло качнулось назад, когда женщина встала. Услышали звук шагов по расшатанным половицам; потом звук ее шагов повторился — когда

она возвращалась на прежнее место, после того как дверь, скрипнув, закрылась за нашими спинами.

Мы обернулись. Там, за нами, воздух загустел — приближался рассвет-невидимка, и чей-то голос сказал:

— Отойдите-ка, дайте мне пройти.

Мы попятнулись. А голос снова сказал:

— Они все еще торчат у дверей!

И только когда мы пошли сразу в разные стороны и когда голос стал слышаться везде, мы сказали:

— Нам не выйти отсюда. Выпи выклевали нам глаза.

Потом мы слышали: открылось несколько дверей. Один из нас разжал руки, отошел, и мы слышали: он пробирается в темноте, покачиваясь, натываясь на какие-то предметы, окружавшие нас. И он сказал откуда-то из темноты:

— Должно быть, мы почти пришли. Здесь пахнет сундуками, набитыми барахлом.

Мы почувствовали: он снова взял нас за руки; мы прижались к стене, и тогда другой голос прошел мимо нас, но уже в другом направлении.

— Это, наверное, гробы, — сказал один из нас.

Тот, что был в самом углу и чье дыхание теперь доносилось до нас, сказал:

— Это сундуки. Я с детства знаю запах сундуков, набитых одеждой.

Тогда мы двинулись туда. Пол был мягкий и гладкий, как утопанная земля. Кто-то вытянул руку. Мы почувствовали прикосновение к чему-то продолговатому и живому, но противоположной стены уже не было.

— Это какая-то женщина, — сказали мы.

Тот, который говорил про сундуки, сказал:

— Мне кажется, она спит.

Тело женщины изогнулось под нашими руками, вздрогнуло, мы почувствовали, как оно ускользает, но не потому, что увертывается от наших прикосновений, а потому, что как бы перестает существовать. Однако

спустя мгновение, когда мы напряженно и неподвижно стояли плечом к плечу, мы услышали голос женщины.

— Кто здесь ходит? — сказал голос.

— Это мы, — ответили мы, не шелохнувшись.

Послышалось какое-то движение на постели, потом скрип и шарканье ног, пытающихся нащупать в темноте шлепанцы. Тут мы представили себе, что женщина села и смотрит на нас, еще не окончательно проснувшись.

— Что вы здесь делаете? — спросила она.

И мы сказали:

— Не знаем. Выпи выклевали нам глаза.

Тогда она сказала:

— Я что-то слышала об этом. В газетах писали: трое мужчин пили пиво в каком-то патио, где было пять-шесть выпей. Семь выпей. И один из мужчин стал подражать голосу выпы. Плохо то, что час был уже поздний, — сказала она. — И вот эти твари прыгнули на стол и выклевали им глаза.

Она сказала, что так было написано в газетах, но никто в это не поверил.

Мы сказали:

— Если в патио еще были люди, они должны были видеть выпей.

И женщина сказала:

— Были. На другой день в патио набилось полно народу, но хозяйка уже отнесла выпей в другое место.

Когда мы повернулись в другую сторону, женщина замолчала. Там снова была стена. Стоило нам повернуться, мы наталкивались на стену. Вокруг нас, приближаясь к нам, повсюду и всегда была стена. Кто-то из нас снова разжал руки. Мы услышали: он снова что-то ощущает, шарит по полу и говорит:

— Не пойму, куда девались сундуки. По-моему, мы оказались где-то в другом месте.

И мы сказали:

— Иди сюда. Тут кто-то есть, рядом с нами.

Мы услышали: он приближается. Почувствовали: он подошел к нам, и снова ощутили его теплое дыхание на своих лицах.

— Вытяни руку вон туда, — сказали мы ему. — Там кто-то, кто знает нас.

Должно быть, он вытянул руку; должно быть, подошел, куда мы ему указывали, потому что через минуту вернулся и сказал:

— Мне кажется, там какой-то мальчик.

И мы сказали:

— Хорошо, спроси его, знает ли он нас.

Он спросил. И мы услышали в ответ равнодушный, бесцветный голос мальчика:

— Да, я вас знаю. Вы — те трое, которым выпы выклевали глаза.

Тогда послышался голос взрослого человека. Женский голос, который, казалось, шел из-за закрытой двери:

— Ты снова разговариваешь сам с собой.

Детский голос беззаботно ответил:

— Нет. Тут снова люди, которым выпы выклевали глаза.

Скрипнула дверь, и затем вновь послышался женский голос — уже ближе, чем в первый раз.

— Отведи их домой, — сказал голос.

И мальчик сказал:

— Но я не знаю, где они живут.

И женский голос сказал:

— Не выдумывай. С той ночи, как выпы выклевали им глаза, все знают, где они живут.

И потом она заговорила другим тоном, как если бы обращалась к нам:

— Все дело в том, что никто не хочет в это верить; говорят, это очередная «утка» — чтобы раскупали газету. Никто не видел выпей.

И каждый из нас сказал:

— Но даже если я выйду на улицу с остальными слепцами, никто не поверит мне.

Мы стояли не шевелясь, не двигались, прислонившись к стене, слушая женщину. Она сказала:

— Но если с вами вместе выйдет мальчик — это другое дело. Разве не поверят словам ребенка?!

Детский голос перебил:

— Если я выйду на улицу вместе с ними и скажу: вот те самые люди, которым выпи выклевали глаза, — мальчишки забросают меня камнями. В городе говорят, что такого не бывает.

Наступила тишина. Затем дверь закрылась, и мальчик снова заговорил:

— И потом, я сейчас занят — читаю «Терри и пираты».

Кто-то сказал нам на ухо:

— Я уговорю его.

И пошел туда, откуда слышался голос ребенка.

— Прекрасно, — сказал этот кто-то. — Так расскажи нам хотя бы, что произошло с Терри на этой неделе.

Нам показалось, что он пытается завоевать доверие мальчика. Но тот ответил:

— Мне это не интересно. Мне нравится только рассматривать картинки.

— Терри оставили в лабиринте, — сказали мы.

И мальчик сказал:

— Это было в пятницу. А сегодня воскресенье, и мне интересно только рассматривать картинки. — Он сказал это бесстрастно, равнодушно, отчужденно.

Когда тот, другой, вернулся, мы сказали:

— Вот уже три дня, как мы потерялись, и с тех пор мы так и не отдыхали.

И тот сказал:

— Хорошо. Давайте немного отдохнем, только не будем разнимать рук.

Мы сели. Нежаркое невидимое солнце стало прогревать нам плечи. Но даже солнце оставило нас равнодушными. Мы где-то сидели, потеряв представление о

расстоянии, времени, направлении. Мимо нас прошло несколько голосов.

— Выпи выклевали нам глаза, — сказали мы.

И чей-то голос сказал:

— Эти люди приняли всерьез то, что было написано в газетах.

Голоса исчезли. Мы продолжали сидеть плечо к плечу, надеясь узнать по голосам и запахам идущих мимо нас знакомых. Солнце уже напекло нам головы. И тогда кто-то сказал:

— Пойдемте снова к стене.

И остальные, продолжая сидеть, подняв голову к невидимому сиянию, ответили:

— Нет, еще рано. Подождем, когда солнце станет бить нам прямо в лицо.

ТОТ, КТО ВОРОШИТ ЭТИ РОЗЫ

Так как было воскресенье и дождь прекратился, я подумал, что неплохо бы отнести букетик роз на мою могилу. Букетик из белых и красных роз, тех самых, что она выращивает для украшения алтаря и для венков. Утро выдалось печальным — незаметно и мягко подступила зима, и мне вспомнился холм, на котором жители городка оставляют своих мертвых. Это голое место, совсем без деревьев, где останки едва припорошены землей и обнажаются каждый раз после сильного ветра. Сейчас, когда дождь перестал и полуденное солнце подсушило скользкий склон холма, я смог бы добраться до могилы, в которой лежит мое детское тельце, уже, наверное, истлевшее и рассыпавшееся между камней и улиток.

А она стоит, замороженная, перед своими святыми. Погрузилась в раздумья, так как я притих после неудачной попытки пробраться к алтарю и стянуть самые свежие и самые красные розы. Может, сегодня мне бы и повеселилось, но мигнула лампадка, и она, очнувшись от оцепенения, подняла голову и посмотрела в угол, на стул. Она, должно быть, подумала: «Опять этот ветер», потому что перед алтарем и вправду что-то скрипнуло и воздух всколыхнулся на миг, едва заметно, будто всколыхнулись старинные воспоминания, обитающие в доме с очень давних времен. Стало ясно, что нужно ждать более подходящего случая, — она все еще встревожена и поглядывает на стул и обязательно заметит движение моих рук перед своим лицом. Быть может, надо подождать. Когда она отправится в другую комнату на обязательную и отмеренную по часам воскресную сиесту, я смогу улизнуть, стащив розы, и пробраться в комнату прежде, чем она вернется сюда.

А в прошлое воскресенье было еще хуже — мне пришлось ждать два часа, пока она погрузилась в молитву. Что-то тревожило ее, она догадывалась, что ее одиночество нарушено. С охапкой роз в руках она несколько раз обошла комнату, прежде чем положить цветы на алтарь. Затем вышла в коридор, уходящий в глубь дома, и заглянула в соседнюю комнату; я понял: она ищет лампу. Когда она возвращалась по коридору, я увидел ее в дверном проеме — она была в темной жакетке и розовых чулках. И на какую-то секунду она показалась мне той давней девочкой, которая сорок лет назад, в этой же самой комнате, склонилась над моей кроватью и сказала: «Эти пятаки в глазницах так похожи на круглые бессердечные глаза». И мне показалось, что нет больше этих лет, отделяющих нас от памятного вечера, когда женщины привели ее в комнату, показали мой труп и сказали: «Плачь. Он был тебе почти братом», и она отвернулась к стене, плача, как ей велели, а платье ее было мокрым от дождя.

Вот уже три или четыре воскресенья я подбираюсь к цветам, но она ни на минуту не теряет бдительности, оберегая розы с такой ревнивостью, какой не было за все двадцать лет, пока она живет в доме. В прошлое воскресенье, когда она отправилась искать лампу, я все-таки успел набрать букет из ее лучших роз. Я уже праздновал победу и собрался нести цветы к своему стулу, но услышал шаги в коридоре и бросил розы обратно на алтарь; она появилась в проеме двери с лампой, поднятой над головой.

На ней была темная жакетка и розовые чулки, а в лице светилось что-то похожее на отблеск прозрения. Ничто не напоминало женщину, которая двадцать лет неизменно выращивает розы в своем саду; передо мной стояла девочка, которую далеким августовским вечером увели, чтобы переодеть в сухое, и которая вернулась сейчас с лампой в руке, располневшая и состарившаяся, сорок лет спустя.

Твердая корка грязи, налипшей в тот давний вечер,

еще не успела облупиться с моих башмаков, а ведь они двадцать лет сушились возле потухшего очага. Однажды я попытался найти их, вскоре после того, как с порога сняли хлеб и пучок алоэ, закрыли двери и вывезли мебель. Всю мебель, кроме одного стула в углу, того, что исправно служит мне все эти годы. Башмаки поставили сушиться и, покидая дом, забыли о них. А я вспомнил.

Она вернулась много лет спустя. Прошло столько времени, что запах мускуса в комнатах смешался с запахом пыли, с сухой вонью распавшихся в прах насекомых. Все эти годы я был в доме, в углу комнаты, и ждал. Я научился слышать шорох ветшающего дерева и улавливать перемены воздуха, застоявшегося в закрытых спальнях. Когда она приехала, дом был уже почти разрушен. Она остановилась в дверях, с чемоданом в руке, в зеленой шляпке и в жакетке из хлопка, которой ни разу не изменила с тех пор. Она была совсем девочкой и еще не начала полнеть, и щиколотки ее еще не распухли под чулками, как теперь. Я был покрыт пылью и паутиной, когда она открыла дверь, и где-то в комнате умолк сверчок, трещавший все двадцать прошедших лет. Но, несмотря ни на что, несмотря на паутину и пыль, несмотря на внезапный испуг сверчка и изменившийся возраст стоящей в дверях, я узнал в ней ту самую девочку, которая далеким августовским вечером ходила со мной собирать птичьи гнезда под крышей конюшни. Она остановилась в дверях, с чемоданом в руке и в зеленой шляпке, и вид у нее был такой, будто она собирается закричать, закричать так, как кричала в день, когда меня нашли лежащего навзничь среди разбросанного сена, все еще сжимающего в руках перекладину сломавшейся лестницы. Когда она растворила дверь, скрипнули петли и пыль хлопьями посыпалась с потолка, будто кто-то стучал молотком по крыше, — она остановилась в нерешительности, обрамленная светящимся дверным проемом, и позвала голосом, каким будят спящего: «Мальчик, мальчик!» А я замер на стуле, вытянув ноги и окаменев.

Я думал, она пришла для того, чтобы еще раз уви-

деть комнату, но она осталась здесь жить. Проветрив дом, она открыла чемодан, и прежний запах мускуса наполнил комнаты. Все прочие, покинув дом, увезли с собой мебель и баулы с одеждой, а она забрала из комнат только запахи, чтобы двадцать лет спустя, приехав, вернуть их на прежние места. Она восстановила алтарь, и одного ее присутствия оказалось достаточно, чтобы воскресить все разрушенное неумолимым трудолюбием времени. С тех пор она живет в доме — отдыхает и ест в соседней комнате, а дни проводит здесь, в разговорах со святыми. Вечерами она сидит в качалке рядом с дверью и штопает одежду, поджидая посетителей, заглядывающих сюда, чтобы купить цветы. Она всегда раскачивается в качалке, штопая одежду. И когда кто-нибудь покупает букет роз, она прячет монетку в уголок платка, повязанного вокруг талии, и говорит неизменное: «Цветы берите справа, слева — для святых».

Так проводит она в качалке свои дни вот уже двадцать лет, штопая одежду, покачиваясь в кресле и глядя на стул, посвятив свою жизнь ребенку, делившему с ней некогда вечера детства, словно своему внуку-инвалиду, который живет рядом с ней и день за днем проводит на одном и том же стуле начиная со времен, когда его бабушке было всего пять лет.

Возможно, что сейчас, пока она склонила голову, я успею приблизиться к розам. Если мне удастся сделать это, я пойду на холм, положу цветы на могилку и опять вернусь на стул, чтобы на нем дожидаться дня, когда она больше не войдет в эту комнату и все звуки в доме умолкнут.

В тот день все изменится, так как я должен буду выйти отсюда и известить людей о том, что женщине, жившей в разрушенном доме и торговавшей цветами, требуются четверо мужчин, чтобы снести ее на холм. Сделав это, я останусь в комнате навсегда. А она будет довольна. Ведь в этот день она наконец узнает, что это не ветер приходил каждое воскресенье к алтарю и ворошил ее розы.

НАБО — НЕГРИТЕНОК, ЗАСТАВИВШИЙ ЖДАТЬ АНГЕЛОВ

Набо лежал ничком в вытопанной траве. Он дышал острым запахом конской мочи, натирающим тело словно наждаком. Посеревшей и лоснящейся кожей он чувствовал горячее дыхание склоняющихся к нему лошадей, но самой кожи не чувствовал. Все ощущения собственного тела исчезли. Удар подковы в лоб поверг его в липкую, тягучую дрему, и сейчас для него существовала только эта дрема — и больше ничего. В ней странным образом переплетались едкие испарения конюшни и тихий мир бесчисленных насекомых в траве. Набо попытался разлепить веки, но снова смежил их, теперь уже успокоившись, вытянувшись на земле и замерев. Он ни разу не пошевелился до самого вечера, когда кто-то за его спиной проговорил: «Пойдем, Набо. Хватит спать». Он поднял голову и почему-то не обнаружил в конюшне лошадей, хотя ворота оставались закрытыми. Не было слышно ни похрапываний, ни беспокойного топтания, а тот, кто окликал, находился, должно быть, где-то снаружи. Голос за спиной опять сказал: «Правда, Набо. Ты давно спишь. Ты спишь три дня подряд». И тогда, открыв глаза, Набо вспомнил: «Я лежу здесь, потому что меня лягнула лошадь».

Он никак не мог сообразить, который час. Возможно, прошел день или два с тех пор, как он упал в траву. Цветные картинки его воспоминаний расплылись, как будто кто-то провел по ним влажной губкой, и вместе с ними расплылись вечера тех далеких суббот, когда Набо

ходил на главную площадь их городка. Он уже не помнил: надевал ли в те вечера белую рубашку и черные брюки. Не помнил своей зеленой шляпы, настоящей шляпы из зеленой соломки, и забыл, что на нем тогда не было башмаков. Набо ходил на площадь по субботам, вечерами, и молча усаживался где-нибудь в уголке — не для того, чтобы послушать музыку, а чтобы увидеть негра. Смотреть на негра он ходил каждую субботу. Негр носил черепаховые очки, привязанные к ушам веревочками, и играл на саксофоне, стоя за одним из задних пюпитров. Каждый раз Набо внимательно наблюдал за ним, но негр ни разу не заметил Набо. Во всяком случае, если бы кто-то, узнав, что Набо ходит на площадь ради негра, спросил — не сейчас, конечно, потому что сейчас он ничего не помнил, а раньше, — смотрит ли на него негр, Набо ответил бы, что нет. Это было единственным, что он делал, кроме того, что ухаживал за лошадьми: смотрел на негра.

В одну из суббот негра не оказалось на привычном месте. Заметив пустой пюпитр, Набо заволновался, но подставку не убрали, возможно, потому, что ожидали негра в следующую субботу. Но и в следующий раз он не пришел, и пюпитра его уже не было в оркестре.

Набо с трудом перевернулся на бок и увидел наконец человека, который с ним разговаривал. Сначала он не узнал его, размытого сумраком конюшни. Человек сидел на краю дощатого настила, отбивая на коленках какой-то мотивчик. «Меня лягнула лошадь», — повторил Набо, пытаясь разглядеть человека. «Лягнула, — подтвердил человек. — Но сейчас здесь нет лошадей, а мы уже давно ждем тебя в хоре». Набо встряхнул головой. Он все еще не мог думать, но уже догадался, что где-то видел этого человека. Набо не очень понимал, о каком хоре идет речь, однако само приглашение его несколько не удивило, потому что петь он любил и, ухаживая за лошадьми, всегда, чтобы лошади не скучали, напевал им песни собственного сочинения. Кроме того,

он пел для немой девочки, развлекаая ее теми же песнями, что и лошадей. Девочку мало интересовал окружающий мир, она всегда была погружена в свой ограниченный четырьмя унылыми стенами комнаты мир и слушала Набо, равнодушно глядя в одну точку. Набо и раньше трудно было удивить приглашением в хор, а сейчас и подавно, хотя он и не мог никак понять, что это за хор. Голова гудела, и мысли разбегались в разные стороны. «Я хочу знать, куда делись лошади», — сказал он. Человек ответил: «Лошадей нет, ты уже слышал. А вот твой голос нам бы очень пригодился». Набо внимательно выслушал, но из-за боли, оставшейся после удара копыта, едва ли понял сказанное. Он уронил голову в траву и забылся.

Набо еще две или три недели ходил на площадь. Несмотря на то что негра уже не было в оркестре. Если бы он у кого-нибудь спросил, что случилось с музыкантом, ему, может быть, и ответили бы, но — он не спросил, а продолжал молча посещать концерты до тех пор, пока другой человек с другим саксофоном не занял пустующее место. Набо понял, что негра больше не будет, и забыл про площадь.

Он очнулся, как ему показалось, очень скоро. Тот же запах мочи обжигал ноздри, а глаза застилал туман, мешающий разглядеть окружающие предметы. Но человек все так же сидел в углу, прихлопывая по коленям, и его убаюкивающий голос повторял: «Мы ждем тебя, Набо. Ты спишь уже два года и не думаешь просыпаться». Набо еще раз на минутку прикрыл глаза и снова открыл их, старательно вглядываясь в маячившее вдалеке лицо. На этот раз лицо было растерянным и грустным, и Набо наконец узнал его.

Если бы мы, домашние, знали, что Набо ходил по субботам слушать оркестр, а потом перестал, мы могли бы подумать — он забыл про площадь потому, что в

нашем доме появилась музыка. Как раз тогда в дом принесли граммофон — развлекать девочку. Нужно было время от времени заводить пружину, и самым подходящим для этого человеком оказался Набо. Он легко управлялся с граммофоном, когда ему не нужно было чистить лошадей. Неподвижно сидя в углу, девочка теперь целыми днями слушала пластинки. Иногда, замороженная музыкой, она сползала со стула, все так же глядя в одну точку и не замечая текущей изо рта слюны, и ползла в столовую. Случалось, что Набо поднимал иголку граммофона и начинал петь сам. Кстати, придя наниматься в наш дом, он заявил, что поет и умеет делать это лучше всех других дел. Нас тогда не интересовали песни, нам нужен был мальчик для ухода за лошадьми, но Набо остался, — он пел, как будто мы наняли его именно для этого, и ухаживал за лошадьми лишь в виде развлечения. Так длилось больше года, пока мы, домашние, не свыклись с мыслью, что девочка никогда не сможет ходить. Не сможет ходить, не будет никого узнавать и навсегда останется безвольной и равнодушной куклой, слушающей музыку и глядящей в стену до тех пор, пока кто-нибудь не снимет ее со стула и не перенесет в другую комнату. Мы свыклись с этой мыслью, и со временем она перестала причинять нам боль, но Набо остался верен девочке, и изо дня в день в определенные часы в комнате продолжали раздаваться звуки граммофона. Тогда Набо еще ходил на площадь. И вот однажды, когда он отсутствовал, в комнате кто-то вдруг отчетливо произнес: «Набо». Мы все были в коридоре и в первый момент не обратили внимания на голос. Но и во второй раз отчетливо прозвучало: «Набо!» — и мы переглянулись между собой и удивились: «Разве девочка не одна?» И кто-то сказал: «Уверен, что к ней никто не входил». А другой добавил: «Но ведь кто-то позвал Набо!» Мы вошли в комнату и обнаружили девочку на полу около стены.

В ту субботу Набо вернулся раньше обычного и

сразу лег спать. А в следующую вообще не пошел на площадь, потому что негра к тому времени уже заменил другой музыкант. А еще через три недели, в понедельник, граммофон заиграл вдруг в неурочное время — тогда, когда Набо находился в конюшне. И это мы тоже заметили не сразу и спохватились, только когда негр-тенок, напевая, показался в дверях дома — он мыл лошадей, с его фартука все еще стекала вода. Мы воскликнули: «Откуда ты?» И он сказал: «Из конюшни. Я там с самого полудня». — «Но ведь граммофон играет! Ты слышишь?» — «Да». — «Но ведь кто-то завел его!» А он пожал плечами: «Это девочка. Она уже давно заводит граммофон сама».

Так все и шло, вплоть до того дня, когда мы обнаружили его лежащим ничком на траве в запертой конюшне, со следом подковы на лбу. Мы встряхнули его за плечи, и он сказал: «Я здесь потому, что меня лягнула лошадь». Но мы даже не обратили внимания на его слова, испуганные холодными и мертвенными глазами и ртом, полным зеленой пены. Всю ночь он плакал, охваченный жаром, и в бреду вспоминал о каком-то гребне, потерявшемся в траве. Так было в первый день. Наутро он открыл глаза и попросил пить; мы принесли воду, он жадно выпил целую кружку и дважды просил еще. Мы поинтересовались, как он себя чувствует, и он сказал: «Так, как будто меня лягнула лошадь». Бред продолжался весь день и всю ночь. В конце концов он сел в постели, показал пальцем в потолок и заявил, что ему не давали спать скачущие там кони. Температура вскоре спала, речь приобрела связность, и он говорил до тех пор, пока в рот ему не засунули платок. Даже сквозь платок он пел и шептался с лошадей, которая, как ему казалось, дышала в ухо, будто принюхиваясь. Когда платок вынули, чтобы дать Набо поесть, он отвернулся к стене и заснул. Все стало ясно. Проснулся он уже не в кровати. Он проснулся привязанным к столбу посреди комнаты. Привязанный, он начал петь.

Узнав разговаривающего с ним человека, Набо сказал: «Я видел вас раньше». — «Меня каждую субботу видели на площади». — «Верно, на площади. Но тогда мне казалось, что вы меня не замечаете». — «Я и не замечал. Но, перестав играть на площади, почувствовал, что по субботам мне не хватает чьих-то взглядов». Набо вздохнул: «Вы не вернулись тогда, а я приходил еще три или четыре раза». Человек, все так же похлопывая по коленкам и, видимо, не собираясь уходить, промолвил: «Увы, я уже не мог ходить туда, хотя это, пожалуй, единственное в жизни, что бы стоило делать». Набо попробовал подняться и тряхнул головой, стараясь не упустить смысла слов, но неожиданно для себя снова уснул. С тех пор, как его лягнула лошадь, такое часто повторялось с ним. А рядом все время звучал навязчивый голос: «Мы ждем тебя, Набо. Ну сколько же можно спать! Ты проспишь все на свете».

Через четыре недели после того, как негр впервые не появился в оркестре, Набо решил причесать хвост одной из лошадей. До этого он никогда не расчесывал лошадям хвосты, а только, распевая песни, скреб им бока. Но в среду он был на базаре и, увидев отличный гребень, подумал: «Он как раз для того, чтобы расчесывать хвосты лошадям». Тогда-то лошадь и лягнула его, оставив на всю жизнь дурачком, десять или пятнадцать лет назад. Кто-то сказал: «Лучше бы ему было умереть, чем остаться на всю жизнь лишенным разума и будущего». Его заперли в комнате, и никто больше туда не входил. Мы знали, что он все еще там, мы слышали, что девочка ни разу не заводила граммофон. Да нам и не хотелось знать больше. Мы заперли его, как запирают лошадь, — увидев, что удар копыта лишил его рассудка и роковая подкова навсегда очертила круг, за который не сможет выбраться его бедный разум. Мы оставили его заточенным в четырех стенах, молчаливо решив, что он умрет, не выдержав уединения, ибо у нас не хватило

духу убить его другим способом. Прошло четырнадцать лет с тех пор, и вот однажды выросшие дети сказали, что хотят взглянуть ему в лицо. И открыли дверь.

Набо опять взглянул на человека. «Меня лягнула лошадь», — сказал он. Человек ответил: «Ты уже сто лет говоришь одно и то же. А мы, между прочим, ждем тебя в хоре». Набо снова потряс головой и погрузил лоб в траву, мучительно пытаясь вспомнить что-то. «Я причесывал лошадиный хвост, когда это случилось», — сказал он наконец. Человек согласился: «Дело в том, что нам очень хотелось видеть тебя в хоре». — «Так, значит, я напрасно купил тогда гребень», — догадался Набо. «Твой жребий все равно настиг бы тебя», — сказал человек. — «Мы решили, что ты увидишь гребень и захочешь расчесать хвосты лошадям». Набо возразил: «Но ведь я никогда не вставал позади лошади». — «А тут встал, — сказал человек, все так же не проявляя беспокойства. — И лошадь лягнула тебя. У нас не было другого способа». И этот разговор, нелепый и жестокий, все тянулся и тянулся между ними, до тех пор пока в доме кто-то не сказал: «Уже пятнадцать лет никто не открывал эту дверь». Девочка за эти годы не выросла ни на сколько. Ей уже минуло тридцать, и сеточка грустных морщин покрыла веки, но она сидела все в той же позе, глядя в стену, когда мы открывали дверь. Она повернула лицо, пригнувшись к чему-то, но мы снова заперли комнату, решив: «Набо спокоен, и не нужно его тревожить. Он даже не двигается. Однажды он умрет, и мы узнаем об этом по запаху». А кто-то добавил: «Или по еде. Он всегда съедает все приготовленное для него». И все осталось по-прежнему, лишь девочка смотрела теперь не на стену, а на дверь, пригнувшись к едким испарениям, сочащимся через замочную скважину. Она просидела неподвижно до рассвета, а на рассвете вдруг послышался забытый металлический скрежет, какой произ-

водит граммофон, когда его заводят. Мы встали, зажгли лампу и услышали первые такты грустной мелодии, вышедшей из моды много лет назад. Заводимая пружина продолжала скрипеть, с каждой секундой все резче и резче, пока наконец не раздался сухой треск. Войдя в комнату — а мелодия все продолжала звучать, — мы увидели девочку, держащую в руках заводную ручку, которая отвалилась от играющего ящика. Никто не двинулся с места. И девочка не двигалась, равнодушная и застывшая, уставясь в одну точку, с заводной ручкой, прижатой к виску. Мы промолчали и разошлись по своим комнатам, вспоминая, умела ли девочка сама заводить граммофон. Вряд ли кто-то из нас смог уснуть, мы думали о случившемся и вслушивались в немудреный мотивчик пластинки, что, раскручиваемая сорванной пружиной, продолжала звучать.

Накануне, открывая дверь, мы уже различили смутный запах распада — запах начавшегося тления. Открывавший крикнул: «Набо, Набо!» — но никто не отозвался. Под дверью стояла пустая тарелка. Трижды в день мы подсовывали под дверь тарелку с едой, и каждый раз она возвращалась пустой. Тарелка показывала нам: Набо еще жив. Только тарелка, и больше ничего.

Набо уже не ходил по комнате и больше не пел. После того как дверь закрыли, он сказал человеку: «Я не смогу пойти в хор». А человек спросил: «Почему?» — «Потому что у меня нет башмаков», — ответил Набо. Человек, задрав ногу, возразил: «Это не важно. У нас никто не носит башмаков». Он продемонстрировал желтую и твердую ступню. «Я дожидаюсь тебя целую вечность», — сказал он. «Нет, лошадь совсем недавно лягнула меня, — заупрямился Набо. — Сейчас я полью на голову воды и пойду загонять коней в стойло». Человек сказал: «Лошади больше не нуждаются в тебе. Их давно уже нет. А тебе нужно идти с нами». Но Набо не соглашался:

«Лошади должны быть здесь». Он попытался приподняться, погрузив руки в траву, и услышал, как человек сказал: «Уже пятнадцать лет, как за ними некому ухаживать». Но Набо все царапал землю, повторяя: «Где-то здесь должен быть гребень». Человек сказал: «Конюшню закрыли пятнадцать лет назад. Сейчас она превратилась в груды мусора». — «Но, — возразил Набо, — как могла груды мусора образоваться за один вечер?! Пока я не найду гребень, я не уйду отсюда».

На следующий день после того, как дверь снова заперли, мы слышали изнутри настойчивые удары. Никто из нас не пошевелился. Никто не проронил ни слова даже тогда, когда послышался треск и дверь начала подаваться под натиском чудовищной силы. Хриплое дыхание загнанного животного доносилось изнутри. Наконец ржавые петли заскрежетали и рассыпались в прах, Набо, стоя на пороге, упрямо мотал головой. «До тех пор, пока я не найду гребень, — проговорил он, — я не пойду в хор». Он начал разгребать под собой траву, вырывая ее с корнем, царапая землю, и тогда человек сказал: «Ну хорошо. Если тебе не хватает только гребня, тогда иди ищи его!» Он наклонил голову, с трудом сдерживая раздражение, и, положив локти на ветхую перегородку, сказал: «Иди, Набо. Я сделаю так, чтобы тебя никто не задержал».

Дверь наконец поддалась, и чудовищный негр с незажившим шрамом на лбу (несмотря на то что минуло уже пятнадцать лет) вырвался из заточения и побежал, круша по дороге вещи, сметая мебель и потрясая грозными кулаками (на руках еще болталась веревка — с тех времен, когда он был черным мальчиком, ухаживающим за лошадьми); он вышиб дверь одним ударом плеча и пронесся, вопя, по коридорам и промчался (прежде чем выскочить во двор) мимо девочки, которая со вчерашнего вечера сидела с рукояткой от граммофона (она по-

смотрела на черную, сорвавшуюся с цепи силу и вспомнила что-то, — возможно, какое-то слово), а он выскочил во двор (задев плечом зеркало в комнате и не заметив ни зеркала, ни девочки) и увидел солнце, которое ослепило его (а в доме еще не стих звон разбитых им стекол), и побежал наугад, как обезумевшая лошадь, чутьем отыскивая несуществующую дверь конюшни, которая за пятнадцать лет стерлась из памяти, но осталась в подсознании (с того далекого дня, когда он причесывал хвост лошади и удар копыта на всю жизнь сделал его слабоумным), и он выскочил на задний двор, оставляя за собой разгром, катастрофу, хаос, — как бык, ослепленный светом прожекторов (а конюшню он все еще не находил), и принялся рыть землю с буйной свирепостью, как будто хотел докопаться до манящего запаха кобылы, а потом достичь наконец дверей конюшни (теперь он был сильнее своей темной силы) и вышибить дверь, и упасть внутрь, лицом вниз, может быть, в последнем порыве, но все еще во власти той животной ярости, той жестокости, которая секунду назад застила от него мир и не позволила разглядеть девочку — девочку, что увидела его, проносящегося мимо, и вспомнила (неподвижная, безвольная, с поднятой ручкой от граммофона), вспомнила то единственное слово, которое она научилась выговаривать, слово, которое она кричала сейчас из комнаты: «Набо! Набо!»

Настал понедельник, теплый и без дождя. Всегда поднимающийся рано, Аурелио Эсковар, зубной врач без диплома, открыл свой кабинет в шесть часов утра. Он достал из стеклянного шкафа гипсовую форму с искусственной челюстью и разложил на столе инструменты, от самых больших до самых маленьких, как на выставке. На нем была рубашка без воротничка, застегнутая вверху на одну позолоченную пуговицу, и брюки с подтяжками из эластика. Он был прямой и худощавый, со взглядом всегда замкнутым и обращенным в себя, как это бывает у глухих.

Разложив инструменты, он придвинул бормашину к вращающемуся креслу и взялся за шлифовку челюсти. Работал упрямо, без усталости нажимая на педаль бормашины, даже тогда, когда не пользовался бором; но лицо его оставалось равнодушным, как будто доктора совсем не интересовало то, над чем он трудился.

В восемь сделал перерыв, посмотрел через окно на небо и увидел двух задумчивых грифов, которые сушили перья на крыше соседнего дома. Он вновь принялся за работу, думая о том, что перед обедом, наверное, опять пойдет дождь. Ломающийся голос одиннадцатилетнего сына вывел его из задумчивости:

— Папа!

— Что?

— Алькальд спрашивает, не выдернешь ли ты ему зуб.

— Скажи, что меня нет.

Он вытачивал теперь золотую коронку. Он держал

ее в вытянутой руке и, прищурившись, осматривал. Из небольшой приемной вновь послышался голос сына:

— Он говорит, что ты здесь, он слышал твой голос.

Доктор продолжал изучать зуб. Только отложив его на столик с готовыми заказами, он произнес:

— Тем лучше.

И снова взялся за бор. Из картонной коробочки, в которой хранились заготовки, он вынул мост с несколькими золотыми зубами и принялся его шлифовать.

— Папа!

— Что?

Выражение лица доктора оставалось прежним.

— Алькальд говорит, что, если ты не выдернешь ему зуб, он тебя застрелит.

Неторопливо и очень спокойно доктор снял ногу с педали, откатил бормашину от кресла и потянул на себя выдвижной ящик стола. В ящике лежал револьвер.

— Ладно, — проговорил он. — Скажи ему, пусть войдет.

Он развернул кресло так, что оказался лицом к двери, и положил руку на бортик ящика. Алькальд появился на пороге. Левая его щека была гладко выбрита, на правой, распухшей и болезненной, темнела пятидневная щетина. В выцветших от боли глазах доктор увидел отчаяние бессонных ночей. Кончиками пальцев он задвинул ящик и, смягчившись, сказал:

— Садитесь.

— Добрый день, — сказал алькальд.

— Добрый, — отозвался доктор.

Ожидая, пока прокипятятся инструменты, алькальд прислонился затылком к подголовнику кресла и почувствовал себя немного лучше. Он глубоко вдохнул воздух, пропитанный охлаждающими парами эфира, и огляделся. Обстановка кабинета была бедной: старенькое деревянное кресло, бормашина с педальным приводом и стеклянный шкаф с фаянсовыми флаконами. Окна заслоняла ширма в человеческий рост. Доктор придвинулся к

нему, и алькальд, открыв рот, крепко уперся пятками в пол.

Аурелио Эсковар повернул его лицо к свету. Обследовал больной зуб и осторожно надавил пальцами на воспаленную челюсть.

— Придется делать без анестезии, — сказал он.

— Почему?

— Потому что у вас абсцесс.

Алькальд посмотрел ему прямо в глаза.

— Хорошо, — сказал он и постарался улыбнуться.

Доктор ничего не ответил. Перенес на рабочий стол кастрюльку с нагретыми инструментами и все так же неторопливо вынул их из воды холодным пинцетом. Носком башмака он подвинул плевательницу и отошел к умывальнику вымыть руки. На алькальда он не взглянул ни разу. А алькальд все время смотрел на него.

Болел нижний зуб мудрости. Доктор встал попрочнее и наложил на зуб горячие щипцы. Почувствовав судорогу в ногах и ледяную пустоту, разливающуюся в поясице, алькальд вцепился в подлокотники кресла, но не издал ни звука. Доктор слегка пошевелил зуб. Без злобы, с горькой печалью, он проговорил:

— Сейчас вы заплатите за двадцать убитых, лейтенант.

Алькальд услышал хруст корня в челюсти, и слезы навернулись ему на глаза. Он хотел вдохнуть воздуха, но не мог этого сделать до тех пор, пока не почувствовал, что зуба больше нет. Тогда он посмотрел на него сквозь пелену слез. И боль была столь велика, что ничтожной рядом с ней показалась ему пытка пяти предыдущих ночей. Склонившись над плевательницей, взмокший и задыхающийся, он расстегнул френч и принялся шарить по карманам в поисках платка. Тогда доктор подал ему чистый матерчатый лоскут.

— Утрите слезы, — сказал он.

И алькальд утер. Пальцы у него дрожали. Пока доктор мыл над тазом руки, он разглядывал бездонное чис-

тое небо за окном и рядом — пыльную паутину с мертвыми насекомыми и яйцами паука.

Вытирая руки, доктор подошел.

— Постельный режим, — сказал он, — и полоскания соленой водой.

Алькальд поднялся, попрощался, угрюмо приложил руку к козырьку и направился к двери, разминая затекшие ноги и застегивая на ходу френч.

— Пришлите счет, — сказал он.

— Вам или в муниципалитет?

Алькальд не обернулся. Закрыл за собой дверь и только тогда, через металлическую сетку, сказал:

— А, один черт!

Неприятности начались в июле, когда сеньора Ребека, разочаровавшаяся в жизни вдова, живущая одиноко в огромном доме с двумя галереями и девятью комнатами для гостей, обнаружила, что проволочные сетки на ее окнах порваны, как будто кто-то пробил их камнями с улицы. Первые дыры она заметила в спальне и решила серьезно поговорить о них с Архенидой, своей служанкой и единственным после смерти мужа доверенным лицом. Немного позже, перебирая старые вещи (а с некоторых пор сеньора Ребека только тем и занималась, что перебирала старые вещи), она увидела, что сетки разорваны не только в спальне, но и во всем доме. Вдова имела старомодные представления о престиже, унаследованные, возможно, от прадедушки по отцовской линии, креола, который во время войны за независимость сражался на стороне монархистов, а затем совершил опаснейшее папачинство в Испанию, с единственной целью — посетить построенный Карлом III дворец в Сан-Ильдефонсо. Поэтому, обнаружив плачевное состояние своих сеток, вдова решила, что разговором с Архенидой здесь не обойтись, нацепила соломенную шляпку с крохотными бархатными цветочками и отправилась в муниципалитет, заявить о бесцеремонных посягательствах.

Сеньора Ребека ворвалась в захлапленное и перевернутое вверх дном помещение муниципалитета, и первым, что попало ей на глаза, была гора мертвых птиц на письменном столе. Сам алькальд, без рубашки, волосатый, чудовищно коренастый, ремонтировал плетеные сетки на окнах, порванные точно так же, как сетки

вдовы. Сеньора Ребека была ослеплена нестерпимой жарой и негодованием, которое вызвали начисто испорченные заграждения, и поэтому не содрогнулась перед зрелищем птичьих трупиков на столе. Ее даже не возмутил непристойный вид власти, стоящей на верхушке лестницы с мотком проволоки и отверткой в руках. Ничье достоинство, кроме собственного, грубо поправленного чьими-то камнями, не волновало ее сейчас. Она встала со сдержанной торжественностью в двух шагах от дверей, оперлась о длинную резную ручку зонтика и сказала:

— Я пришла, чтобы подать жалобу.

С верхушки лестницы алькальд повернул к ней багровое от жары лицо. Его, казалось, нисколько не удивило появление в кабинете одинокой вдовы. Продолжая с мрачноватой небрежностью отрывать искаленную сетку, он поинтересовался:

— А в чем дело?

— Дело в том, что мальчишки испортили мне всю проволоку на окнах.

Алькальд снова посмотрел на нее. Он оглядел ее так, будто видел впервые, начиная с превосходных бархатных цветочков на шляпке и кончая тувельками цвета старинного серебра. Затем, поминутно оглядываясь, он спустился вниз, а оказавшись на полу, подбоченился, ткнул отверткой в сторону письменного стола и сказал:

— Это не мальчишки, сеньора. Это птицы.

Только сейчас сеньора Ребека связала наконец мертвых птиц на столе, алькальда, взобравшегося на лестницу, и ее собственные плетеные заграждения. И вздрогнула, представив, что и в ее спальнях могут вырасти кучи из мертвых тушек.

— Птицы! — воскликнула она.

— Птицы, — подтвердил алькальд. — Странно, что вы оказались не в курсе этого дела. Вот уже три дня мы решаем проблему птиц, врывающихся в окна, чтобы умереть внутри домов.

Сеньора Ребека покидала здание муниципалитета,

чувствуя, что ее достоинству нанесен серьезный ущерб. Она сердилась на Архениду, которая вечно стаскивала в дом всевозможные городские сплетни, а тут ни словом не обмолвилась о птицах. Сеньора Ребека раскрыла зонтик, заслоняясь от слепящего блеска надвигающегося августа, и на всем протяжении выжженной и пустынной улицы ей мерещился смрад разложения, заполняющий спальни домов.

Это происходило в последних числах июля. И никогда еще городок не знал столь сильной жары. Однако в те дни все были озабочены массовой гибелью птиц, и никто не обратил внимания на разразившийся зной. Трагическая гибель взволновала всех, и, хотя она и не нарушила размеренный уклад жизни, потревоженными ею так или иначе оказалось большинство горожан. Большинство, в которое не вошел его преподобие Антонио Исабель, отец алтаря Святого причастия Касендо и Монтеро, благодушный пастор местной приходской церкви, уверявший, что за свои девяносто четыре года трижды встречался лицом к лицу с самим сатаной, но который заметил только двух мертвых птичек, не придав этому должного значения. Первая попалась ему на глаза в ризнице, во вторник, после окончания мессы, и он решил, что туда затащил ее какой-нибудь соседский кот. Другую он нашел в галерее своего собственного дома, в среду, и пинал ее носком ботинка до улицы, бормоча рассеянно: «Но уж здесь-то кошек быть не должно...»

А в пятницу, на железнодорожной станции, собираясь присесть отдохнуть, он наткнулся на третью птичку, валявшуюся на скамейке. Он взял труп за лапки, поднес к глазам, осмотрел со всех сторон и, пораженный, воскликнул: «Черт побери! Это, кажется, уже третья за неделю». С этого момента святой отец начал замечать что-то необычное в окружающей жизни, хотя многие события он истолковывал по-своему. Дело в том, что Антонио Исабель из-за возраста и постоянных заявлений о своих встречах с дьяволом (чему в городке никто не верил)

воспринимался своими прихожанами человеком безобидным и отзывчивым, но немного не от мира сего. Заметив неладное с птицами, он прежде всего начал думать, достойно ли это событие того, чтобы посвятить ему проповедь. Его озабоченность усилилась, когда он впервые почувствовал разливающийся в воздухе смрад разложения. В пятницу ночью он был разбужен тошнотворной вонью и не сразу сообразил, снится ему запах или существует в самом деле, являя собой новую уловку дьявола, охотящегося за людскими душами. Он обнюхал воздух вокруг и решил обязательно предупредить прихожан. Сатана всегда стремится проникнуть в душу посредством одного из пяти человеческих чувств, и в голове пастора мгновенно сложилась исполненная драматизма проповедь, раскрывающая эту дьявольскую хитрость.

Лишь на следующий день, прохаживаясь перед мессой по паперти, отец Антонио в первый раз услышал пересуды о мертвых птицах. Он был целиком захвачен предстоящей речью, сатаной и его соблазнами, пробирающимися в душу через обоняние, когда услышал разговор о вчерашнем запахе и узнал, что это гниют птицы, скопившиеся в деревне за неделю. Смутная неразбериха из евангельских притч о запахах и мертвых птицах завертелась в его голове. Ему пришлось спешно оставить идею о шутках дьявола с пятью человеческими чувствами и заменить ее в воскресной мессе на пламенную импровизацию о любви к ближнему своему, импровизацию, которую он и сам толком не понял.

Жизненные наблюдения вместе с тем никогда не пропадали у пастора даром, а всегда оседали до поры до времени в укромных уголках его сознания и всплывали потом в самый неожиданный момент. Такое с ним случалось, когда он был еще семинаристом, более семидесяти лет назад, а особенно часто стало повторяться после того, как святому отцу исполнилось девяносто. Как-то в семинарии, тихим светлым вечером, он читал

в оригинале отрывок из Софокла, когда неожиданно начался ливень. Ливень был коротким, и вскоре через окно Антонио увидел обновленный вечер и поникшую ниву, и этот чудный вид на много лет начисто вытеснил из его головы греческий театр и классиков, которых он не различал и называл скопом «стариканами древности». Но двадцать или тридцать лет спустя, проходя ясным вечером по мощеной площади одной из деревень, он вдруг, ни с того ни с сего, продекламировал именно ту строку из Софокла, которую читал некогда в семинарии. Под впечатлением этого необычного случая он на той же неделе завел пространный разговор о «стариканах древности» с папским викарием, болтливым и чувствительным стариком, увлеченным составлением специальных головоломок для эрудитов, изобретателем которых, судя по всему, он сам и являлся и которые в дальнейшем получили широкое распространение под названием кроссвордов.

Тот вечер и разговор с викарием разом воскресили в сердце святого отца былую любовь к греческой литературе. А в ближайшее Рождество он получил некое письмо. И если бы к тому времени он не был тем, кем был, — а за ним прочно укрепилась репутация существа, чрезмерно поддающегося воображению, рискованного в импровизациях и безрассудного в проповедях, — он без труда мог бы стать епископом.

Но он безвозвратно похоронил себя в деревне, еще до войны 85-го года¹. А к тому времени, когда птицы стали врываться в спальни, чтобы умереть там, возраст отца Антонио уже настоятельно требовал его замены на этом посту более молодым священником, особенно после публичных заявлений о встречах с дьяволом. Услышав рассказы о сатане, прихожане вообще перестали принимать пастора всерьез, чего он, впрочем, совер-

¹ Война 1878—1887 годов, одна из самых продолжительных гражданских войн Колумбии.

шенно не замечал, хотя видел еще неплохо и без труда разбирал мелкий шрифт своего молитвенника.

Он всегда вел правильный образ жизни. Маленький и неприметный, с выступающими крепенькими ребрами, он обладал размеренными движениями и ровным голосом, очень приятным в разговоре и слишком убаюкивающим для кафедры. В его привычки входили обязательные размышления в спальне перед обедом, где он лежал, развалясь, в парусиновом кресле, в одних подштанниках из саржи, стянутых веревочками на щиколотках.

Антонио Исабель ничего не делал в жизни, только произносил проповеди. Кроме того, дважды в неделю он отсиживал положенные часы в исповедальне, но уже много лет никто не ходил к нему исповедоваться. Втайне он считал, что прихожане дрогнули в своей вере вследствие общего упадка нравов, и находил свои рассказы о встречах с дьяволом очень поучительными, хотя и не все прихожане отдали должное их убедительности. Сам он порой затруднялся ответить, продолжает ли жить на этом свете или уже переселился на тот, и даже две первые птицы не потревожили святого отца в его эмпиреях. Третья птица, однако, заставила его взглянуть на жизнь попристальнее, и в последующие дни он довольно часто вспоминал о мертвой птахе, найденной на скамейке на станции.

Он жил в десяти шагах от церкви, в маленьком доме без проволочных ограждений, с выходящей на улицу галереей и всего двумя комнатами — кабинетом и спальней. Порой ему начинало казаться — возможно, в минуты, когда в голове рассеивался схоластический туман, — что счастье возможно и на земле, в дни, когда не так жарко, и мысль эта приводила святого отца в стыдливое замешательство. Он любил блуждать в метафизических дебрях. Именно этим он занимался каждое утро в галерее, приоткрыв дверь на улицу, расслабившись и закрыв глаза. Со временем, правда, мысли его становились все

более и более утонченными и неуловимыми, пока в один прекрасный день не исчезли совсем, и в часы, отведенные для размышлений, пастор вообще перестал думать о чем-либо. Ровно в двенадцать в галерею выходил мальчик с судками в руках. В четырех кастрюльках всегда было одно и то же: суп из костей с кусочком юкки, белый рис, мясо, тушенное без лука, жареный банан или кукурузный пирог и немного чечевицы, которую, впрочем, отец алтаря Святого причастия никогда не пробовал.

Мальчик ставил судки рядом с креслом, в котором валялся священник, но тот делал вид, что не замечает мальчишку, и не открывал глаз до тех пор, пока не слышал удаляющиеся по галерее шаги. В деревне поэтому все были уверены, что святой отец спит до обеда, а не в сиесту, что считалось невероятным сумасбродством, в действительности же святой отец спал плохо даже ночью.

Со временем его привычки упростились до неприличия. Он ел, не вставая с парусинового кресла, прямо из судков, не пользуясь ни тарелкой, ни вилкой, ни ножом — орудуя одной только суповой ложкой. После обеда он вставал, брызгал пригоршню воды на голову, одевался в белую истрепанную сутану с квадратными заплатками и отправлялся на железнодорожную станцию, в тот самый час, когда все в деревне ложились вздремнуть после обеда. Вот уже несколько месяцев повторялось одно и то же, и святой отец шел одними и теми же улицами, бормоча под нос молитву собственного сочинения, которая сложилась у него после последней встречи с дьяволом.

В субботу — через девять дней после того, как начали падать мертвые птицы, — отец алтаря Святого причастия Антонио Исабель как раз держал путь на станцию, когда к его ногам упала умирающая птица. Это случилось прямо перед домом сеньоры Ребеки. Молния необычайной житейской практичности сверкнула в пас-

торской голове, и он решил почему-то, что эту птицу, в отличие от других, еще можно спасти. Он поднял ее и постучал в дверь вдовы в тот самый момент, когда та расстегивала лиф, чтобы отойти ко сну.

Сеньора Ребека услышала стук и прежде всего посмотрела на сетки. Вот уже два дня, как в спальню не залетела ни одна птица, но заграждения продолжали оставаться изорванными — вдова считала глупым тратить деньги на ремонт до тех пор, пока вторжение птиц не прекратится. Нервы ее были напряжены. Сквозь гудение вентилятора она услышала удары в дверь и с неудовольствием вспомнила, что ее Архенида отдыхает в самой дальней спальне. Ей даже не пришло в голову спросить себя, кто бы мог беспокоить ее в такой час. Приведя в порядок лиф, сеньора Ребека отодвинула решетчатую дверь и пошла, прямая и надменная, по галерее. Она пересекла зал, перегруженный мебелью и красивыми безделушками, и за дверью, сквозь металлическую сетку, увидела святого отца Антонио — пугающе меланхолического, с потухшими глазами и птицей в руках. Он смиренно сказал: «Если мы плеснем на нее немного воды и положим под тыкву, она, я уверен, придет в себя». И сеньора Ребека открыла дверь.

Святой отец оставался в доме вдовы не более пяти минут. Вдова, конечно же, решила, что это она сократила неприятный визит. Но дело было не в ней, а в святом отце. За тридцать лет, проведенных в городке, святой отец ни разу не оставался в ее доме более чем на пять минут — и это несмотря на родство сеньоры Ребеки с самим епископом, очень отдаленное, но обеими сторонами признанное. Пастору казалось, что в роскошной обстановке зала слишком явно проступает ненасытный характер его хозяйки. Кроме того, внезапно прервавшаяся семейная жизнь сеньоры Ребеки связывалась обычно с некой мрачной историей (или легендой), которая лишь по случайности не дошла до епископа. А может быть, и дошла, потому что епископ (как подме-

тил однажды полковник Аурелиано Буэндиа, двоюродный брат вдовы, которого, кстати, она считала невнимательным родственником) ни разу в нашем веке не посетил городок, по-видимому потому, что хотел избежать встреч со своей родственницей. В любом случае — было то, что рассказывали, правдой или нет — святой отец Антонио Исабель чувствовал себя неловко в этом доме, единственная обительница которого никогда не проявляла достаточной набожности, причащалась лишь раз в году и всегда вела себя уклончиво, если святой отец пытался вывести разговор на неясные обстоятельства гибели мужа. Только трагические события тех дней могли привести пастора в дом вдовы и заставить его дожидаться, пока будет принесен стакан воды для умирающей птицы.

В то время как вдова отсутствовала, пастор сидел в роскошном резном кресле и не переставал удивляться странной сырости этого дома, могильной сырости, которая несколько не уменьшилась с того памятного дня, когда сорок лет назад прогремел пистолетный выстрел и Хосе Аркадио Буэндиа, родной брат полковника, брэнча бесчисленными пряжками и шпорами, повалился лицом в свои собственные только что снятые ботфорты.

Когда сеньора Ребека вернулась в зал, святой отец Антонио Исабель сидел в кресле-качалке с тем мертвенным лицом, вид которого испугал сеньору Ребеку в дверях.

— Жизнь любой пташки так же угодна богу, как жизнь человека, — произнес пастор.

Говоря это, он, казалось, совсем не имел в виду Хосе Аркадио Буэндиа. Не вспомнила о муже и вдова. Она вообще привыкла не придавать значения словам святого отца, особенно с тех пор, как он заявил с кафедры о своих сношениях с дьяволом. Даже не взглянув на него, она взяла в руки птицу, поболтала ее в стакане, а затем встряхнула. Действовала она решительно и небрежно, совсем не заботясь о жизни божьей твари.

— Вы не любите птиц, — сказал святой отец в мягкой, но утвердительной форме.

Вдова вскинула глаза с видом нетерпимости и неприязни.

— Даже если бы и любила раньше, — сказала она, — то наверняка возненавидела бы сейчас, когда им вздумалось умирать в моем доме.

— Многие умерли... — сказал святой отец вкрадчивым голосом, направляя разговор в знакомое русло.

— Да хоть бы и все, — отрезала вдова, брезгливо выжимая птичку и засовывая ее под тыквенный сосуд. — Меня это нисколько не волнует. Меня волнуют мои проволочные сетки.

Святому отцу показалось, что никогда в жизни он не встречал такого бездушного существа. Он взял птичку в руки и понял, что ее сердечко перестало биться. И вдруг он забыл обо всем: о сырости, угнездившейся в доме, об алчности хозяйки, о невыносимом запахе пороха от трупа Хосе Аркадио Буэндиа — осененный догадкой о сути событий, начавшихся в городке. Именно тогда, на глазах у вдовы покидая дом с воинственным видом и мертвой птицей в руках, он наконец понял: этот дождь, дождь из мертвых птиц, ниспослан на городок в наказание за его, отца Антонио, грехи. Ведь он, божий избранник, посланник бога на земле, начал чувствовать себя счастливым в нежаркие дни и начисто забыл предупреждения Апокалипсиса.

Как обычно, пастор отправился на станцию, но в тот день он чувствовал себя хуже, чем всегда. Смутно он ощущал — что-то неладное происходит в мире, но ослабевший рассудок отказывался служить ему. Опустившись на станционную скамью, святой отец попытался вспомнить, упоминается ли дождь из мертвых птиц в Апокалипсисе, и не смог. Ему вдруг почудилось, что из-за задержки в доме сеньоры Ребеки он пропустил поезд; он вскочил и вытянул шею, и поверх разбитых и запыленных станционных стекол увидел, что до поезда оста-

ется еще двенадцать минут. Отчего-то вдруг вспомнилось, что сегодня суббота. Взмахнув плетеным веером из пальмовых листьев, пастор ощутил мучительное беспокойство, которое причиняли ему застегнутые пуговицы сутаны, застезки ботинок, завязки саржевых кальсон, — и понял наконец, что никогда в его жизни не было еще так жарко.

Не в силах двинуться со скамейки, он расстегнул воротничок сутаны, вынул из рукава носовой платок, вытер побагровевшее лицо и подумал с тревогой, что такая жара может означать приближение стихийного бедствия. Святой отец читал об этом в какой-то книге. Он стал пристально изучать белесое безоблачное небо, отыскивая в нем что-нибудь подозрительное, и разом забыл о мертвых птицах. Его мыслями теперь полностью завладела приближающаяся буря. Взглянув на север, он увидел безмолвную стаю грифов, дрожащую в раскаленном мареве, поднимающемся от земли.

По непонятной связи событий святому отцу вдруг вспомнился один воскресный день в семинарии, незадолго до присвоения младшего сана. Ректор тогда разрешил ему пользоваться своей личной библиотекой, и он проводил долгие часы за чтением пожелтевших книг, пахнущих вековой пылью и испещренных пометками на латинском языке, сделанными мелкими и неразборчивыми каракулями приора. В то памятное воскресенье, на исходе дня, ректор вошел в комнату и тут же, смущенный, поспешил подобрать с полу записку, которая, должно быть, выпала из страниц книги, взятой Антонио Исабелем. Антонио благоразумно сделал вид, что не заметил смущения своего наставника, но записку тем не менее успел прочитать. В ней была только одна фраза, написанная фиолетовыми чернилами ровным и отчетливым почерком: «*Madame Ivette est morte cette nuit*»¹. Более чем полвека спустя, глядя на зловещую

¹ Мадам Иветт скончалась нынешней ночью (фр.).

стаю грифов над городом, святой отец вспомнил скорбное выражение лица ректора, в сумерках сидящего перед ним на корточках, маленького и кроткого, со слегка участвующимся дыханием.

Святой отец был так потрясен ассоциацией, что вместо жары почувствовал покалывание ледяных иголок в паху и на ступнях ног. Его вдруг охватил непонятный страх, рожденный путаницей беспорядочных идей, среди которых невозможно было различить проклятие жары, сатанинское копыто, вязнущее в грязи, и груды мертвых птиц, обрушившихся на деревню, в то время как он, отец алтаря Святого причастия Антонио Исабель, оставался равнодушным к происходящим событиям. Тогда он встал, воздел руку для благословения, которому из-за отсутствия поблизости людей суждено было пропасть впустую, и, наводя страх на окрестности, воскликнул: «Это все Вечный жид!»

В эту минуту прогудел поезд. Впервые за многие годы святой отец не обратил на него внимания, равнодушно наблюдая, как, окутанный клубами пара, на станцию въехал состав и загрохотали при остановке проржавевшие буфера. Вся жизнь вдруг представилась старику одним долгим и загадочным сном, от которого он очнулся только сейчас, в половине пятого, когда в его голове окончательно сложилась великолепная проповедь для воскресной мессы. Лишь восемь часов спустя святого отца с трудом разыскали для того, чтобы он провел соборование умирающей женщины.

Взволнованный святой отец так и не заметил паренька, сошедшего с поезда в тот вечер. Каждый день пастор встречал четыре разбитых и выцветших вагончика, и ни разу на его памяти никто не вышел из них для того, чтобы остаться. Раньше было по-другому, и целый вечер можно было наблюдать, как проходит мимо станций один-единственный поезд, груженный бананами; сто сорок платформ с фруктами проплывали одна за другой без конца, и успевала опуститься темнота, прежде чем

на станцию выкатывался последний вагон с человеком, держащим на весу зеленый фонарь. Тогда вновь открывались дома по ту сторону железной дороги, уже светящиеся огнями, и пастору казалось, что вместе с поездом он совершил путешествие и теперь находится совсем в другой деревне, хотя он только наблюдал за тем, как мимо проплывают вагоны. Тогда-то и возникла его привычка проводить дни на станции, привычка, не пропавшая даже после того, как власти расстреляли из пулеметов рабочих, а банановые плантации истощились, и перестали ходить составы в сто сорок вагонов, вместо которых появился этот облезлый и пропыленный поезд, не привозивший и не увозивший никого.

Но в ту субботу с поезда сошел какой-то паренек. Скромный юноша, не примечательный ничем, кроме разве что очень голодного вида, заметил удаляющегося со станции Антонио Исабеля как раз в ту минуту, когда вспомнил, что не ел со вчерашнего дня. «В городке со священником наверняка должна быть гостиница», — подумал он. Едва поезд остановился, юноша вышел из вагона, пересек улицу, обожженную металлическими лучами августовского солнца, и вошел в прохладный полумрак дома, из которого доносились звуки заезженной граммофонной пластинки. Чутье, обостренное двухдневным голодом, подсказывало ему, что это гостиница. Он вошел, даже не взглянув на вывеску «Отель Макондо», хотя городок этот видел первый раз в жизни.

Хозяйка гостиницы имела беременность весьма солидного срока. Цветом кожи она напоминала горчицу и как две капли воды походила на свою мать, когда та была беременна ею. Паренек попросил: «Обед, но как можно быстрее», — и она с подобающей положению медлительностью принесла тарелку супа из обрезанных костей и пикадилье из зеленого банана. Как раз в это время поезд дал гудок. Юноша, уже погрузившийся в горячие целительные запахи бульона, представил расстояние, отделяющее его от станции, и ощутил острое паническое

чувство, хорошо знакомое каждому, кто опаздывал на поезд.

Юноша вскочил и побежал, но, сделав несколько шагов, понял, что к поезду все равно опоздает. Аппетита как не бывало, когда он снова вернулся к столу. Кроме того, он заметил, что девочка, сидящая возле граммофона, исподтишка с любопытством наблюдает за ним. Смутившись, он стянул с головы шляпу и продолжал есть, держа шляпу между колен. А поднявшись из-за стола, уже не испытывал озабоченности ни опозданием на поезд, ни перспективой провести остаток недели в городе, название которого не удосужился узнать. Он устроился в углу зала, откинувшись на прямую и жесткую спинку кресла, и уже было задремал, убаюканный музыкой, но девочка, меняющая пластинки, вдруг проговорила:

— В галерее-то прохладнее.

Юноша вздрогнул. Ему всегда стоило большого труда вести разговоры с незнакомыми людьми. Поэтому он пугался устремленных на него взглядов, а если уж беседа завязывалась, то слова у него почему-то выговаривались совсем не те, что он хотел. «Да», — выдавил он из себя и почувствовал, как покрывается испариной. Со всем уж нехстати он попробовал качнуться, очевидно забыв, что кресло его не качалка.

— Постояльцы обычно выкатывают кресло в галерею, там прохладнее, — пояснила девочка.

И паренек понял с тревогой, что девочке хочется поболтать с ним. Он взглянул на нее тайком, когда она отвлеклась, чтобы завести граммофон, и догадался, что она месяц за месяцем проводит в этом зале, не имея возможности покинуть свое место. Она крутила заводную ручку, всем своим видом выражая симпатию к юноше.

— Спасибо, — сказал тот и поднялся, стараясь, чтобы его движения выглядели естественно и непринужденно.

Девочка с улыбкой посмотрела на него и добавила:

— А еще они оставляют свои шляпы на вешалке.

Юноша почувствовал, как у него загорелись уши. Он решил, что девочка намекает на его зажатую между колен шляпу, и с тоской вспомнил об ушедшем поезде. В этот момент, к счастью, в зал вошла хозяйка.

— Ну, что делаете? — спросила она.

— Он хочет выкатить кресло в галерею, как это все делают, — сказала девочка.

Юноше показалось, что в ее словах сквозит на-смешка.

— Не стоит беспокоиться, — сказала хозяйка. — Я принесу табурет.

Девочка отчего-то рассмеялась, и паренек опять покраснел. Стояла изнуряющая жара, сухая и ровная, и пот лил с него градом. Хозяйка взяла деревянный табурет с кожаным сиденьем и не спеша двинулась в галерею. Юноша с облегчением последовал за ней, но его мученья на этом не кончились.

— Смотрите только, не испугайтесь птиц, — проговорила вслед ему девочка.

Хозяйка через плечо бросила на нее красноречивый взгляд.

— Помолчи, когда тебя не спрашивают, — сердито бросила она и, снова улыбаясь, повернулась к юноше.

— О чем это она? — неожиданно заинтересовался тот.

— О том, что в этот час в галерею падают мертвые птицы, — сказала девочка.

— Выдумки, — перебила ее хозяйка и остановилась у одного из столиков, чтобы поправить букетик искусственных цветов. Пальцы ее возбужденно подрагивали.

— Совсем и не выдумки, — сказала девочка. — Я сама позавчера вымела двух.

Хозяйка посмотрела на нее с раздражением. А затем сделала плачущее лицо и заговорила торопливо, явно желая развеять сомнения юноши:

— Это все мальчишки, сеньор. Позавчера мальчишки подбросили мертвых птиц в галерею, раззвонив по-

всюду, будто птицы падают мертвыми с небес. А ей что ни скажи, она всему верит.

Юноша улыбнулся. Происшествие показалось ему забавным. Он вытер вспотевшие ладони и доброжелательно посмотрел на девочку, которая явно огорчилась. Ее граммофон умолк. Хозяйка с табуретом удалилась, и паренек тоже собрался уходить, когда девочка сказала ему настойчивым приглушенным голосом:

— Поверьте мне. Я видела, как они падали. И все это видели.

Юноша представил грустную безысходность ее жизни, вечную привязанность к граммофону и вечное озлобление хозяйки.

— Я верю, — сказал он и неожиданно для себя добавил: — Я тоже их видел.

В открытой галерее, в тени миндальных деревьев, было не так жарко. Юноша прислонил табурет к дверной раме, откинулся затылком на переплет и начал думать о матери, о том, как она, прикованная к креслу, отгоняет от себя кур длинной метелкой и тревожится о нем, впервые покинувшем дом.

Еще на прошлой неделе его жизнь казалась гладкой и прямой как струна. Эта струна протянулась с дождливого рассвета последней гражданской войны, когда он явился на свет среди четырех глиняных стен сельской школы, до июльского утра, когда двадцать два года спустя мать пришла к его гамаку, чтобы подарить шляпу и открытку: «Моему любимому сыну в его день». Время от времени юноша стряхивал паутину дремы, и тогда его охватывала тоска по школе, по ее грифельной доске, по карте страны, густо засиженной мухами, и длинному ряду кувшинов на стене, под каждым из которых было подписано имя ребенка. Там всегда царила прохлада. Там буйствовала безмятежная зелень, и куры на длинных серебристых ногах проходили через классные комнаты, чтобы снести яйцо под кувшинами с питьевой водой. Его мать была женщиной грустной и замкнутой.

На закате она обычно сидела, вдыхая аромат, доносившийся с кофейных плантаций, и повторяла: «Мануаре — самая прекрасная деревня в мире, — а затем, повернувшись к нему, безмятежно растущему в гамаке, добавляла: — Когда вырастешь, ты поймешь это». Но он ничего не понимал. В пятнадцать лет он был крупнее своих сверстников и светился тем вызывающим здоровьем, которое дает человеку только безделье. В двадцать лет жизнь не требовала от него ничего, кроме нескольких переворачиваний в гамаке. Однако к тому времени его мать, восемнадцать лет проработавшая в школе, была вынуждена из-за ревматизма оставить ее и поселиться в домике из двух комнат с просторным двором, где они с сыном начали выращивать кур с серебристыми ногами, тех самых, что прогуливались по классным комнатам.

Уход за курами стал для юноши первым делом в жизни. И единственным, вплоть до июля, когда мать стала подумывать о пенсии и решила, что ее сын приобрел достаточно житейской ловкости, чтобы похлопотать о ней. Сын и вправду принял участие в сборе необходимых документов и даже переговорил деликатно с приходским священником, который согласился приписать шесть недостающих лет в метрику его матери.

В четверг он получил последние подробные наставления, в которых воплотилось все педагогическое мастерство матери, и начал путешествие в город с двенадцатью песо в кармане, одной сменой белья, связкой документов и довольно примитивными представлениями о пенсии как о некой сумме денег, которую правительство должно выделить ему на занятия свиноводством.

Дремлющий в галерее гостиницы, одуревший от жары, он все никак не мог собраться с мыслями, чтобы подумать как следует о серьезности своего положения. Наступит завтра, считал он, и с прибытием следующего поезда его злоключения кончатся, так что нужно дотерпеть только до завтрашнего дня, до воскресенья, чтобы

двинуться дальше и навсегда забыть об этом раскаленном городке. Незадолго до четырех он впал в тягучий и беспокойный сон и во сне пожалел, что с ним нет его гамака. Тревожное предчувствие кольнуло в сердце, и он вдруг понял, что забыл в поезде не только все свои вещи, но и сверток с документами. Он проснулся, как от удара, обливаясь холодным потом, вспомнил о матери и снова впал в мучительную панику.

В домах между тем уже начали зажигаться огни, юноша взял табурет и понес его в зал. Обезумевшие слепни, как снаряды, носились по комнатам и со звоном разбивались о зеркала. В деревне паренька не было электричества, и он с изумлением разглядывал тусклые, засиженные мухами лампочки гостиницы, пока не вспомнил рассказы матери о них. Ужинал он без всякого аппетита, подавленный духотой, безвыходностью ситуации и горечью одиночества, которое ему довелось испытать первый раз в жизни. После девяти его проводили в глубь дома, в комнату с дощатыми стенами, оклеенными вырезками из журналов. В полночь он был охвачен липким и лихорадочным сном, в то время как в пяти кварталах от него отец алтаря Святого причастия Антонио Исабель лежал в постели с открытым, как у рыбы, ртом и думал, что дикая жара сегодняшней ночи только усилит воспитательное воздействие приготовленной им проповеди. Святой отец дремал в длинных и узких кальсонах из саржи, окруженный со всех сторон густым звоном москитов. Незадолго до полуночи, возвращаясь с соборования, он почувствовал вдруг подъем и вдохновение и, придя домой, бросил святые атрибуты прямо возле кровати и лег повторить проповедь. Пастор пролежал в кровати несколько часов, до тех пор, пока не услышал далекий предрассветный крик аура. Решив встать, он начал выбираться из кровати, но наступил босой ногой на святой колокольчик и повалился ничком на твердый и бугристый пол.

Придя в сознание, он почувствовал острую сверля-

щую боль, которая разрасталась у него в боку. Страшная тяжесть навалилась на святого отца: общая тяжесть его тела, его грехов и возраста. Щека терлась о каменную неровность пола, столько раз при репетировании проповедей служившую пастору наглядным образчиком дороги в ад. «Господи, — прошептал он в испуге. — Мне никогда уже не встать на ноги».

Он не помнил, сколько времени провалялся на полу, не в силах подняться и не догадавшись даже попросить у бога легкой смерти. Жизнь его висела на волоске, но на этот раз ей не суждено было оборваться. Под дверью засинела узкая полоска рассвета, а с улицы донеслась далекая и грустная переключка петухов. Святой отец понял, что смерть отступила, и первым делом проверил, помнит ли он слова своей проповеди.

Когда он открыл дверь на улицу, уже рассвело. Боль утихла, и пастору даже казалось, что случившийся удар снял с него груз старости. Сердце его открылось для окружающего мира, и все простодушие, все заблуждения, все страдания городка хлынули в душу святому отцу, когда он глотнул влажного, напоенного криками петухов воздуха. Он посмотрел вокруг просветленными глазами и в тихом полумраке рассвета увидел одну, двух, трех мертвых птиц в галерее.

Он долго смотрел на три эти трупика, размышляя в духе предстоящей проповеди о том, что массовая гибель птиц требует от людей искупления грехов. Он прошелся по галерее, подобрал тушки, вернулся к большому глиняному кувшину и, приподняв крышку, одну за другой бросил птиц в зеленоватую дремотную воду, сам не зная для чего. «Три и три составляют полдюжины за неделю», — подумал он, и вспышка, мелькнувшая в его голове, показала, что с этим рассветом начинается самый главный день его жизни.

Уже в семь часов утра жара была нестерпимой. В пустом зале гостиницы единственный постоялец дожидался своего завтрака. Вошла хозяйка, покачивая огром-

ным животом, и как раз в это время часы начали отбивать семь ударов.

— На поезд всегда кто-нибудь опаздывает, — с запоздалым сочувствием сказала хозяйка. И поставила перед юношей еду: кофе с молоком, зажаренное яйцо и куски зеленого банана.

Юноша попробовал есть и не смог. Его тревожила начинающаяся жара — уже сейчас он сильно потел и задыхался. Ночью он не решился раздеться, плохо спал, и его слегка лихорадило. Он поглядел на хозяйку, надевшую по случаю воскресенья новое платье с зелеными цветами, и с тоской вспомнил о матери.

— У вас служат мессу? — спросил он.

— Служат, — ответила хозяйка. — Но можно считать, что нет — на нее все равно никто не ходит. А все потому, что нам не присылают нового священника.

— А что со старым?

— Ему почти сто лет, и он выжил из ума, — сказала хозяйка и задумалась с тарелками в руках. Затем добавила: — Как-то он заявил с кафедры, что встретился на улице с самим сатаной. С тех пор на мессу никто не ходит.

В церковь юноша отправился от безнадёжности, а еще для того, чтобы взглянуть на человека ста лет. Вид пустынного городка, с пыльными, лишенными травы улицами и мрачными, крытыми цинком домами, опечалил его. Ничто не указывало на воскресный день. Юноша шел, вспоминая слова матери: «Любая улица непременно ведет к церкви или кладбищу». В конце концов он вышел на маленькую мощеную площадь со зданием из известняка, украшенным башенкой с деревянным флюгером в виде петуха и часами, остановившимися на десяти минутах пятого.

Он медленно пересек площадь, поднялся по трем ступенькам на паперть, почувствовав доносившийся из дверей запах застоявшегося человеческого пота, сме-

шанный с запахом ладана, и вошел в прохладные сумерки почти пустого собора.

Отец алтаря Святого причастия Антонио Исабель едва успел подняться на кафедру, когда увидел, что в церковь вошел юноша, не снявший в дверях шляпу. Неповоротливыми прозрачными глазами юноша оглядел небогатое убранство и сел на последнюю скамью, склонив голову и сложив руки на коленях. Пастор понял, что это приезжий. За двадцать лет, прожитых в городке, святой отец научился по запаху узнавать любого из его обитателей. Быстрым и внимательным взглядом пастор определил, что вошедший был человеком молчаливым и подавленным. «Он спал не раздеваясь», — с жалостью подумал священник, заметив измятую и перепачканную одежду юноши. Сердце священника начало переполняться благодарностью, и он приготовился именно для юноши произнести главную проповедь своей жизни. «Господи, — попросил он, — напомни про шляпу, чтобы мне не пришлось выставить его из собора!»

Святой отец начал проповедь, почти не следя за своими словами, прислушиваясь лишь к отчетливой и свободной мелодии, струившейся из дремавшего прежде родника его души. Что-то подсказывало ему — слова возникают именно те, верные, значительные, в нужной последовательности и с нужной силой. Горячее дыхание теснилось в его груди, но душа была чиста от всего суетного. Восторг, охвативший ее, не был ни гордыней, ни тщеславием, ни строптивостью, а чистейшей радостью духа, слившегося наконец со своим богом.

Как раз в это время сеньора Ребека в своей спальне почувствовала, что еще мгновение — и она сойдет с ума от жары. Если бы не страх перед переменами, из-за которого она засела безвыездно в этом дрянном городишке, она давно бы сложила свои реликвии в сундук с нафталином и пустилась колесить по свету, как, по рассказам, сделал ее прадедушка-креол. Сердцем, однако, вдова понимала, что ей так и суждено будет умереть в

этой дыре, среди бесчисленных галерей и девяти гостевых комнат, решетки которых, думала она про себя, нужно будет заменить на стекла, как только спадет жара. Нужно оставаться, решила сеньора Ребека (как, впрочем, всегда решала, разбирая старые вещи в шкафах), и только попросить в письме своего «святейшего брата» прислать в деревню молодого пастора, чтобы можно было снова ходить в церковь в шляпке с крошечными бархатными цветами и слушать здравую и поучительную проповедь. «Завтра же, в понедельник, напишу», — подумала она и уже начала составлять первые строки приветствия епископу (приветствия, которое полковник Буэндиа впоследствии назовет непочтительным и игривым), когда дверь неожиданно распахнулась и Архенида воскликнула:

— Идемте скорее, сеньора. Говорят, святой отец спятил за кафедрой.

Вдова оборотила к двери увядшее и горькое лицо, такое знакомое Архениде.

— Вот уже по крайней мере пять лет, как он сумасшедший, — сказала она и вновь принялась разбирать одежду. — Должно быть, он снова видел дьявола?

— Теперь не дьявола, — сообщила Архенида.

— А кого? — поинтересовалась сеньора Ребека, потягиваясь с безразличным видом.

— Сейчас он говорит, что встретил Вечного жида.

Вдова почувствовала, как мурашки пробежали у нее по коже. Вихрь беспорядочных идей, в котором смешались порванные проволочные сетки, жара, падающие птицы и расползающееся по городку зловоние, пронесся в ее голове. Мертвенно-бледная, с вытаращенными глазами, она двинулась на Архениду, смотревшую на нее с открытым ртом.

— Верно, — сказала она утробным голосом. — Теперь понятно, почему умирают птицы.

Движимая суеверным страхом, она накинула вышитую мантилью и с быстротой молнии пронеслась по га-

лерее, а потом через зал, заставленный мебелью и бесполезными вещами, а оттуда на улицу и в церковь, где преподобный отец алтаря Святого причастия, преображенный и вдохновенный, говорил собравшимся прихожанам: «Уверю вас, что я его видел. Он попался мне на дороге сегодня на рассвете, когда я возвращался с соборования жены плотника Хонаса. Верьте, его лицо было отмечено проклятием бога, и он оставлял за собой след горячего пепла».

Оборвав проповедь на полуслове, гулко отозвавшимся в стенах собора, святой отец обнаружил, что не может сдержать дрожи в руках, что дрожит все его тело и тонкая струйка пота стекает по позвоночнику. Ему было плохо, его трясло, он чувствовал жажду, спазмы и урчание в кишечнике, звучащее, как органная нота. Святой отец огляделся наконец вокруг: церковь заполнял народ. По центральному проходу, воздев руки, шла сеньора Ребека, взволнованная и нарядная, с холодным и горьким лицом, обращенным к небесам. Отец Антонио понял, что с прихожанами что-то произошло, но посчитал нескромным предположить, что произошло чудо. Он сдержанно оперся о кафедру и продолжил проповедь.

— Затем он подошел ко мне, — говорил пастор, вслушиваясь в свой голос, убедительный и страстный. — Он подошел ко мне, и у него оказались изумрудные глаза и жесткая грива, а источал он запах козла. Я поднял руку, чтобы осудить его именем господним, и сказал: «Остановись! Воскресенье никогда не подходило для того, чтобы приносить в жертву агнцев божьих!»

Когда святой отец закончил речь, жара была уже в полном разгаре, устойчивая и обжигающая жара того незабываемого августа. Но святой отец не замечал жары. Здесь, за его спиной, собрался весь городок, и пастору чудилось, что прихожане вновь стоят на коленях, ошеломленные убедительностью его проповеди. Он едва держался на ногах. Даже возможность смягчить надорванное горло ритуальным вином не радовала его. Он

никак не мог сообразить, что следовало делать дальше. Нужно было собирать пожертвования, но святому отцу не удавалось сосредоточиться на этом важном моменте проповеди. С ним и раньше случалась подобная забывчивость, но сейчас растерянность была иного рода — душу заполняло странное беспокойство. На девяносто пятом году жизни святой отец впервые познал тщеславие. Он не раз говорил о нем в проповедях и всегда безжалостно клеймил, но только теперь понял, что тщеславие — это чувство, очень похожее на жажду. Энергично захлопнув крышку дарохранильницы, он позвал:

— Пифагор!

Служка, мальчик с бритой и блестящей головой, усыновленный святым отцом и от него же получивший имя, приблизился к алтарю.

— Собери пожертвования, — велел Антонио Исабель.

Мальчик сморгнул и, приблизившись к святому отцу, сказал едва слышным голосом:

— Мы же потеряли блюдо для жертвований.

Это было правдой. Уже несколько месяцев пожертвования не собирались.

— Тогда найди в ризнице сумку побольше и собери у них все, что сможешь, — сказал святой отец.

— А что говорить? — спросил мальчик.

Святой отец задумчиво посмотрел на стриженный голубеющий череп и выступающие мослы. И подмигнул:

— Скажи, что собираешь на изгнание Вечного жида.

В это время страшная тяжесть навалилась на пастора. Замерев, он несколько мгновений прислушивался к потрескиванию больших восковых свечей в гробовой тишине собора и к своему странно затруднившемуся дыханию. Затем тяжело оперся на плечо служки, глядевшего на него округлившимися от страха глазами, и сказал:

— А когда закончишь, выбери серебро, отнеси его пареньку, который пришел первым, и скажи, что это шлет ему святой отец на покупку новой шляпы.

ПОХОРОНЫ ВЕЛИКОЙ МАМЫ

Послушайте, маловеры всех мастей, доподлинную историю о Великой Маме, единоличной правительнице царства Макондо, которая держала власть ровно девятью годами и отдала богу душу в последний вторник минувшего сентября. Послушайте историю о Великой Маме, на похороны которой пожаловал из Ватикана сам Верховный Первосвященник.

Теперь, когда ее верноподданные, потрясенные до самого нутра, пришли наконец в себя, когда дудочники из Сан-Хасинто, контрабандисты из Гуахиры, сборщики риса из Сину, проститутки из Гаукамайяля, ведуны из Сиерпе и сборщики бананов из Аракатаки опомнились и натянули москитные сетки, чтобы отоспаться после стольких бессонных ночей; теперь, когда восстановили душевное равновесие и взялись за государственные дела президент Республики и его министры, да и все те, кому подвернулся случай представлять общественную власть и силы небесные на самых пышных похоронах в истории человечества; теперь, когда душа и тело Верховного Первосвященника вознеслись на небо, а по улицам Макондо ни пройти ни проехать из-за консервных банок, порожних бутылок, окурков, обглоданных костей и потемневших кучек, оставленных великим сборищем людей, прибывших на погребение, — самое время приставить к воротам скамеечку и, пока не нагрянули те, кто пишет историю, с чувством и с толком рассказать о событии, взбудоражившем всю нацию.

Четырнадцать недель тому назад, после долгой череды мучительных ночей с пиявками, горчишками и

припарками, Великая Мама, сломленная предсмертной горячкой, распорядилась перенести себя в любимую плетеную качалку, ибо возжелала наконец высказать последнюю волю. Сим и надумала она завершить земные свои деяния.

Еще на заре она сталкивалась по всем делам, касаемым ее души, с отцом Антонио Исабелем и вслед за тем взялась обговаривать дела, касаемые ее сундуков, с прямыми наследниками — девятью племянниками и племянницами, что неотлучно торчали у ее постели. Поблизости находился и бормотавший что-то невразумительное отец Антонио Исабель, которому было без малого сто лет. Десять рослых мужчин загодя внесли одряхлевшего священника на второй этаж прямо в спальню Великой Мамы и порешили оставить его там, дабы не таскаться с ним туда-сюда в решающую минуту.

Старший племянник Никанор — здоровенный и хмурый детина в сапогах со шпорами, в хаки, с длинноствольным револьвером тридцать восьмого калибра под рубахой — отправился за нотариусом. Более двух недель цепенел в напряженном ожидании двухэтажный господский, пропахший медовой патокой и душицей особняк, где в полутемных покоях теснились лари, сундуки и всякий хлам четырех поколений, чьи кости давно уже истлели. В длинном коридоре с крюками по стенам, где еще недавно висели свиные туши и в загустевшей духоте августовских воскресений сочились кровью убитые олени, теперь спали вповалку прямо на мешках с солью и рабочем инструменте усталые пеоны, готовые по первому знаку седлать коней и нести горестную весть во все стороны бескрайнего Макондо.

В зале собралась родня Великой Мамы. Женщины, землисто-бледные от ночных бдений, малокровные от дурной наследственности, были, как всегда, в трауре, в извечном, беспросветном трауре, ибо в клане их повелительницы покойники не переводились.

Великая Мама с матриархальной непреклонностью

обнесла свое родовое имя и свои богатства неприступной стеной, и, не выходя за ее пределы, кузены женились на своих тетках, дядья на племянницах, братья на невестках, и такая пошла кровосмесительная чехарда, что само продолжение рода стало порочным кругом. Лишь Магдалене, младшей из племянниц, удалось преодолеть ограду. Она умолила отца Антонио изгнать из нее нечистую силу, насылавшую ночные кошмары, остриглась наголо и отреклась от земной славы и суеты в одном из новициатов Апостольской префектуры.

Зато достойные мужи усердно пользовались правом первой ночи где случится — в селении, на хуторе, под кустом — и наплодили за пределами законных семей целую прорву незаконнорожденных отпрысков, которые жили среди челяди Великой Мамы под ее покровительством.

Близость смерти будоражила людей. Голос умирающей старухи, привыкшей к почету и покорству, был не громче приглушенных басов органа в закрытой комнате, но он докатился до самых отдаленных уголков Макондо. Ни один человек не оставался равнодушным к этой смерти. Целый век Великая Мама была как бы центром тяжести всего Макондо, точно так же как два столетия до нее — ее братья, ее родители, родители ее родителей.

Само царство Макондо разрослось вокруг их великого рода. Никто толком не знал ни о происхождении, ни о реальной стоимости ее имущества, ни о размерах ее владений, но все давно уже свыклись с тем, что Великой Маме подвластны воды проточные и стоячие, дожди, что пролились и что прольются, все дороги и тропки, телеграфные столбы, каждый високосный год и каждая засуха и по праву наследования — сама жизнь и все земли. Когда Великая Мама выплывала на балкон подышать вечерним воздухом и обрушивала на старую качалку всю неумолимую тяжесть своего разбухшего тела

и величия, то поистине казалась самой богатой и могущественной властительницей в мире.

Никому из ее верноподданных не приходило в голову, что Великая Мама смертна, как и все люди. Никому, кроме родичей и ее самой, в часы, когда ей докучал старческими прорицаниями отец Антонио Исабель. И все же Великой Маме верилось, что она проживет более ста лет, как и ее бабушка с материнской стороны, которая в 1875 году, окопавшись на собственной кухне, дала решительный отпор солдатам полковника Аурелиано Буэндиа. Только в апреле нынешнего года Великая Мама поняла, что бог не будет к ней милостив и не даст ей самолично в открытом бою истребить всю банду федералистских масонов.

Когда Великая Мама окончательно слегла в постель, домашний лекарь неделю подряд велел ставить ей горчичники, а главное — не снимать шерстяные носки. Этот доктор, перешедший к ней по наследству, был увенчан дипломом в Монпелье и отрицал научный прогресс исключительно из философских убеждений. Великая Мама наделила его неограниченными полномочиями, изгнав из Макондо всех, кто занимался врачеванием. Было время, когда не знавший соперников доктор объезжал весь край верхом на коне, заглядывая к самым тяжелым больным на исходе их жизни. По щедроте своей природа сделала доктора отцом множества незаконно-рожденных детей, но однажды в лодке его вдруг сковал жестокий артрит, и с тех пор лечение жителей Макондо шло заглазно, посредством записочек, советов и догадок.

Только по зову Великой Мамы доктор проковылял, опираясь на две палки, через площадь и явился в пижаме к ней в спальню.

На восьмой день, уразумев наконец, что его великая благодетельница кончается, он приказал принести сундучок, где хранились флаконы и баночки с этикетками на латыни, и три недели подряд, сообразуясь с допотоп-

ными правилами, донимал умирающую безвредными микстурами, припарками и свечами. Еще он ставил пиявки на поясницу и прикладывал печеных лягушек к самым болезненным местам. А потом настал тот рассветный час, когда дипломированного доктора взяло сомнение: то ли звать цирюльника, чтобы пустить кровь Великой Маме, то ли отца Антонио Исабеля, чтобы изгнать из нее дьявола. И вот тогда племянник ее, Никанор, снарядил за священником десять дюжих молодцов из прислуги, которые и доставили этого престарелого отца церкви в спальню Великой Мамы — притащили его на скрипучей плетеной качалке под балдахином из линялого шелка.

Звон колокольчика, который сопровождал отца Антонио, спешившего с дарами к умирающей, задел тишину сентябрьского рассвета и стал первым знаком для жителей Макондо. С восходом солнца площадь перед домом Великой Мамы уже походила на веселую деревенскую ярмарку.

Многим вспомнились давние времена. Вспомнилось, какую веселую ярмарку, какое гулянье устроила Великая Мама на свое семидесятилетие. Простому люду выкатывали на площадь громадные оплетенные бутылки с вином, тут же резали скот, а на высоком помосте трое суток подряд без передыху наярывал оркестр. В жидкой тени миндаля, где на первую неделю нынешнего века стоял лагерь полковника Аурелиано Буэндиа, шла бойкая торговля хмельным массато, шкварками, кровяной колбасой, пирожками, пончиками, слоеными булочками, маисовыми лепешками, кокосовыми орехами. Люди толпились возле столов с лотереей, возле загонов, где шли петушиные бои; во всей этой толчее, в водовороте взбудораженной толпы лихо сбывали образки и скапулярии с изображением Великой Мамы.

По обыкновению празднества в Макондо начинались за двое суток до срока и после семейного бала в господском особняке завершались пышным фейерверком. Из-

бранные гости и члены семьи, которым старательно прислуживали их незаконнорожденные отпрыски, весело отплясывали под звуки модной музыки, которые с хрипом исторгала старая пианола.

Великая Мама, обложенная подушками в наволочках тончайшего полотна, восседала в кресле, и все было послушно малейшему движению ее правой руки со сверкающими кольцами на всех пяти пальцах. В тот день — случилось, что в сговоре с влюбленными, а чаще по наитию — Великая Мама объявляла о предстоящих свадьбах на весь год. В самом конце пышного праздника она выходила на балкон, украшенный гирляндами и бумажными фонариками, и бросала в толпу горсть монет.

Эти славные традиции давно отошли в область преданий, отчасти из-за неизбежного траура по родственникам Великой Мамы, а больше из-за политической неустойчивости последних лет.

Новые поколения лишь понаслышке знали о ее былом великолепии, им не выпало лицезреть Великую Маму на торжественной мессе, где ее всенепременно обмахивал опахалом кто-либо из представителей гражданских властей и лишь ей одной, когда возносили чашу и облатку, разрешалось не преклонять колен, дабы не мялся подол ее платья в голландских кружевах и накрахмаленные нижние юбки. В памяти стариков призрачным видением юности запечатлелись те двести метров ковровой дорожки, что протянулась от старинного особняка до главного алтаря, те двести метров, по которым двадцатидвухлетняя Мария дель Росарио Кастаньеда-и-Монтеро возвращалась с похорон своего высокочтимого отца в силе нового и сиятельного титула Великой Мамы. Это зрелище, достойное средневековья, принадлежало теперь не только истории ее рода, но и истории всей нации.

Посредником всех ее августейших велений был старший племянник Никанор. А она сама, отдаленная от простых смертных, едва различимая в зарослях цветущих

щей герани, обрамлявшей вязкую духоту балкона, зыбилась и истаивала в ореоле собственной славы.

Все знали наперед, что Великая Мама посулила устроить народное гулянье на три дня и три ночи, как только прочитают ее последнюю волю. Знали, что она предаст огласке свое завещание лишь перед самой смертью, но никто не мог и не хотел верить, что она — смертная.

Однако час Великой Мамы настал. Под пологом из припорошенного пылью маркизета, среди сбившихся полотняных простынь едва угадывалась жизнь в слабом вздымании девственных и матриархальных грудей Великой Мамы, облепленной по шею листьями целительного столетника. До пятидесяти лет Великую Маму осаждали пылкие и настойчивые поклонники, но она отвергла всех до одного, и, хоть природа наградила ее могучей грудью, способной выкормить предначертанных ей на роду потомков, Великая Мама умирала девицей, непорочной и бездетной.

Когда отец Антонио Исабель приготовил все для последнего помазания, он понял, что ему без посторонней помощи не умастить священным елеем ладони Великой Мамы, потому что она, почуяв смерть, сжала пальцы в кулаки. Напрасны были все старания племянниц, состязавшихся в ловкости. Упорно сопротивляясь, умирающая истово прижала к груди руку, увенчанную драгоценными камнями, и, тараша на племянниц бесцветные глаза, злобно прошипела: «Воровки!» Но потом, переведя цепкий взгляд на отца Антонио Исабеля, а за ним на молоденького прислужника с блюдом и колокольчиком, Великая Мама проговорила просто и беспомощно: «Я умираю». После этих слов она сняла фамильное кольцо с Главным брильянтом и протянула его, как положено, самой младшей — послушнице Магдалене. Так была прервана стойкая традиция их рода, ибо Магдалена отказалась от наследства в пользу церкви.

На рассвете Великая Мама пожелала остаться наедине с Никанором, чтобы дать ему последние наставления.

Более получаса в здравом уме и ясной памяти она обсуждала с Никанором дела в царстве Макондо, а затем завела речь о собственных похоронах. «Гляди в оба! — сказала умирающая. — Все ценное держи под замком. Народ разный. В доме, где покойник, каждый ищет чем поживиться». После беседы с Никанором Великая Мама призвала к себе священника, а тот, выслушав ее долгую и подробную исповедь, призвал всех родных, чтобы при них дать умирающей последнее причастие. И вот тогда-то Великая Мама возжелала сесть в плетеную качалку и обнародовать свою последнюю волю. Твердым, отчетливым голосом она сама продиктовала нотариусу — свидетелями были отец Антонио Исабель и доктор — полный реестр своих богатств, единственной и могучей основы ее величия и власти. На этот реестр, составленный Никанором, ушло двадцать четыре страницы четким убористым почерком. В реальных величинах владения Великой Мамы сводились к трем энкомьендам, которые королевской грамотой были пожалованы первым колонистам, а затем в итоге каких-то сложных, но всегда выгодных их роду брачных контрактов перешли в безраздельную собственность Великой Мамы. На бескрайних и праздных землях пяти муниципий, где хозяйской руке не случилось посеять ни единого зерна, жили арендаторами триста пятьдесят два семейства.

Ежегодно в канун своих именин Великая Мама взыскивала с этих семейств внушительную подать и тем как бы утверждала, что ее земли не будут возвращены государству во веки веков.

Восседая в кресле, вынесенном в коридор, Великая Мама принимала мзду за право жить в ее владениях, и все было точь-в-точь как у ее предков, принимавших мзду у предков нынешних арендаторов. Господский двор ломился от добра: три дня подряд люди несли сюда свиней, индюков, кур, первины и десятины от садов и огородов. Сказать по правде, это и был тот урожай, который род Великой Мамы получал с не тронутых владельцами

земель, занимавших, по грубым подсчетам, сто тысяч гектаров. Но на этих гектарах волею истории разрослись семь городов и сама столица Макондо, где горожанам принадлежали лишь стены и крыши, и посему они платили Великой Маме за право жить в собственных комнатах, а государство, не скупясь, платило за улицы и переулки.

Не зная хозяйского счета и глаза, гулял где придется господский скот. Обессиленные от жажды животные забредали в самые отдаленные края Макондо, но мелькавшее на их задах клеймо — в виде замка — верой и правдой служило легенде о могуществе Великой Мамы. По причинам, над которыми никто так и не удосужился поразмыслить, господские конюшни, сильно оскудевшие еще во время последней гражданской войны, превратились мало-помалу в сарай, где нашли себе последнее пристанище старая, негодная дробилка риса, пресс для сахарного тростника и прочая рухлядь. В описи богатств Великой Мамы были упомянуты и три знаменитых кувшина с золотыми унциями, зарытые в каком-то тайнике дома в далекие дни войны за независимость и все еще не обнаруженные, несмотря на непрерывные и усердные поиски. Вместе с правом на землю, обрабатываемую арендаторами, вместе с правом на десятинный сбор, на первины и прочие подати новые наследники получали каждый раз все более совершенный и продуманный план раскопок, суливший верную удачу.

Полных три часа понадобилось Великой Маме, чтобы перечислить все свои зримые богатства в царстве Макондо. Голос умирающей пробивал духоту алькова и как бы сообщал каждой означенной вещи особую весомость. Когда столь важная бумага была скреплена расползающейся подписью Великой Мамы, а ниже — подписями двух свидетелей, тайная дрожь пробрала до самых печенок всех, кто теснился в толпе у ее дома, накрытого тенью пропыленных миндалей.

Теперь дошел черед до полного, подробного пере-

чня всего, чем она владела по праву морали. Опираясь на свои монументальные ягодицы, Великая Мама невероятным усилием воли заставила себя выпрямиться — так делали все ее предки, не забывавшие о своем величии даже в предсмертные часы, — и, укладывая слово к слову, убежденно и властно стала перечислять по памяти все свои необозримые богатства:

— Земные недра, территориальные воды, цвета государственного флага, национальный суверенитет, традиционные политические партии, права человека, гражданские свободы, первый магистрат, вторая инстанция, арбитраж, рекомендательные письма, законы исторического развития, речи исторического значения, свободные выборы, королевы красоты, всенародное ликование, изысканные сеньориты, вышколенные кавалеры, высоконравственные офицеры, его высокопреосвященство. Верховный суд, товары, запрещенные для ввоза, либералки, проблемы мяса, проблема чистоты языка, примеры, достойные подражания во всем мире, порядок, свободная и правдивая печать, южноамериканский культурный центр Атенео, общественное мнение, уроки демократии, христианская мораль, валютный голод, право на политическое убежище, коммунистическая угроза, мудрая государственная политика, растущая дороговизна, республиканские традиции, обездоленные классы, послания солидарности...

Ей не удалось добраться до конца. Ее последний волевой порыв был подсечен столь утомительным перечислением. Захлебнувшись в океане абстрактных формул, которые два века подряд были этической, а следовательно, и правовой основой всевластия их рода, Великая Мама громко рыгнула и испустила дух.

В тот вечер жители далекой и угрюмой столицы увидели во всех экстренных выпусках фотографию двадцатилетней женщины и решили, что это новая королева

красоты. На увеличенном снимке, который занял четыре газетных полосы, возродилась к жизни быстротечная молодость Великой Мамы. Отретушированный на скорую руку снимок вернул ей пышную прическу из роскошных волос, подхваченных гребнем слоновой кости, и соблазнительную грудь в пене кружев, сколотых брошью. Образ Великой Мамы, запечатленный в Макондо в самом начале века каким-то заезжим фотографом, терпеливо дожидался своего часа в газетных архивах, и вот теперь ему выпала судьба остаться в памяти всех грядущих поколений.

В стареньких автобусах, в министерских лифтах, в унылых чайных салонах, обитых блеклыми гобеленами, говорили, переходя на почтительный шепот, о высочайшей особе, скончавшейся в краях малярии и невыносимого зноя, говорили о Великой Маме, чье имя стало за несколько часов всемирно известным милостью магической силы печатного слова.

Мелкая морось ложилась настороженным зеленоватым отсветом на лица редких прохожих. Колокола всех церквей звонили по усопшей. Президент Республики, застигнутый этой вестью в тот самый миг, когда он собрался на торжественный акт, посвященный выпуску девяти кадетов, собственноручно написал на обороте телеграммы несколько слов военному министру, чтобы тот в своей заключительной речи почтил память Великой Мамы минутой молчания.

Эта смерть сразу сказала на общественной жизни страны. Даже президент Республики, к которому все умонастроения народа поступали сквозь очистительные фильтры, испытал какое-то щемящее, грозное чувство, глядя из окна машины на оцепеневший в молчании город, где открытыми оставались лишь кабачки с дурной славой и соборная церковь, готовая к девятидневной торжественной службе.

В Национальном капитолии, где дорические колонны и безмолвные статуи покойных президентов забот-

ливо стерегли сон бездомных нищих, укрытых старыми газетами, ярко и призывно светились окна Конгресса. Когда Первый мандатарий, потрясенный всенародной скорбью, вошел в свой кабинет, ему навстречу поднялись министры, все как один в траурных повязках, более обычного торжественные и бледные.

Со временем события той ночи и всех последующих ночей возведут в ранг великих уроков Истории. И не только потому, что самые высокие государственные лица прониклись истинно христианским духом, но и потому, что представители самых противоположных взглядов и противоборствующих интересов с героической самоотверженностью пришли к взаимному примирению во имя общей цели — погребения Великой Мамы. Долгие годы Великая Мама обеспечивала социальное спокойствие и политическое согласие в царстве Макондо благодаря трем баулам с фальшивыми избирательными бюллетенями, которые тоже, разумеется, являлись неотъемлемой частью ее негласного имущества. Все лица мужского пола — прислуга, арендаторы, приживальщики в господском доме, все старые и малые — не только сами участвовали в политических выборах, но и всенепременно пользовались правом голоса выборщиков, умерших в последнее столетие. Великая Мама олицетворяла преимущество традиционной власти перед нестойкими авторитетами, превосходство правящего класса над плебсом, непреходящую ценность божественной мудрости в сравнении с недолговечными догмами смертных. В мирное время Великая Мама самолично жаловала и отменяла синекуры и пребенды, назначала и снимала каноников, пеклась о благополучии своих приверженцев, и на то была ее верховная воля вкупе с темными интригами, с подтасовкой избирательных бюллетеней. В смутные годы Великая Мама тайно снабжала оружием своих союзников и в открытую оказывала помощь своим жертвам. Такое патриотическое рвение обеспечивало ей самые высокие почести.

Президент Республики на сей раз пожелал без помощи советников определить меру своей исторической ответственности перед согражданами. Он недолго мерил шагами садик, где темнели кипарисы и где на закате колониального правления повесился из-за несчастной любви один португальский монах. Президент не слишком надеялся на личную охрану — внушительное число офицеров, увешанных наградами, — и потому его бил легкий озноб каждый раз, когда он в сумерки попадал в этот садик, соединявший дворцовый зал для аудиенции с мощным двором, где когда-то стояли кареты вице-королей. Но в эту ночь президента пронизывал сладкий трепет озарения: ему открылся во всей глубине смысл его высокой миссии, и он не дрогнув подписал декрет о девятидневном всенародном трауре и о воздании Великой Маме посмертных почестей на том уровне, какой положен национальной героине, павшей в бою за свободу родины. В патетическом обращении к своим соотечественникам — оно было передано на рассвете по всем каналам национального радио и телевидения — президент выразил уверенность, что похороны Великой Мамы станут историческим событием. Но осуществление столь высокой цели натолкнулось, как водится, на серьезные препятствия: правовая система Макондо, созданная далекими предками Великой Мамы, не предусматривала событий подобного размаха. Искушенные алхимики закона и мудрейшие доктора права самоабвенно углубились в силлогизмы и герменевтику, отыскивая новые формулы, которые позволили бы президенту принять участие в похоронах Великой Мамы. Для всех, кто причастен к высоким сферам церкви, политики и финансов, настали трудные дни. В полукруглом и просторном зале Конгресса, в разреженном воздухе абстрактного законодательства, где красовались портреты национальных освободителей и бюсты великих греческих философов, возносилась безудержная хвала Великой Маме, а меж тем зной сентябрьского Макондо на-

полнял ее труп мириадами пузырьков. Впервые все, что говорилось о Великой Маме, не имело ничего общего ни с ее плетеной качалкой, ни с ее послеобеденной сонной одурью, ни с горчичниками. Теперь она сияла в ореоле новой легенды, непорочная, без груза прожитых лет.

Нескончаемые часы наполнились словами, словами, словами, которые находили живой отклик на всей территории Республики благодаря стараниям корифеев печатного слова. Так шло до тех пор, пока кто-то наделенный чувством реальности не прервал исторические тары-бары стерильных отцов-законодателей, напомнив высокому собранию, что труп Великой Мамы ждет решения при сорока градусах в тени. Однако мало кто обратил внимание на эту попытку вторжения здравого смысла в безгреховно-чистую атмосферу непоколебимого Закона. Разве что распорядились набальзамировать труп Великой Мамы, но по-прежнему шли поиски новых формул, согласовывали мнения, вносили поправки в конституцию, которые могли бы позволить президенту присутствовать на похоронах.

Столько всего было наговорено высокими болтунами, что их болтовня пересекла государственные границы, переправилась через океан и проникла знаменем в папские покои Кастельгандольфо. Верховный Первосвященник, с трудом стряхнувший сонный дурман феррагосто, в глубокой задумчивости смотрел на то, как погружаются в озеро водолазы, разыскивающие голову зверски убитой девицы. Последние недели все вечерние газеты писали только об этом происшествии, и Верховный Первосвященник не мог остаться равнодушным к тайне, разгадку которой искали в такой близости от его летней резиденции. Но в тот вечер все переменялось: в газетах разом исчезли фотографии предполагаемых

жертв и на смену им появился портрет двадцатилетней женщины в траурной рамке. «Великая Мама!» — воскликнул Верховный Первосвященник, мигом узнав тот самый нечеткий дагерротип, который ему поднесли в далекие времена по случаю его восшествия на престол Святого Петра. «Великая Мама!» — дружно ахнули в своих апартаментах члены кардинальской коллегии, и в третий раз за все двадцать веков на необъятную христианскую империю обрушился вихрь сумятицы, неразберихи, беспорядочной беготни, завершившейся тем, что Верховного Первосвященника усадили в длинную черную гондолу, которая взяла курс на далекие и фантастические похороны Великой Мамы.

Позади остались сияющие ряды персиковых деревьев, старая Аппиева дорога, где солнце золотило ласковые тела кинозвезд, не ведающих о столь горестном событии. Скрылась из виду громада Капельсантандже-ло, маячившая на горизонте Тибра. Густые вздохи колоколов собора Святого Петра вплелись в тенькающие четверти церковей Макондо.

Сквозь заросли тростника в затаившихся болотах, по которым проходит граница между Римской империей и святыми угодьями Великой Мамы, пробивались визгливые крики обезьян, потревоженных близостью человека. Эти крики всю ночь донимали Верховного Первосвященника, изнывающего от духоты под густой москитной сеткой. В ночной темноте огромная папская ладья наполнилась до отказа мешками с южкой, связками зеленых бананов, корзинами с живой птицей, а также, разумеется, мужчинами и женщинами, которые побросали свои дела в надежде попытать счастья и с выгодой продать свой товар на похоронах Великой Мамы. Впервые в истории христианской церкви Его Святейшество мучился от озноба, вызванного бессонницей, и от укусов тропических москитов. Но волшебные краски

рассвета над землями Великой Старухи, первозданная красота царства игуаны и цветущего бальзамина мгновенно вытеснили из его памяти все невзгоды путешествия и воздали ему сторицей за такое самопожертвование.

Никанор проснулся от трех ударов в дверь, возвестивших о прибытии Его Святейшества. Смерть завладела всем домом без остатка. Цветистые и набатные речи президента, жаркие лихорадочные споры парламентариев, которые давно уже потеряли голос и объяснялись с помощью жестов, сорвали с места сотни людей, и они, кто в одиночку, а кто целыми конгрегациями, прибывали в дом Великой Мамы, заполняя замшелые лестничные площадки, душные чердаки и темные коридоры. Запоздавшие устраивались как могли — в бойницах, на дозорных башнях, в амбразурах и у слуховых окон. А в главной зале дожидалась высочайшего решения набальзамированная Великая Мама, над которой рос и рос устрашающий ворох телеграмм. Обессиленные от слез девять племянников и племянниц в экстазе взаимной подозрительности ни на шаг не отходили от тела, которое мало-помалу превращалось в мумию.

Словом, еще долгое время мир жил в напряженном ожидании. В одном из залов муниципии, где по стенам стояли четыре табурета, обтянутые кожей, а на столе — графин с дистиллированной водой, маялся бессонницей Верховный Первосвященник, пытаясь скоротать удушливые ночи чтением мемориалов и административных циркуляров. Днем он раздавал итальянские карамельки ребятишкам, которые торчали у его окна, и подолгу обедал в беседке, крытой вьющимися астромелиями, в обществе отца Антонио Исабеля, а случалось — и с Никанором. Так он и жил, провожая изнурительные от жары дни, которые складывались в нескончаемые недели и месяцы, до того знаменательного дня, когда на

середине площади появился Пастор Пастрана, чтобы под барабанную дробь — трам-тара-рам-пам — огласить решение Высочайшего Совета. «Из соображения государственной безопасности, в связи с нарушением общественного порядка президенту Республики — трам-тара-рам-пам — предоставляются чрезвычайные полномочия — трам-тара-рам-пам-пам, — которые дают ему право участия в похоронах Великой Мамы! Трам-тара-рам-там-пам!»

Великий день настал. Дюжие арбалетчики лихо расчищали дорогу столпам Республики на улицах, где толпился народ возле стоек с рулеткой, киосков с лотереями, лавчонок со снедью, на маленькой площади, где люди натянули сетки от москитов и расстелили циновки и где невозмутимо сидели со змеями на шеях ясновидцы, сбывавшие снадобья, которые исцеляют от рожи и даруют бессмертие. В предвкушении вершинного момента стояли не шелохнувшись прачки из Сан-Хорхе, ловцы жемчуга из Кабо-де-Вела, вязальщики сетей из Сиенаги, коптильщики креветок из Тасахеры, знахари из Моханы, сборщики морской соли из Мануаре, аккордеонисты из Вальедупары, объездчики лошадей из Айяпеля, продавцы папайи из Сан-Пелайо, знаменитые зубоскалы из Ла-Куэвы, оркестранты из Лас-Сабанас-де-Боливар, перевозчики из Реболо, бездельники из Магдалены, крючоктворы из Момпокса и многие-многие другие вкупе с теми, о ком шла речь в начале рассказа. Даже ветераны полковника Аурелиано Буэндиа во главе с герцогом Мальборо в парадном наряде — тигровая шкура с когтями и зубами — явились на похороны, пересилив столетнее зло на Великую Маму и ее приближенных, чтобы отнестись с прошением к президенту Республики о военных пенсиях, которых они дожидались тщетно семьдесят лет подряд.

Около одиннадцати часов утра обезумевшая, изму-

ченая солнцепеком толпа, чей напор сдерживала элита невозмутимых блюстителей порядка в расшитых доломанах и пенных киверах, взревела от немыслимого восторга. В черных фраках и цилиндрах, торжественные и исполненные сознания собственного достоинства, появились из-за угла телеграфного здания сам президент и его министры, за ними — парламентская комиссия, Верховный суд, Государственный совет, традиционные политические партии, высшее духовенство, представители банков, торговли и промышленности. Президент Республики — лысый, кургузенький, в годах, болезненного вида — семенил под ошалелыми взглядами людей, которые когда-то заглазно сделали его верховным властителем и лишь теперь удостоверились в его реальном существовании. Рядом с ним выступали огрузневшие от сознания собственной значимости архиепископы и военные, с выпяченной грудью, в непробиваемой броне орденов, но только он один был окружен сиянием высшей власти.

Вторым потоком в мерном колыхании траурных шелков поплыли королевы всего сущего и всего грядущего. Впервые без ярких красочных нарядов шли вслед за королевой мира королева манго, королева зеленой ауйамы, королева гвинейского банана, королева мучнистой юкки, королева гуайявы, королева кокосового масла, королева черной фасоли, королева четырехсот-двадцатшестиметровой связки яиц игуаны и все остальные королевы, которых не счесть и которых мы опускаем, чтобы не слишком растягивать этот список.

Великая Мама, возлежащая в гробу с пурпурными кистями, отрешенная от всего земного восемью медными подставками и перенасыщенная формалиновой вечностью, не могла постичь всей грандиозности своего величия. Все, о чем она мечтала, сидя на балконе в знойной духоте, свершилось теперь, когда прогремели сорок

восемь хвалебных псалмов, в которых все символы эпохи воздали должное ее памяти. Даже сам Верховный Первосвященник, который являлся ей в предсмертном бреду в золотой карете, летящей над садами Ватикана, одолел с помощью пальмового опахала тропическое пекло и почтил своим высоким присутствием самые великие похороны в мире.

Поглощенный лицемерием верховной власти, простой люд не мог услышать хлопанья алчущих крыльев у порога господского дома, когда в итоге шумной перебранки именитых особ самые именитые вынесли на своих плечах катафалк с гробом Великой Мамы. Никто не различил грозной тени стервятников, которая ползла вслед за траурным кортежем по раскаленным улочкам Макондо. Никто не заметил, что после высокой процессии на этих улочках оставались зловонные отбросы. Никто не подозревал, что племянники и племянницы, приживальщики и любимчики Великой Мамы и ее слуги, едва дождавшись выноса тела, ринулись поднимать полы, срывать двери, ломать стены, деля родовой дом. Зато почти все до одного услышали шумный вздох облегчения, пронесшийся над толпой, когда после двухнедельных молитв и дифирамбов на могилу легла огромная свинцовая плита.

Кое у кого, кто при том присутствовал, хватило ума и догадки, чтобы понять, что они стали свидетелями зарождения новой эпохи.

Верховный Первосвященник, выполнивший свою великую миссию на грешной земле, мог теперь воспарить душой и телом на небеса, президент Республики мог теперь распоряжаться государством по своему разумению. Королевы всего сущего и всего грядущего могли выходить замуж по любви, зачинать и рожать детей, ну а простой люд мог натягивать сетки от москитов, где ему сподручнее — в любом уголке владений Великой Мамы,

потому как сама Великая Мама, единственная из всех смертных, кто мог тому воспротивиться и кто ранее имел на то великую власть, начала уже гнить под тяжестью свинцовой плиты.

Теперь главное было — поскорее отыскать человека, который сел бы на скамеечку у ворот дома и рассказал все как есть, чтобы его рассказ стал уроком и поводом для великого смеха всех грядущих поколений и чтобы все до единого маловеры узнали эту историю, потому что в среду утром должны были прийти старательные дворники и на веки веков смести весь мусор после похорон Великой Мамы.

ОЧЕНЬ СТАРЫЙ СЕНЬОР С ОГРОМНЫМИ КРЫЛЬЯМИ

На третий день дождя они убили столько крабов, что Пилайо пришлось бежать через затопленный двор и выбрасывать их в море — младенец всю ночь метался в жару, и причиной лихорадки могло быть начавшееся зловоние. Дождь начался во вторник, и с тех пор мир заполняла тоска. Море и небо имели цвет остывшей золы и невдалеке от берега сливались друг с другом; песок на пляже, который недавно сверкал, как тонко смолотая солнечная пыль, за три дня превратился в густую кашу из грязи и протухших креветок. В полдень свет едва пробивался сквозь плотную пелену туч, поэтому Пилайо, возвращаясь с моря, с трудом различил в глубине двора какое-то странное существо, которое стонало и возилось в грязи. Он подошел поближе и увидел престарелого мужчину, который барахтался, уткнувшись головой в песок, и никак не мог подняться, потому что ему мешали огромные развернутые крылья.

Струхнувший Пилайо сбегал за женой, Элисендой, которая в это время ставила компресс ребенку, и привел ее в глубь двора. Оба они уставились на копошащееся тело. Мужчина был одет как старьевщик, несколько бесцветных пучков волос трепыхались на его голом черепе, а шамкающий рот указывал на серьезный недостаток зубов. Старик промок до нитки и имел жалкий вид. Его крылья, напоминающие крылья грифа, помятые и наполовину облезлые, все глубже и глубже увязали в грязи. Элисенда критически изучила старика и нашла, что в

нем нет ничего страшного. Она даже заговорила с ним, и тот ответил достаточно звучным голосом, но на чужом языке. Посоветавшись, Пилайо и Элисенда решили, что крылья не стоит принимать во внимание, а мужчина, судя по всему, спасся с какого-нибудь разбитого бурей иностранного судна. И лишь соседка, которую пригласили потому, что она слыла большим знатоком вопросов жизни и смерти, с первого взгляда определила истинную суть случившегося.

— Это ангел, — заявила она. — Его, видать, послали за вашим ребенком. Но он такой старый, что дождь свалил его на землю.

К вечеру вся деревня знала, что во двор Пилайо свалился живой ангел. Приговор соседки был суров: в такое время года встречаются лишь беглые ангелы, то есть те, что спасаются от небесной ревизии, — но у Элисенды и ее мужа не хватило решимости забить его палками, как советовали соседи. Пилайо весь день следил за ангелом из окна кухни, на всякий случай держа под рукой толстую дубину альгвазила¹, а когда пришло время ложиться спать, он выволок старика из грязи, протащил его по двору и запер в зарешеченном сарае, вместе с курами. В полночь дождь кончился, и Пилайо с Элисендой выловили в спальне последних крабов. А вскоре проснулся ребенок — ему стало лучше, и он попросил есть. На радостях Пилайо и Элисенда решили отпустить ангела от греха подальше: дать ему провизии и подслащенной воды на три дня, посадить на плот и отправить в открытое море на милость провидения. Но выйдя из дома с первыми утренними лучами, они, к своему удивлению, застали перед курятником все население деревни. Люди без всякой почтительности глазели на ангела, дразнили его через сетку и совали внутрь куски булки, как будто перед ними не божественное создание, а цирковой осел.

¹ Судебного исполнителя.

Около семи, встревоженный чудесным известием, во двор явился отец Гонзага. К тому времени первое любопытство толпы было уже удовлетворено, и люди гадали о том, как власти используют небесного пришельца. Одни полагали, что его сделают главным алькальдом мира. Другие считали, что его произведут в пятизвездные генералы и поставят во главе вооруженных сил выигрывать для страны все будущие войны. А некоторые мечтатели были уверены, что ангела сохранят как племенного производителя, для разведения на земле отважного и мудрого племени крылатых мужчин, которые смогут при необходимости спасти цивилизацию. Не так повел себя отец Гонзага, который до получения священного сана был обычным крестьянским дровосеком. Заглянув через решетку в курятник и пробормотав на всякий случай молитву, он попросил, чтобы ему отперли дверь, так как хотел поближе познакомиться с сим достойным мужем, который, честно говоря, больше смахивал на дряхлую курицу, чем на жителя райских садов. Он ваялся в углу, среди апельсиновой кожуры и кусков лепешек, и сушил на солнце свои растопыренные крылья. Отец Гонзага вошел в курятник и торжественно приветствовал старика на латыни. Но тот, достаточно изучивший бесцеремонность мирян, едва поднял на священника свои библейские глаза и неохотно пробурчал что-то на непонятном языке. Святой отец был удивлен. Ему показалось неприличным, что ангел совсем не понимает церковного языка и не умеет должным образом ответить служителю бога на земле. А при ближайшем рассмотрении ангел и вовсе оказался подозрительно похож на обыкновенного человека: от него исходил неприятный запах нищеты, внутреннюю сторону крыльев густо покрывали копошащиеся паразиты, а перья были сильно потрепаны жестокими земными ветрами. Нет, в облике старика не было ничего небесного. Святой отец гордо покинул курятник и в короткой проповеди предостерег любопытных от излишней до-

верчивости. Он напомнил, что маскарад — обычная уловка дьявола, подстерегающего неосторожных. «Крылья ничего не значат, — сказал он. — У ястреба тоже есть крылья, и у самолета есть. Я бы не спешил записывать его в ангелы». На всякий случай он решил написать письмо епископу, чтобы епископ через нунция связался с канцелярией папы римского и самые высокие инстанции определили, кем следует считать свалившегося во двор мужчину.

Однако семена благоразумия упали на неблагоприятную почву. С быстротой молнии по округе начало распространяться известие о плененном ангеле, и через несколько часов в маленьком дворике Пилайо стало шумно, как на базаре. Пришлось вызывать солдат и штыками утихомиривать разгулявшуюся толпу, которая грозила снести с лица земли ветхий дом. К вечеру Элисенде, которая с раннего утра не переставая выгребала со двора горы мусора и уже с трудом разгибала натруженную спину, пришла в голову естественная мысль — обнести двор оградой и брать по пять сентаво с каждого, кто хочет поглазеть на божье чудо.

Любопытные прибыли даже с Мартиники. Прослышав о скоплении народа, в деревню прикатил цирк-шапито. Его летающий акробат пролетел несколько раз, жужжа, над толпой, но воздушные кульбиты вызвали лишь судорожную зевоту — кому охота смотреть на фальшивые крылья летучей мыши, когда рядом сидит человек с крыльями настоящего ангела. В деревушку за исцелением потянулись самые безнадежные больные Карибского побережья: несчастная женщина, которая с самого рождения считала удары своего сердца и ей уже не хватало для этого чисел; житель Ямайки, который не мог спать, потому что ему мешал шум звезд; лунатик, который против воли поднимался каждую ночь и в щепки ломал все, что успевал сделать за день, и многие другие. Шум стоял невообразимый, шарканье ног заставляло дрожать землю, но Пилайо и Элисенда, падающие с ног

от усталости, были счастливы: менее чем за неделю их сундуки оказались доверху набиты деньгами, а бесконечная вереница паломников, терпеливо дожидаящихся своей очереди, тянулась за горизонт.

Ангел был единственным, кого не радовала завертевшаяся кутерьма. Обалдев от жара тысяч свечей и лампадок, которые люди зажигали перед его решеткой, он все пытался устроить себе гнездо в углу неуютного курятника. Всезнающая соседка сказала, что ангелов на небесах кормят сухой камфарой, но старик отказался от этой гадости, как отказался и от просвирок, которые то и дело подбрасывали ему в курятник верующие. Он остановился на каше из баклажанов, но никому так и не удалось определить, что повлияло на выбор — небесное ли происхождение или просто отсутствие зубов. Что было у старика ангельским, так это терпение. Его постоянно донимали куры, выскивающие в крыльях небесных насекомых, парализованные выдергивали у него перья, чтобы прикладывать их к неподвижным конечностям, и даже богомольцы время от времени бросали в него камушек, чтобы он встал и показался во весь рост. Один раз он и правда встал, когда какая-то старушка ткнула ему в бок раскаленной железкой для клеймения бычков, потому что ей показалось, что он неживой. Старик вскочил на ноги, лепеча что-то по-своему и утирая брызнувшие из глаз слезы, и дважды взмахнул огромными крыльями. Это привело к серьезным последствиям: наводя ужас на округу, над деревней взвился невиданный прежде смерч, в котором смешались куриный помет и звездная пыль. Когда паника в толпе улеглась, кое-кто стал утверждать, что ангел устроил бурю не со злости, а от боли, произвольно, но с тех пор старичка предпочитали не беспокоить, догадавшись, что его равнодушие — это не презрительность героя на заслуженном отдыхе, а лишь сонливость вулкана в состоянии покоя.

Отец Гонзага, как мог, защищал пленника от любо-

пытства толпы, стараясь протянуть время до прихода высочайшего решения о его природе. Но римским чиновникам некуда было спешить. Они запрашивали все новые и новые сведения: а есть ли у претендента пупок, и сколько раз он может уместиться на кончике иглы, и не является ли он всего лишь норвежским подданным, прицепившим к плечам крылья. Переписка из осторожных вопросов и ответов могла бы длиться до скончания веков, но одно неожиданное событие сделало ненужными теологические хлопоты священника.

Привлеченные шумом, со всего побережья в деревушку устремились публичные увеселения и аттракционы, и среди прочего привезли огромную женщину-паука, которая была превращена в насекомое за непослушание родителей. За ее показ брали совсем дешево, гораздо меньше, чем за показ ангела, а кроме того, разрешалось задавать вопросы, осматривать и даже щупать руками, чтобы каждый мог удостовериться в подлинности колдовства. Женщина представляла собой огромного тарантула с туловищем барана и головой грустной девушки. Причем душу будоражили не панцирь и мохнатые лапы, а простота и скорбь, с которыми женщина рассказывала о своем несчастье: совсем еще девочкой она без разрешения убежала на вечеринку и, протанцевав всю ночь, уже собралась было домой, когда страшный грохот вдруг потряс окрестности, небо разверзлось и сернистая молния, ударив в землю, превратила ее в то, чем она являлась теперь. Женщина не ела ничего, кроме шариков из мясного фарша, которые сердобольным слушателям разрешалось собственноручно класть ей в рот. Зрелище этой женщины, исполненное такой человеческой правды и такой нравучительности, ни в какое сравнение не шло с видом тщедушного старичка, который еле ворочался в своем углу и почти не смотрел на зрителей.

Да, честно говоря, и чудеса, которые молва приписывала ангелу, сильно отдавали старческим маразмом,

как, например, чудо со слепым, который не прозрел, но во рту у него выросли три новых зуба, или чудо с парализованным, который не стал ходить, зато чуть крупно не выиграл в лотерею, или чудо с прокаженным, язвы которого ни с того ни с сего заполнились, как подсолнухи, семенами. Эти ангельские милости, очень походившие на бессовестные издевательства, изрядно подмочили репутацию старика, а появление женщины окончательно убило людской интерес к нему. Двор Пилайо вновь приобрел свой обычный вид, как в то время, когда дождь лил три дня и крабы разгуливали по спальням, а отец Гонзага вздохнул с облегчением и прекратил переписку с папской канцелярией.

Хозяевам, однако, было грех жаловаться. На скопленные деньги они построили двухэтажный особняк с круговым балконом и садиком во внутреннем дворе. Пилайо специально позаботился о высоком крыльце и решетках на окнах — чтобы внутрь не заползали крабы и не могли залететь ангелы. Денег хватило также на маленькую кроличью ферму за деревней, так что Пилайо бросил неблагодарную службу альгвазила, а Элисенда накупила атласных туфель на высоком каблуке и платьев из переливающегося шелка, тех самых, что носят самые изысканные сеньоры. Единственным местом, которое не удостоилось внимания, был курятник. Правда, и его помыли креозотом и прожгли внутри мирру, но вовсе не из заботы об ангеле, а для того, чтобы обеззаразить кучу навоза в углу, запах от которой уже бродил повсюду и то и дело заносился ветром в новый дом. Ребенок к тому времени уже начал ходить и проявлял большой интерес к дедушке с крыльями. Сначала за ребенком следили, но вскоре утратили бдительность, и он частенько забирался поиграть в курятник, проржавевшие решетки которого распадались под руками сами собой. Ангел с ребенком был не более приветлив, чем с другими, но его шалости сносил терпеливо, как старая покорная собака. Ветрянкой оба они заболели в один день. При-

шедший к ребенку доктор не устоял перед соблазном послушать трубкой ангела и был поражен: у старика открылись такие шумы в сердце и такой гул в почках, что непонятно было, как он еще живет. А больше всего доктору понравились крылья. Они очень естественно вписывались в абсолютно человеческий организм старика, и казалось, что такие же может запросто иметь любой смертный.

К тому времени, когда ребенок пошел в школу, зной и непогода окончательно разрушили курятник. Неприкаянный ангел теперь шатался, волоча крылья, по всему дому. Его гнали веником из спальни, но уже в следующий миг он попадался под ноги на кухне. Создавалось впечатление, что ангел может находиться одновременно в разных местах, раздваиваясь, когда нужно, и повторяя себя в каждой комнате. Раздраженная Элисенда кричала на всю округу, что у нее нет больше сил жить в этом набитом ангелами аду. Старик уже почти ничего не ел, а глаза его стали такими мутными, что он то и дело натыкался на колонны и мебель, — перья от этого обтрепались, и местами от них остались лишь голые целлулоидные стерженьки. В конце концов Пилайо сжалился над стариком: он стал выдавать ему на ночь одеяло и разрешил спать под навесом. Это имело неожиданные последствия. В первую же ночь Элисенда и Пилайо заметили, что старик мечется во сне и бредит на непонятном — похоже, норвежском — языке. Супруги не на шутку встревожились: сеньор, судя по всему, собирался отдать концы, а никто вокруг не знал, что принято делать с мертвыми ангелами.

Однако старик пережил ту тяжелую зиму, а с первыми лучами весеннего солнца дела его пошли на поправку. Неизвестно почему, он стал прятаться по темным углам, а в начале декабря Пилайо и Элисенда заметили на его крыльях новые перья — широкие и твердые, как перья неведомой исполинской птицы. Они посчитали, что запоздалое обрастание — одна из болезней старос-

ти, но старик, похоже, знал причины изменения своего организма. Он стал как никогда скрытен, прятался от людей, а ночами, тайком выбираясь под звезды, напевал бодрые походные песни. А как-то утром Элисенда, резавшая лук к завтраку, ощутила дуновения ветерка, которые заносило в кухню со двора. Она высунулась в окно и увидела ангела, который разбежался для полета. Он неуклюже хлопал крыльями, и ноги его волочились по земле, оставляя глубокие борозды на грядках с овощами. Судорожно бьющиеся крылья никак не могли найти опору в воздухе, и старик чуть не свалил шаткий навес, но все же набрал высоту. Элисенда вздохнула с облегчением за себя и за ангела, увидев, как он летит над домами, нелепо ковыляя в небе. Она смотрела на него, продолжая резать лук, и даже нарезав, все поглядывала на горизонт затуманенными слезой глазами, с трудом отыскивая крохотную прозрачную точку — точку, которая уже ничем не могла помешать ее жизни.

1968 г.

К концу января море всегда становилось ненастным, оно начинало выбрасывать на берег свои жирные отбросы, и спустя несколько недель городок оказывался густо завален его отвратительным содержимым. С этого момента жизнь теряла смысл, по крайней мере до следующего декабря, и после восьми невозможно было найти человека, который бы не спал. Однако в тот год, когда приехал господин Герберт, море не изменилось даже в феврале. Наоборот, с каждым днем оно становилось все более гладким и фосфоресцирующим и в первые ночи марта испустило тот самый аромат роз.

Аромат почувствовал Тобиас. Тобиас имел кровь, сладкую для крабов, и большую часть той ночи провел, выгоняя их из своей постели, пока, наконец, бриз не подул с моря. За время долгих бессонниц Тобиас научился различать все оттенки ветра. Поэтому, почувствовав разливающийся в воздухе аромат, он поднялся и выглянул за дверь, чтобы убедиться, что запах доносится именно с моря.

Он проснулся позже обычного на следующее утро, когда Клотильда уже разводила во дворе огонь. Бриз все еще оставался свежим, и горели звезды, но к горизонту их свет бледнел, заглушаемый свечением моря. Тобиас выпил кофе, и ночной привкус вновь проступил у него на нёбе.

— Вчера, — проговорил он, — случилось нечто странное.

Клотильда, видимо, ничего не заметила. Она всегда спала тяжело и наутро никогда не помнила своих снов.

— Стоял аромат роз, — сказал Тобиас, — и я уверен, что он исходил от моря.

— Я никогда не слышала, как пахнут розы, — сказала Клотильда.

Это могло быть правдой. В городе не росли цветы, почва вокруг была засушливой и твердой, превращенной в камень избытком селитры, и лишь иногда кто-нибудь привозил издалека букетик цветов, чтобы бросить его в море вслед за опускаемым покойником.

— Запах тот же, что сопровождал утопленника из Гвакамайялы, — пояснил Тобиас.

— Приятный, — согласилась Клотильда. — Но будь уверен, он не имел отношения к морю, если был так хорош.

Море действительно было жестоким. Даже в голодные времена, когда сети не приносили в своих ячейках ничего, кроме мусора, отлив оставлял улицы городка усыпанными раздавленной в пучинах рыбой. Казалось, взрывы динамита беспрестанно тревожили морскую утробу, потому что обломки сотен древних кораблекрушений то и дело всплывали на поверхность.

Люди покидали городок, а немногие оставшиеся были обречены целыми днями вариться в злобе. И жена старого Хакоба, которая в то утро поднялась почему-то раньше обычного и привела в порядок дом, приступила к завтраку с выражением решимости в лице.

— У меня осталось только одно желание, — сказала она мужу. — Я хочу, чтобы меня похоронили живой.

Она произнесла это так, будто лежала на смертном одре, — сидя за столом в просторном зале, щедро залитом первым светом марта. Перед ней, деликатно утоляя утренний голод, сидел старый Хакоб, который уже столько лет и так сильно любил ее, что успел забыть, существуют ли в мире другие страдания, кроме страданий его жены.

— Я хочу умереть с уверенностью, что меня зароят в землю, как нормального человека, — продолжила она. —

А для этого есть только один путь — просить милости, чтобы меня похоронили живой.

— Тебе не придется никого просить, — как можно ровнее сказал старый Хакоб. — Я сам сделаю все, что нужно.

— Тогда поспеши, — сказала жена. — Потому что я собираюсь умереть очень скоро.

Старый Хакоб внимательно на нее посмотрел. Только ее глаза еще оставались молодыми. Хакоб увидел распухшие в суставах кости и тело, бесплодное, как пустыня, такими же, какими он видел их всегда.

— Ты хороша, как никогда, — сказал он.

— Вчера ночью, — вздохнула она, — я почувствовала запах роз.

— Ничего страшного, — осторожно заметил старый Хакоб. — Такое часто случается с нами, бедняками.

— Не говори глупостей, — сказала жена. — Запах роз в этой деревне не может быть ничем иным, кроме божьего знака. Я всегда молилась о том, чтобы мне было ниспослано предупреждение о смерти — я хочу умереть подальше от этого моря.

Старый Хакоб не нашел, что возразить. Он только попросил немного подождать, чтобы успеть собрать необходимые вещи. Ему приходилось слышать от людей, что человек может умереть не когда положено, а когда он сам того захочет, и его встревожили предчувствия жены. Он дошел до того, что всерьез задумался, не пора ли и правда ее похоронить.

В десять часов он открыл помещение, в котором когда-то располагалась лавка. Он поставил в дверях два стула и небольшой столик и все утро играл в шашки со случайными партнерами. С его места хорошо был виден городок, лежащий в развалинах, дома с оббитыми углами и полоска моря в конце улицы.

Перед обедом, как обычно, он играл с доном Максимо Гомесом. Старый Хакоб не знал человека более отзывчивого, чем дон Максимо, который прошел невре-

димым сквозь две гражданские войны, а в третьей потерял глаз. Проиграв намеренно первую партию, Хакоб задержал его на вторую.

— Скажите мне одну вещь, дон Максимо, — спросил он. — Могли бы вы похоронить живой собственную жену?

— Без сомнения, — сказал дон Максимо Гомес. — Поверьте, у меня не дрогнула бы рука.

Старый Хакоб удивленно промолчал. Затем, пожертвовав незаметно две проходные шашки, он озабоченно вздохнул:

— Дело в том, что Петра, судя по всему, собирается умереть.

Дон Максимо Гомес не изменился в лице. «В таком случае, — сказал он себе, — совсем не обязательно хоронить ее живой». Он съел еще две шашки и поставил дамку. Его единственный глаз, увлажненный грустной слезой, уставился на партнера.

— Что с ней?

— Нынешней ночью, — объяснил старый Хакоб, — она почувствовала запах роз.

— В таком случае должна умереть половина города, — сказал дон Максимо. — Сегодня вокруг только и слышно, что об этом запахе.

Старому Хакобу пришлось сделать большое усилие, чтобы не обидеть дона Максимо и снова проиграть. Он убрал стулья и стол, запер лавку и отправился по городу искать кого-либо, кто бы чувствовал ночью этот запах. Он побывал всюду. Но только Тобиас мог сказать об аромате роз определенно. Его-то старый Хакоб и попросил заглянуть как-нибудь домой и рассказать обо всем Петре.

Тобиас согласился. В четыре часа, тщательно одетый, он появился в галерее, где Петра коротала вечер, перелицовывая старому Хакобу его будущий костюм вдовца.

Визит был так неожидан, что, увидев Тобиаса, женщина вздрогнула.

— О господи, — вздохнула она. — Я подумала, что это архангел Гавриил явился за мной.

— Совсем не архангел, — сказал Тобиас. — Это я, и я пришел, чтобы рассказать вам одну вещь.

Петра приладила очки и вновь принялась за работу.

— Я знаю, — сказала она.

— Что? — удивился Тобиас.

— Что этой ночью ты чувствовал запах роз.

— Как вы догадались! — воскликнул Тобиас.

— К моим годам человек о стольком успевает пере- думать, — ответила женщина, — что становится про- видцем.

Старый Хакоб, подслушивавший у перегородки смежного помещения, досадливо крикнул.

— Как же так, жена! — крикнул он через стену, а затем обогнул ее и показался в галерее. — Значит, это был не знак свыше?

— Все, что рассказывает этот парень, — выдумки, — сказала женщина, не поднимая головы. — Он не чувствовал никакого запаха.

— Запах появился около одиннадцати, — настаивал Тобиас. — Я как раз выгонял крабов из своего гамака.

Женщина закончила прилаживать воротник.

— Выдумки, — повторила она. — Все знают, что ты выдумщик. — Она оборвала зубами нитку и посмотрела на Тобиаса поверх очков. — Одно мне непонятно: стоило ли так утруждать себя, мазать волосы вазелином и чистить ботинки, только для того, чтобы явиться и превратить меня в посмешище.

С той поры Тобиас начал подстерегать возле моря этот запах. Он повесил гамак в галерее патио и проводил ночи в ожидании, не переставая удивляться вещам, происходящим в мире, когда люди спят. Многие ночи он слушал безнадежное царапанье крабов, пытающихся вскарабкаться по столбам гамака, и видел ночи, когда крабы уставали карабкаться. Он изучил сон Клотильды. Флейтовые звуки, которые она издавала, становились

все более высокими по мере того, как усиливалась жара, и в июле превращались в тоненький немощный писк.

Сначала Тобиас наблюдал море так, как наблюдают его хорошо знающие, — со взглядом, устремленным в одну точку на горизонте. Он видел, как меняются оттенки его свечения. Он видел, как свечение гаснет и море становится пенистым и грязным и начинает выбрасывать на берег свои отрыжки, полные мусора, в сезон, когда большие дожди будоражат его могучий пищеварительный тракт. Со временем он научился наблюдать за морем так, как наблюдают знающие его еще лучше, едва глядя в его сторону, но не в силах расстаться с ним даже во снах.

В августе умерла жена старого Хакоба. Рассвет застал ее мертвой в постели, и ее пришлось сбросить в море, как и всех, даже без цветов. Тобиас продолжал ждать. Он ждал так долго, что вся его жизнь превратилась в ожидание. И вот однажды ночью он проснулся в своем гамаке оттого, что воздух стал иным. Что-то наплывало волнами на берег, как в тот год, когда японское судно вывалило при входе в порт груз гнилого лука. Постепенно запах сгустился и больше не двигался до рассвета. Когда Тобиасу стало мерещиться, что запах можно трогать руками и показывать друг другу как вещь, он выпрыгнул из гамака и вошел в комнату, где спала Клотильда, и встряхнул ее несколько раз.

— Он есть, — сказал Тобиас.

Клотильда, поднимаясь, раздвигала запах пальцами, как паутину, и снова повалилась в льняные простыни.

— Будь он проклят, — пробормотала она.

Тобиас бросился к двери, боясь, что запах исчезнет, выбежал на середину улицы и закричал. Он кричал, куда хватало сил, набрал в легкие воздуха, и снова закричал, и умолк, а запах с моря все шел и шел. Никто не отозвался на крик. Тобиас побежал от дома к дому, колотя во все двери подряд, и бегал до тех пор, пока люди,

разбуженные его криком и лаем собак, не высыпали на улицу.

Многие не почувствовали запаха. Но остальные, а в особенности старики, даже спустились к пляжу, чтобы как следует насладиться им. Благоухание было настолько густым, что вытеснило все остальные запахи. Кое-кто, изнуренный столь сильными ощущениями, был вынужден вернуться домой. Однако большинство расположилось на песке, чтобы здесь завершить свой сон. На рассвете аромат был таким чистым, что жалко было дышать.

Успокоенный, Тобиас проспал весь следующий день. Клотильда едва добудилась его во время сиесты, и они наконец провели вечер в постели, играя и ласкаясь при открытых во двор дверях. Они начинали, сплетаясь, как дождевые червяки, продолжали, как кролики, и завершали медленно, как черепахи, и так продолжалось до тех пор, пока вновь не стемнело и мир не стал грустным. Последние дуновения роз еще витали в воздухе. Тобиас и Клотильда лежали опустошенные и прислушивались к обрывкам какой-то неясной музыки, время от времени заносимой в комнату.

— Это у Катарина, — сказала Клотильда. — Должно быть, в заведение кто-то приехал.

К Катарина приехали трое мужчин и женщина. Катарина рассчитывал, что вскоре, привлеченные запахом, придут и другие, и пытался наладить музыкальную машину. Музыкальную машину для него налаживал Панчо Апаресидо, который охотно брался за все на свете, потому что вечно болтался без дела и, кроме того, имел золотые руки и ящик с инструментом.

Заведение Катарина стояло уединенно на берегу моря. Стулья и столики были расставлены в просторном салоне, а в глубине располагалось несколько пустующих комнат. Приехавшие молча пили за стойкой, наблюдая за работой Апаресидо, и по очереди зевали. После многочисленных проб машина наконец заигра-

ла. Услышав музыку, забытую, но очень знакомую, люди в разных концах городка умолкли. Они переглядывались удивленно и не находили, что сказать, потому что поняли вдруг, как постарели с тех пор, когда последний раз играла музыка.

Тобиас подошел к заведению уже после девяти часов и обнаружил, что никто еще не ложился спать. Люди толпились у дверей, слушая старинные пластинки, заводимые Катарينو, с тем выражением наивного суеверия, которое бывает у людей во время затмения. Каждая пластинка напоминала им о ком-то, кто умер, или о вкусе, который имела пища, когда ее пробовали вновь после продолжительной болезни, или о чем-то, что они обязательно хотели сделать когда-то много лет назад, но по забывчивости так никогда и не сделали.

Музыка иссякла только после одиннадцати. Многие легли спать, полагая, что все кончилось и сейчас пойдет дождь — над морем висела темная туча. Но туча, опустившись к самой поверхности и покружив немного, утонула в воде, оставив на небе только звезды. А чуть позже бриз, начавшийся на побережье, долетел до середины моря и, вернувшись обратно, вновь принес в городок запах роз.

— Я же говорил вам, Хакоб! — воскликнул дон Максимо Гомес. — Опять! Я уверен, что теперь мы будем чувствовать этот запах каждую ночь!

— Если бог этого захочет, — сказал старый Хакоб. — Этот запах, к сожалению, слишком поздно пришел в мою жизнь.

Весь вечер они играли в шашки в пустой лавке, не обращая внимания на доносившуюся музыку. Их воспоминания были столь давнишними, что не существовало пластинок, способных воскресить их.

— Что касается меня, то я больше не верю ни во что подобное, — сказал дон Максимо Гомес. — Когда столько лет мы теряли земли из-за засухи, когда столько женщин тщетно мечтают о клочке земли для собственных цве-

тов, не удивительно, что человек перестает ощущать подобные запахи. И вообще не верит, что они существуют.

— Но мы чувствуем его собственным носом, — сказал старый Хакоб.

— Это ничего не значит, — возразил дон Максимо. — Во время последней войны, когда революция была уже проиграна, мы так хотели увидеть достойного генерала, что нам явился герцог Мальборо собственной персоной. Я видел его как вас, Хакоб.

Время перевалило за полночь. Когда солнце село, старый Хакоб запер лавку и перенес свет в спальню. Через окно, вырисовывающееся в фосфоресцирующем свете моря, виднелась скала, с которой бросали в воду покойников.

— Петра, — позвал Хакоб тихим голосом.

Петра не могла слышать его. В ту минуту она плыла, как водяной цветок, в сверкающем полдне Бенгальского залива. Она поднимала голову, чтобы видеть сквозь воду, как сквозь иллюминатор океанского лайнера. Но не могла видеть своего мужа, который в эту минуту, по другую сторону черты, вновь услышал музыкальную машину Катарино.

— Ты только подумай, — всхлипнул старый Хакоб. — Шесть месяцев назад они сочли тебя сумасшедшей, а теперь празднуют из-за запаха, который стал причиной твоей смерти.

Погасив свет, он повалился на кровать. Он тихонько заплакал, некрасиво, как плачут старики, и вскоре заснул.

— Я бы уехал из этого города, уехал, если бы только мог, — бормотал он во сне. — Я бы сбежал на край света, будь у меня для этого хотя бы двадцать песо.

С той ночи в течение нескольких недель запах продолжал куриться над морем. Он пропитал дерево домов, пищу и питьевую воду, и уже не было места, где бы он не чувствовался. Многие были встревожены, обнаружив его в запахе своих испражнений. Мужчины и женщины, приезжавшие к Катарино, уехали в пятницу крайне

заинтригованные случившимся, но уже в субботу вернулись вновь. А в воскресенье вслед за ними в городок хлынули другие и начали суетиться повсюду, разыскивая, что бы съесть и где устроиться на ночлег, сразу же заполнив собой тихие улочки.

Приезжие продолжали прибывать в течение нескольких недель. Вернулись женщины, покинувшие заведение Катарино в те времена, когда городок начал вымирать. Они стали толще теперь и были ярче накрашены и привезли с собой модные пластинки, которые уже никому ничего не напоминали. Вернулся кое-кто из прежних жителей, из тех, кто уехал когда-то, чтобы разбогатеть в других местах. Возвращаясь, они хвастали о своих неслыханных удачах, но были почему-то в тех же костюмах, в каких уезжали. Прибыли музыканты и маклеры вещевых лотерей, владельцы игральные столиков, прорицатели будущего и наемные убийцы, шарлатаны с обвитыми вокруг шей змеями, готовые продать эликсир вечной жизни. Они все прибывали и прибывали и продолжали прибывать даже тогда, когда выпали первые дожди и море снова стало беспокойным, а запах исчез.

Одним из последних приехал священник. Он ходил повсюду, держа в руках большую чашку кофе с молоком и макая туда кусок хлеба, и одно за другим запрещал все, что успело приехать до него: игры, лотереи, новую музыку и манеру танцевать; он запретил даже старый обычай спать на пляже. А однажды вечером в доме Мельчора он произнес проповедь о запахе моря.

— Воздадим благодарность небу, сыновья, — сказал он. — Потому что этот запах есть запах бога.

Его прервали:

— Откуда вы знаете, святой отец? Вы же не чувствуете его.

— Мне не обязательно чувствовать, — сказал святой отец. — Священное Писание ясно высказывается об этом запахе. Мы находимся в деревне, отмеченной небесами.

Тобиас, как лунатик, слонялся из стороны в сторону

в гуще этого праздника. Он привел Клотильду посмотреть, что такое деньги. Вместе они представляли, как выигрывают неслышанную сумму в рулетку, и делили эти деньги, и оказывались сказочно богатыми, разжившись таким образом. А как-то ночью не только они, но и все люди, нахлынувшие в городок, увидели денег куда больше, чем могло вместить их воображение.

Той ночью приехал господин Герберт. Он появился никем не замеченный и поставил столик посреди улицы, водрузив на него два огромных баула, доверху набитых банкнотами. Их было так много, что сначала никто не понял, что это за бумажки, ибо немислимо было представить такое количество денег сразу. Господин Герберт принялся трезвонить в колокольчик и трезвонил до тех пор, пока вокруг него не собралась толпа.

— Я самый богатый человек на земле, — заявил он. — У меня столько денег, что их уже некуда девать. А сердце — слишком большое, и ему тесно в груди. Поэтому я езжу по свету и везде разрешаю проблемы рода человеческого.

Он был толстым и краснолицым. Болтал он громко и без умолку, размахивая при этом маленькими ручками, слабыми и как будто побритыми. Он разглагольствовал не менее четверти часа, устал и остановился передохнуть, после чего снова тряхнул колокольчиком и опять заговорил. На этот раз кто-то помахал в воздухе шляпой и остановил его.

— Все ясно, мистер. Можно не говорить больше, а сразу раздать деньги.

— Так не пойдет, — возразил господин Герберт. — Нет никакого смысла делить деньги ни с того ни с сего. К тому же это будет несправедливо.

Он взглядом нашел того, кто его перебил, и подал ему знак приблизиться. Толпа расчистила проход.

— Вместо этого, — продолжил господин Герберт, — наш нетерпеливый приятель поможет мне сейчас продемонстрировать самую справедливую систему распре-

деления богатств. — Он протянул руки и помог мужчине подняться на возвышение.

— Как тебя зовут?

— Патрицио.

— Великолепно, Патрицио, — сказал господин Герберт. — Как у каждого, у тебя наверняка есть проблема, которую ты хотел бы разрешить.

Патрицио снял шляпу и кивнул головой.

— Какова же она?

— Что скрывать, — сказал Патрицио. — Проблема в том, что у меня нет денег.

— И сколько тебе надо?

— Сорок восемь песо.

Господин Герберт издал удовлетворенный возглас.

— Сорок восемь, — повторил он, и в толпе слышались смешки.

— Очень хорошо, — продолжил господин Герберт. — Теперь скажи, что ты умеешь делать?

— А все, что угодно.

— Нет, назови что-нибудь, что ты делаешь лучше всего, — велел господин Герберт.

— Это можно, — согласился Патрицио. — Лучше всего я передразниваю птиц.

Довольный, господин Герберт обратился к толпе:

— Итак, сеньоры и сеньорины, наш приятель Патрицио, который отменно хорошо изображает пение птиц, сейчас продемонстрирует нам сорок восемь различных голосов и этим разрешит основную проблему своей жизни.

Среди ошеломленного молчания Патрицио заверещал по-птичьи. Свистом и щелканьем он изобразил всех известных толпе птиц, а когда известные кончились, он дополнил их число другими, которых никому не удалось узнать. Господин Герберт попросил у слушателей аплодисментов и вручил Патрицио сорок восемь песо.

— А теперь, — сказал он, — подходи один за другим.

До завтра, в точности до этого часа, я останусь у вас и буду разрешать ваши проблемы.

О начавшемся ажиотаже старый Хакоб узнал из оживленных разговоров людей, проходящих мимо его дверей. С каждым новым слухом сердце его воспламенялось все больше и больше, пока наконец он не почувствовал, что оно готово лопнуть в груди.

— Что вы думаете об этом гринго? — спросил он.

Дон Максимо Гомес пожал плечами.

— Должно быть, он филантроп.

— Если бы я умел хоть что-то делать, — сказал старый Хакоб, — я мог бы сейчас разрешить свою маленькую проблему. Суший пустяк. Всего двадцать песо.

— Вы очень хорошо играете в шашки, — заметил дон Максимо Гомес.

Старый Хакоб, казалось, не придавал значения его словам. Но когда дон Максимо удалился, Хакоб завернул доску и коробку с шашками в газету и отправился бросать вызов господину Герберту. Он пристроился в хвост длинной очереди и простоял в ней до середины ночи. В полночь господин Герберт закрыл свои баулы и заявил, что прощается до утра.

Господину Герберту не хотелось спать. В сопровождении двух мужчин, несших его мешки, он отправился в заведение Катарино. Но и туда за ним проследовала толпа, обремененная проблемами. Он вновь взялся их разрешать и разрешал до тех пор, пока в заведении Катарино не осталось никого, кроме тамошних женщин и мужчин, проблемы которых уже были разрешены. Лишь в глубине зала сидела одинокая женщина, безнадежно обмахиваясь рекламным картоном.

— Эй, — крикнул ей господин Герберт, — а какая проблема у тебя?

Женщина перестала обмахиваться.

— Я не суюсь в ваш праздник, мистер, — бросила она через зал. — Какие у меня проблемы!.. Мне суждено быть проституткой, потому что я родилась из мужских яиц.

Господин Герберт пожал плечами. Он продолжал пить охлажденное для него пиво, время от времени поглядывая на открытые баулы, которые по-прежнему поджидали новых страждущих. В конце концов женщина не выдержала, отделилась от компании, уже окружившей ее за столом, и вполголоса обратилась к господину Герберту. Оказалось, что ее проблема составляла пятьсот песо.

— А сколько тебе платят за раз? — спросил господин Герберт.

— Пять монет.

— Подумай хорошенько, — предупредил он. — Пятьсот песо — это ведь сто мужчин.

— Плевать, — сказала она. — Если деньги при тебе, это будут последние сто мужчин в моей жизни.

Господин Герберт посмотрел на нее. Она была очень молода, с тонкой шеей и хрупкими кистями рук, но в глазах ее светилась решимость.

— Ладно, — согласился он. — Иди в комнату, я пришлю их туда. Каждого со своими пятью песо.

Он вышел на улицу и принялся трезвонить в колокольчик. Когда в семь часов утра Тобиас подошел к заведению Катарино, двери его еще не были заперты. Огни уже не горели, но господин Герберт, полусонный и раздущийся от пива, суетился внутри, регулируя очередь мужчин в комнату девушки.

Он заставил войти и Тобиаса. В полумраке девушка долго вглядывалась в его лицо и, узнав, была удивлена.

— И ты?..

— Мне велели, — сказал Тобиас. — Он дал мне пять песо и приказал не задерживаться.

Девушка сняла с кровати мокрую от пота простыню и попросила Тобиаса взяться за ее концы. Простыня была тяжелой, как сырая парусина. Они выкручивали ее до тех пор, пока простыня не приобрела свой обычный вес. Перевернув матрац, они обнаружили с другой стороны проступившие мокрые пятна.

Тобиас сделал все, что ему полагалось сделать. Уходя, он положил свои пять песо в гору бумажек, которая росла рядом с кроватью.

— Зови всех, кого увидишь, — сказал ему господин Герберт. — Интересно посмотреть, успеем ли мы закончить это до полудня.

Девушка приоткрыла дверь и попросила немного пива. Она оглядела мужчин, дожидających своей очереди.

— Сколько еще? — спросила она.

— Шестьдесят три, — ответил господин Герберт.

Старый Хакоб целый день безуспешно преследовал господина Герберта с шахматной доской. Только к вечеру подошла наконец его очередь, и он рассказал господину Герберту о своей проблеме. Тот выслушал его внимательно и принял вызов. Прямо на улице, на высоком помосте, они установили столик и два стула, и старый Хакоб начал партию. Он заранее продумал ходы и двигал шашки с небывалой осмотрительностью. Но проиграл.

— Сорок песо, — предложил господин Герберт. — Сорок песо, и я дам вам фору.

Он начал партию и снова ее выиграл. Его рука едва касалась шашек. Играл он небрежно, почти не глядя на доску и заранее зная, как пойдет его противник. И все время выигрывал. Толпа устала следить за игрой. Когда старый Хакоб решил наконец сдаться, он оказался должен пять тысяч семьсот сорок два песо и двадцать три сентазо.

В лице его не дрогнул ни один мускул. Он записал эту цифру на бумажку, которая хранилась в его портмоне, сложил доску, убрал шашки в коробку и завернул все это в газету.

— Делайте со мной что хотите, — сказал он, — но, прошу вас, оставьте мне эти вещи. Я обещаю провести остаток своих дней за игрой и вернуть вам деньги.

Господин Герберт посмотрел на часы.

— От души сожалею, — сказал он. — Но время разрешения проблем истекает через двадцать минут. — Он выдержал паузу и убедился, что противнику нечего возразить. — Что у вас осталось, кроме этих вещей?

— Моя честь.

— Я имею в виду вещь, — пояснил господин Герберт, — которую можно было бы красить кистью и пилить пилой.

— Дом, — догадался старый Хакоб. — Он ничего не стоит, но это дом.

И господин Герберт стал владельцем дома старого Хакоба. Он стал владельцем домов и собственности и других, кто также не мог выполнить обещанного, но зато устроил целую неделю музыки, фейерверков, соревнований канатоходцев и сам руководил праздником.

Это была памятная для всех неделя. Господин Герберт пообещал устроить городку прекрасную судьбу и сам намалевал на холсте картину с изображением города будущего, где были громадные здания из стекла и танцевальные площадки на крышах. Холст выставили на всеобщее обозрение. Люди смотрели, пораженные, пытаясь найти себя в нарисованной на улицах толпе, но прохожие на картине были так хорошо одеты, что никто не отважился найти себя среди них. Сладкие грезы томил людские сердца. Люди смеялись над печалью, одолевавшей их в октябре, и купались в туманных муравах надежды до тех пор, пока господин Герберт не потрянул своим колокольчиком в последний раз и не объявил праздник закрытым. Только после этого он решил наконец отдохнуть.

— Вы умрете от такой жизни, — печально сказал ему старый Хакоб.

— У меня столько денег, — возразил господин Герберт, — что мне нет никакого смысла умирать.

Он повалился на кровать в доме старого Хакоба и храпел, как лев. Он не проснулся ни на следующее утро, ни наутро третьего дня. Он спал без перерыва день за

днем, а люди ждали его пробуждения и устали ждать. Чтобы как-то утолять голод, они стали выкапывать крабов на пляже. Новые пластинки успели состариться, и уже никто не мог слушать их без слез, так что заведение Катарина пришлось закрыть.

Когда прошло уже столько дней, что жители сбились со счета, в дверь старого Хакоба постучал святой отец. Хакоб теперь вынужден был запирать дверь изнутри — предметы в его доме плавали по воздуху, потому что дыхание спящего успело израсходовать часть кислорода и лишило предметы их веса.

— Я хочу поговорить с ним, — сказал святой отец.

— Вам придется подождать, — ответил старый Хакоб.

— Я не могу ждать, у меня нет времени.

— Садитесь и ждите, святой отец, — печально отозвался Хакоб. — Расскажите, как там в мире? Я давно уже не имею никаких вестей.

— Люди бегут, — сказал святой отец, — и скоро город опять станет таким, как был. Это единственная новость.

— Они вернуться, — вздохнул старый Хакоб. — Они вернуться, когда море снова запахнет розами.

— До той поры нужно как-то поддерживать веру оставшихся, — сказал святой отец. — Нужно срочно начинать строительство храма.

— Для этого вы и разыскиваете мистера Герберта? — догадался старый Хакоб.

— Да, — сказал святой отец. — Американцы любят благотворительствовать.

— Тогда, святой отец, ждите, — сказал старый Хакоб. — Может быть, он и проснется.

Они сыграли в шашки. Партия была долгой и упорной и продолжалась несколько дней. Господин Герберт не проснулся.

В конце концов святой отец посчитал унизительным для себя столь долгое ожидание и ушел. Он стал хо-

дить повсюду с медным блюдечком, выпрашивая пожертвования на строительство храма. Ему подавали, но смехотворно мало. Святой отец охрип от уговоров — красноречие отбирало так много сил, что он буквально таял на глазах. Кости его начали постукивать при ходьбе, а в одно прекрасное воскресенье он вдруг поднялся на две четверти над землей, чего, к сожалению, никто не заметил. Раздосадованный святой отец упрятал рясу в чемодан, в другой сложил собранные деньги и простился навсегда.

— Запах больше не вернется, — заявил он тем, кто пытался отговорить его. — Нужно со всей очевидностью признать, что город впал в смертный грех.

Когда господин Герберт проснулся, городок уже снова стал таким, каким был до его приезда. Дожди спрессовали мусор, оставленный на улицах праздничной толпой, и землю вновь покрыла корка, сухая и твердая, как кирпич.

— Сколько же я спал? — зевнул господин Герберт.

— Целую вечность, — сказал старый Хакоб.

— Я умираю с голоду.

— У нас теперь все умирают, — сказал старый Хакоб. — У нас остался один способ утолять голод — выкапывать крабов на пляже.

Там-то Тобиас и встретил господина Герберта, роющимся в песке; грязная пена падала с его губ. С удивлением Тобиас понял, что богатые, когда они голодны, очень похожи на бедных. Крабов господину Герберту накопать не удалось. Когда сгустился вечер, он позвал Тобиаса поискать что-нибудь съедобное в глубинах моря.

— Это страна мертвых, — предупредил его Тобиас. — Только мертвым дано знать, что там.

— И еще ученым, — сказал господин Герберт. — На большой глубине, гораздо глубже моря кораблекрушений, живут черепахи с превосходным мясом. Раздевайся, и пойдем.

И они пошли. Они нырнули и начали уходить в глу-

бину сначала полого, а потом очень круто, все глубже и глубже, так что перестал быть виден солнечный свет, а затем и свет моря, и предметы можно было различить только благодаря их собственному свечению. Они проплыли мимо затонувшей деревни и увидели мужчин и женщин на лошадях, застывших вокруг музыкального киоска. В деревне до сих пор сохранялся солнечный день, и живые цветы продолжали зеленеть на террасах.

— Было воскресенье и примерно одиннадцать часов утра, — определил господин Герберт. — Деревня погибла в результате катастрофы.

Тобиас повернул было в сторону деревни, но господин Герберт подал ему знак следовать за ним в глубину.

— Там розы, — объяснил Тобиас. — Я хотел, чтобы Клотильда наконец их узнала.

— Заглянешь сюда в другой раз, — сказал господин Герберт. — Сейчас я умираю с голоду.

Он спускался вниз, как осьминог, делая длинные пульсирующие движения. Тобиас, который с трудом за ним поспевал, подумал, что так, должно быть, плавают все богатые. Они миновали море человеческих катастроф и вторглись в море умерших.

Здесь было столько людей, сколько Тобиас никогда не видел наверху. Они покачивались безвольно, плавая там и здесь, и у всех было безмятежное выражение лица.

— Это очень старые мертвые, — сказал господин Герберт. — Понадобились века, чтобы они оказались в этом царстве покоя.

Еще глубже, в водах недавно умерших, господин Герберт задержался. Тобиас нагнал его, и оба они молча наблюдали, как мимо проплывала очень молодая женщина. Женщина плыла на боку, с открытыми глазами, и шлейф диковинных цветов сопровождал ее.

Господин Герберт сунул в задумчивости указательный палец в рот и оставался в таком положении до тех пор, пока не исчезли из виду последние цветы.

— Это самая красивая женщина из всех, что я видел, — сказал он.

— Это жена старого Хакоба, — вдруг понял Тобиас. — Она стала моложе на пятьдесят лет, но это она. Я уверен.

— Она много путешествовала, — заметил господин Герберт. — За ней тянутся цветы всех морей.

Они наконец достигли дна. Господин Герберт нагнулся и принялся шарить по песку, волнистому, как стиральная доска. Тобиас последовал его примеру. Когда глаза привыкли к темноте, он обнаружил, что дно густо устилают черепахи. Тысячи черепах, сплюснутых толщей воды и совершенно неподвижных, будто окаменевших.

— Они живые, — сказал господин Герберт. — Но они спят уже миллионы лет.

Он подбросил одну вверх, мягким движением, каким подбрасывают птенца, и подхваченное течением спящее животное устремилось к поверхности. Тобиас поднял ему вслед голову и увидел море насквозь.

— Это похоже на сон, — сказал он.

— Тебе лучше помалкивать о том, что ты видел, — сказал господин Герберт. — Представь себе, что начнется, если люди узнают о подобных вещах.

Была уже полночь, когда они вернулись домой. Они разбудили Клотильду, и та разогрела им воду. Господин Герберт отсек голову первой черепахе, но стоило взяться за панцирь, как ее сердце выскочило из груди, и они, все трое, в свете луны гонялись по патио за скачущим сердцем черепахи. Они набросились на еду и насыщались до тех пор, пока не стало трудно дышать.

— Ничего не поделаешь, Тобиас, — сказал господин Герберт. — Нужно смотреть правде в глаза.

— Да.

— А правда состоит в том, что запах никогда больше не вернется.

— Нет, вернется.

— Не вернется, — сказала Клотильда. — Он не вернется потому, что его попросту никогда не было на свете. А весь шум поднялся из-за тебя.

— Но ты же чувствовала запах, помнишь? — сказал Тобиас.

— В ту ночь я была не в себе, — возразила Клотильда. — А теперь не верю ни во что из того, что было.

— Я уезжаю, — сказал господин Герберт. И добавил: — Вам тоже советую уезжать. В мире слишком много хорошего, чтобы подышать с голоду в этой дыре.

Он ушел. А Тобиас остался в патио, считая звезды на небе, и обнаружил, что с прошлого декабря их стало на три больше. Клотильда позвала его спать, но он не обратил на нее внимания.

— Ну иди же, — звала она. — А то я забуду, что была когда-то женщиной.

Но Тобиас долго не отзывался. Когда он вошел в дом, Клотильда уже спала. Она зашевелилась и открыла глаза, но он был так утомлен, что путал одно с другим, и дело не пошло у них дальше дождевых червяков.

— Ты совсем сошел с ума, — огорченно сказала Клотильда. — Тебе надо попробовать думать о другом.

— Сейчас я как раз и думаю о другом.

Клотильда поинтересовалась, о чем же именно, и он решил поведать ей обо всем, но только с условием, что об этом не узнает ни один человек. Клотильда пообещала.

— В глубинах моря, — сказал Тобиас, — есть деревня с белыми домиками и миллионами цветов на террасах.

Клотильда сдавила пальцами виски.

— Тобиас, — простонала она. — Тобиас, умоляю тебя. Не нужно начинать все сначала.

Тобиас промолчал. Он перевернулся на другой бок и постарался заснуть. Это удалось только тогда, когда бриз переменял направление и крабы оставили его в покое.

САМЫЙ КРАСИВЫЙ В МИРЕ УТОПЛЕННИК

Дети первыми увидели, как что-то таинственное и темное, покачиваясь на волнах, приближается к берегу, и вообразили себе, что это корабль. Но у корабля не было ни мачт, ни флага, и кто-то предположил, что это кит. Его вынесло на берег, облепленного водорослями и медузами, запутавшегося в рыбачьих сетях и обрывках корабельных снастей, и только разобрав все это, дети поняли, что перед ними утопленник.

Они играли с ним весь день, закапывая в песок и снова откапывая, пока их не заметил кто-то из взрослых и не всполошил всю деревню. Мужчины, несшие утопленника к ближайшему дому, обратили внимание, что он весит гораздо больше обычных мертвецов, почти столько же, сколько лошадь, заключив из этого, что он долго болтался в море и кости его насквозь пропитались водой. Покойника положили на пол, и он оказался таким огромным, что ноги едва уместились в доме, но и в этом знающие люди не нашли ничего удивительного, так как утопленники имеют обыкновение расти и после смерти. Вообще говоря, только наличие рук и ног позволяло узнать в нем труп человеческого существа — тело покрывал твердый панцирь из морских ракушек, а пахло оно рыбой и илом.

Даже не видя лица утопленника, люди знали — он не из их деревни. Деревушка, выросшая на пустынной оконечности мыса, едва ли насчитывала двадцать коекак сколоченных из досок домов, в каменистых двори-

как которых не могли прижиться цветы. Земля была такой твердой, что в округе не росло ни одного дерева; матери постоянно боялись, как бы ветер не унес играющих на открытом месте ребяташек, а редких людей, доживших до старости и умерших своей смертью, приходилось сбрасывать в море с прибрежных скал. Но море было спокойным и щедрым. Мужчины из года в год рыбачили на одних и тех же семи лодках, и им достаточно было переглянуться, чтобы понять — все свои на месте.

В тот вечер никто не вышел в море. Мужчины отравились выяснить, не пропал ли кто-нибудь в соседних деревнях, а женщины остались с утопленником. Чтобы не терять времени даром, они смыли с его лица грязь, распутали волосы, выбрав из них стебли морских растений, и скребком для очистки рыбы содрали ракушки. Водоросли и ракушки оказались незнакомыми, из тех, что встречаются только в глубинах далеких океанов, а одежда утопленника была изодрана в клочья — его, как видно, долго трепало в шершавых коралловых лабиринтах. Женщины не могли не заметить, что покойный встретил свою смерть с достоинством — в его лице не было выражения одиночества, столь частого у погибших в море, как не было и отвратительного убожества, отличающего речных утопленников. Мало-помалу женщины очистили покойника от наслоений, и, когда он предстал перед ними в первоизданном виде, у всех перехватило дыхание. Это был самый высокий, самый красивый и самый мужественный мужчина из всех существующих на свете, величественный настолько, что даже мысли о нем разом не укладывались в голове.

Ни одна кровать в деревне не могла вместить его тело, и не было стола, на который можно было бы его положить. Ему коротки оказались брюки самых высоких мужчин, и тесны рубашки самых плотных, и малы самые большие в деревне ботинки. Очарованные его статностью и красотой, женщины решили своими руками сшить ему скорбные одежды — брюки из доброго

куска паруса и рубашку из нарядного голландского полотна, — чтобы покойный имел вид, достойный смерти. Они уселись в кружок и принялись шить, после каждого стежка поглядывая на утопленника и с удивлением отмечая, что море за окном вздыхает как-то особенно печально, а ветер — как-то непривычно нежен, и все это не иначе как из-за выброшенного на берег мертвеца. Если бы этот великолепный мужчина жил в их деревне, думали женщины, то в его доме, без сомнения, были бы самые широкие двери, и самый высокий потолок, и самый крепкий пол; он сделал бы себе кровать из главного корабельного шпангоута, и его жена была бы самой счастливой. Власть его была бы так велика, что позови он любую рыбу, и она сама шла бы к нему в сети, а в работу он вкладывал бы столько старания, что родники зажурчали бы меж раскаленных камней и на прибрежных скалах запестрели бы цветы. Женщины тайком сравнивали усопшего со своими мужьями и с грустью понимали, что он способен был в одну ночь сделать то, чего их мужьям не дано было сделать за всю жизнь, и они разочаровывались в глубинах своих сердец и раз и навсегда отвергали мужей как немощных и ни на что не годных. Забыв обо всем, они блуждали в трепетных рошицах своих фантазий, когда самая старая из них, та, что из-за возраста смотрела на утопленника больше с состраданием, чем со страстью, вдруг сказала с печальным вздохом:

— Я по лицу вижу, что его звали Эстебан.

С этим нельзя было не согласиться. Даже беглого взгляда было достаточно, чтобы понять — у него не могло быть другого имени. Правда, самым строптивым — а это всегда самые молодые — приятнее было думать, что одень его поприличнее, укрась цветами, а главное, нацепи на него ботинки из лакированной кожи, и он запросто мог бы сойти за Лаутаро, но это была лишь иллюзия. Сколько они ни брали полотна, его все оказывалось мало, поэтому брюки, неладно скроенные и еще

хуже сшитые, никак на него не налезали, а пуговицы снова и снова отлетали от рубашки, не выдерживая скрытых сил его сердца. К полуночи ветер стих, и море стало ленивым и сонным. Наступившая тишина развеяла последние сомнения: это, конечно же, Эстебан. Одевая его, и причесывая, и подрезая ему ногти, и разбирая бороду, женщины не могли сдержать горестных вздохов, терзаемые мыслью, что столь прекрасный мужчина так и останется лежать на полу. Они поняли вдруг, как он, бедняжка, должно быть, страдал из-за своего огромного тела, если даже после смерти оно доставляет столько хлопот. Они увидели его обреченным всю жизнь боком входить в двери и стучаться головой о притолоки, а в гостях нелепо переминаясь с ноги на ногу, не находя места своим большим розовым рукам, нежным, как ласты морской коровы, в то время как хозяйка торопливо ищет стул покрепче и бормочет, ощущая пустоту под ложечкой: ну вот разве что сюда, Эстебан, присаживайтесь, сделайте милость, — а он, приросший спиной к стене и смущенно улыбающийся: не беспокойтесь, сеньора, мне и здесь хорошо, — ощущая гудение в пятках и жжение в спине, уже стертой о стены в других домах, где всегда повторяется одно и то же: не беспокойтесь, сеньора, мне и здесь хорошо; и все ради чего — ради того, чтобы не сгореть со стыда на обломках развалившегося под ним стула; и догадываться, что люди, говорящие: куда же ты, Эстебан, подожди, сейчас кофе закипит, будут за его спиной шушукаться и хихикать: ну наконец-то он ушел, этот красивый болван, слава богу, вздохнем свободно без этого глупого верзилы. Да, так думали женщины, горюя над покойником незадолго до рассвета. Кто-то догадался накрыть ему лицо платком, чтобы утопленника не беспокоил яркий свет, и с платком на лице он стал таким безвозвратно умершим, таким беспомощным, таким похожим на обычных мужчин, что женские сердца начали разрываться от горя. Первой

не выдержала и зарыдала самая молодая. Остальные тоже завздыхали, переглядываясь между собой, и начали всхлипывать; с каждой минутой слезы все больше щипали им глаза, потому что утопленник с каждой минутой все больше становился Эстебаном, и вот уже они заголосили хором: о, бедный Эстебан, ты был самым добрым, и самым отзывчивым, и самым беззащитным человеком на земле.

Когда мужчины, сойдясь со всех сторон, сообщили, что у соседей тоже никто не пропадал, женщины не смогли сдержать счастливых улыбок.

— Слава богу, — зашептали они. — Значит, он — наш!

Поначалу мужчины не придали значения женским слезам и вздохам. Утомленные бесконечными хлопотами той ночи, они хотели поскорее сбить с рук докучливого гостя, и сделать это по холодку, пока не начало палить солнце. Из остатков бизаней и гротов они соорудили носилки, достаточно прочные, чтобы дотащить мертвеца до прибрежных скал, и вытащили на свет якорь от торгового судна, чтобы прицепить его к ноге утопленника и отправить тело прямехонько в самые глубины, где пухнут от скуки безглазые рыбы и оторвавшиеся от тросов водолазы и откуда никакие течения не смогут вернуть его на берег. Но чем слаженнее действовали мужчины, тем больше находилось у женщин уловок, чтобы тянуть время. Они суетились повсюду, как курицы, во время отлива клюющие червяков в песке, забегая то с одной стороны, чтобы надеть на шею покойнику ладанку попутного ветра, то с другой, прицепляя к его руке амулет правильного курса, да тут никакого терпения не хватит, ей-богу, уйди отсюда, женщина, и встань там, где ты не будешь мешать, а то я чуть не свалился из-за тебя на покойника; кончилось тем, что мужчины заподозрили неладное и начали ворчать между собой: а почему, спрашивается, такие цирлих-манирлих, и на кой нужны все эти побрякушки, если мертвяка через пару дней все

равно сожрут акулы; но женщины, не обращая на них внимания, все таскали и таскали покойнику в дорогу разные нужные вещички, толпясь возле тела и горькими вздохами пытаясь высказать то, что не нашло выражения в слезах; ну и мужское терпение наконец лопнуло, нет, в самом деле, тут и ангел не выдержит, столько шума из-за какого-то мертвеца, неизвестно сколько пробултыхавшегося в волнах, из-за какого-то шелудивого покойника, из-за утопленника дерьмового. И тогда одна из женщин, оскорбленная подобными словами, сорвала платок с лица усопшего, и мужчины сразу проглотили языки.

Не могло быть сомнений — перед ними лежал Эстебан. Об этом не нужно было орать во все горло, даже слепой узнал бы его. Сам сэр Уолтер Рэли, с его акцентом гринго, красным попугаем на плече и аркебузой, чтобы убивать людоедов, не мог бы произвести на мужчин такого впечатления, как этот большой человек в брюках не по росту и с босыми ногами, ногти на которых можно было срезать только острым ножом. По лицу утопленника было видно, что ему очень стыдно и он совсем не виноват, что он такой большой, и такой тяжелый, и такой красивый; да и вообще, если б знать, что так получится, он утонул бы в каком-нибудь укромном местечке, правда-правда, я своими руками привязал бы на шею якорь от галеона и споткнулся бы невзначай где-нибудь в прибрежных скалах, чтобы не доставлять никому хлопот накануне Святой среды, валяясь у вас под ногами этим отвратительным трупом, с которым я лично не хотел бы иметь ничего общего. В лице Эстебана было столько искренности и чувства, что даже самые подозрительные мужчины, опасавшиеся, что их женам долгими одинокими ночами наскучит мечтать о них, живых, и они будут мечтать об утопленниках, даже эти мужчины, и другие, более суровые, дрогнули сердцем от правдивости Эстебана.

Ему устроили самые пышные похороны, какие только возможны для бездомного утопленника. Женщины пошли в соседние деревни за цветами и вернулись оттуда в сопровождении других женщин, которые хотели своими глазами увидеть Эстебана, а увидев, сами отправлялись за цветами для него, так что в итоге собралось столько людей и цветов, что негде было шагу ступить. В последний час людям стало жалко возвращать Эстебана морю сиротой, и среди самых достойных они выбрали для него отца и мать; кто-то захотел стать ему братом, кто-то свояком, кто-то племянником, и все жители деревни вскоре оказались породненными между собой. Плач по утопленнику стоял такой, что некоторые моряки, услышав его, сбились с курса, а один из них, как рассказывали, велел даже привязать себя к мачте, вспомнив легенды о сиренах. Не все удостоились чести нести покойника по крутому склону прибрежных скал, а когда процессия тронулась, мужчины и женщины вдруг с горечью увидели, что их улицы слишком тесны, дворики слишком засушливы, а сновидения бесцветны и убоги перед красотой и блеском этого утопленника. Они решили пустить его в море без якоря, чтобы он смог вернуться, если захочет, и в ту короткую, как вспышка молнии, секунду, когда тело низвергалось в пучину, каждый почувствовал спазм в горле. Не нужно было смотреть друг на друга, чтобы понять — кого-то близкого нет среди них и больше уже никогда не будет. Но правда состояла в том, что и они теперь не смогут быть прежними; они непременно изменятся, как изменится все вокруг: двери домов станут шире, потолки — выше, полы — прочнее, для того чтобы воспоминание об Эстебана могло свободно ходить повсюду, не натываясь на притоки; и теперь никто не посмеет шептать: ну слава богу, наконец-то помер этот красивый болван, дал дуба этот глупый верзила, потому что в память о нем они распишут фасады домов веселящими душу красками и свернут себе шеи, но откопают наконец родники среди кам-

ней и разведут цветы на прибрежных скалах, чтобы пассажиры океанских кораблей просыпались в открытом море, сведенные с ума запахом садов, а их капитан, бренча военными медалями, спускался бы со шканцев в своем парадном мундире, со своей астролябией и Полярной звездой и, указывая на горизонт, на холм, утопавший в благоухающих розах, повторял бы на четырнадцать языках: посмотрите в ту сторону, леди и джентльмены, туда, где ветер столь кроток, что ночует под кроватями младенцев, а солнце светит так ярко и повсюду, что подсолнухи не знают, куда поворачивать голову, — там, именно там стоит деревня Эстебана.

А СМЕРТЬ ВСЕГДА НАДЕЖНЕЕ ЛЮБВИ...

Сенатору Онесимо Санчесу оставалось жить шесть месяцев и одиннадцать дней, когда он встретил женщину всей своей жизни. Он встретил ее в Виррейском Розарии, двуликой деревушке, которая ночами служила тайной гаванью бойким судам контрабандистов, а при дневном свете являла собой самый убогий уголок пустыни на берегу унылого моря, уголок настолько захламленный, что нельзя было и предположить существование в нем девушки, способной круто изменить судьбу. Даже название деревни походило на скверную шутку, потому что единственную розу, которую в ней когда-либо видели, привез сам Онесимо Санчес, в тот день, когда повстречал Лауру Фарино.

Каждые четыре года деревушка становилась обязательным пунктом в предвыборной кампании сенатора. В тот день, как и всегда прежде, в деревню с раннего утра начали прибывать фургоны его агитационной команды. Чуть позднее грузовики доставили в Виррейский Розарий специально нанятых индейцев, которых сенатор возил с собой для заполнения площадей и улиц во время его выступлений. А незадолго до одиннадцати, под аккомпанемент музыки и фейерверков, в сопровождении эскорта, прибыл правительственный автомобиль цвета земляничного напитка. Сенатор Санчес сидел, невозмутимый и моложавый, в прохладе автомобиля, но стоило открыть дверцу, как горячее дыхание пустыни обожгло его кожу, а рубашка из натурального шелка мгно-

венно стала мокрой. Сенатор почувствовал себя вдруг постаревшим, и разбитым, и одиноким, как никогда. Ему только что исполнилось сорок два года, он блестяще окончил курс в Геттингене, по специальности инженер-металлург, и с тех пор постоянно, хотя и несколько поверхностно, изучал классических латинских авторов в скверных переводах. Он был женат на блистательной немке, у него было пятеро детей, и все они были счастливы вместе, а он среди них чувствовал себя самым счастливым, вплоть до того дня, когда три месяца назад ему объявили, что он умрет к следующему Рождеству.

Пока завершались приготовления к митингу, сенатору удалось немного отдохнуть в специально отведенном для него доме. Перед тем как лечь, он положил в воду живую розу, путешествующую с ним через пустыню, и позавтракал диетическими зернами — он всегда возил их с собой, чтобы избежать традиционно пережаренного жаркого из козлятины, которое ему преподносили на всем протяжении пути. Не дожидаясь положенного часа, принял несколько болеутоляющих пилюль, чтобы их действие началось раньше, чем к нему придет боль. Поставив электрический вентилятор вплотную к плетеному гамаку, он растянулся в тени, дыша ароматом розы и сосредоточиваясь на том, чтобы не думать о смерти во время сна. Никто, кроме медиков, не знал, что он приговорен, и он скрывал свои изнуряющие боли не из тщеславия, а скорее из стыдливости.

Он полностью владел собой, когда в три часа дня вновь появился на людях, отдохнувший и свежий, в плотных льняных брюках и рубашке с нарисованными цветами, ободренный действием болеутоляющих пилюль. Вероломная смерть, разрушающая его изнутри, проявила себя лишь в том, что, поднявшись на трибуну, он почувствовал странное презрение к тем, кто теснился внизу, надеясь пожать его руку, и не испытал, как обычно, жалости к толпе босых индейцев, с трудом выносящих раскаленный булыжник площади. Движением руки,

почти гневным, он остановил аплодисменты и начал говорить, без жестов, устремив глаза на вздыхающее от жары море. Его глубокий голос, подчеркнутый отмеренными паузами, напоминал спокойное движение могучих вод; но слова, заученные наизусть и многократно повторенные, казалось, приходили ему в голову не ради правды, а лишь для того, чтобы опровергнуть фаталистическую сентенцию четвертой книги Марка Аврелия.

— Мы находимся здесь, чтобы заставить покориться природу, — начал он, не веря ни одному своему слову. — Мы больше не желаем быть пасынками у своей отчизны, пасынками, забытыми богом в этом царстве засухи и жажды, жалкими изгоями на своей собственной земле. Мы другие теперь, сеньоры и сеньорины, мы великие и счастливые!

Это были лозунги предвыборного фарса сенатора. Пока он говорил, помощники подбрасывали вверх пригоршни бумажных птичек, которые обретали в воздухе жизнь, кружились над дощатой трибуной и улетали к морю. Другие тем временем доставали из фургонов театральные деревья с войлочными листьями и за спиной толпы втыкали их в отравленную селитрой землю. Они вытащили и начали устанавливать картонный фасад с фальшивыми домами из красного кирпича и застекленными окнами, который должен был прикрыть убогие лачуги, окружавшие площадь.

Сенатор продолжил свою речь двумя пространными цитатами на латыни, давая возможность развернуться этому балагану. Он пообещал слушателям дождеваль-ные машины, переносные инкубаторы для съедобных морских животных, чудодейственные бальзамы, заставляющие расти на каменистых почвах овощи и анютины глазки на окнах. Убедившись, что строительство придуманного им мира закончилось, он указал на него пальцем.

— Вот такими мы будем, сеньоры и сеньорины, — прокричал он. — Смотрите! Вот такими мы будем!

Толпа обернулась. Океанский корабль из раскрашенной бумаги, который был выше самого высокого из домов искусственного города, проплывал по улице. И никто, кроме сенатора, не заметил, что частые уставки, разборки и перевозки с одного места на другое изрядно потрепали этот фальшивый рай, сделав его почти таким же тусклым, пропыленным и потраченным непогодой, как и сам Виррейский Розарий.

Первый раз за двенадцать лет Нельсон Фарино не вышел приветствовать сенатора. Он прослушал его речь, лежа в гамаке под навесом из свежесрубленных листьев, между обрывками послеполуденного сна. Навес и дом Фарино смастерил собственными руками, так же как некогда собственными руками он по-аптекарьски хладнокровно расчленил труп своей первой жены. Из тюрьмы в Кайенне он сбежал и вновь появился в Виррейском Розарии пассажиром судна, груженного безобидными красными попугаями ара. Он объявился в компании очень красивой и порочной негритянки, которую подцепил в Парамарибо и которая родила ему дочь. Негритянке не пришлось разделить участь своей предшественницы, чьи куски послужили удобрением для маленького огородика цветной капусты, — она умерла своей смертью некоторое время спустя и была похоронена на местном кладбище, под своим голландским именем. Дочь унаследовала от матери грациозность и цвет кожи, а от отца — желтые, всегда удивленные глаза, так что Фарино не без основания предполагал, что растит у себя в доме самую красивую женщину на свете.

В первую же предвыборную кампанию, едва увидев Онесимо Санчеса, Нельсон Фарино попросил сенатора сделать ему фальшивое удостоверение личности, которое бы избавило его от опасных взаимоотношений с правосудием. Сенатор любезно, но твердо отказал. Фарино не сдался и в течение нескольких лет при всяком удобном случае под разными предлогами подсовывал

сенатору свою просьбу. Ответ был одним и тем же. На этот раз Фарино не стал даже вылезать из гамака, с грустью думая о том, что ему придется заживо сгнить в этом раскаленном логове пиратов. Когда раздались заключительные аплодисменты, он вытянул шею и поверх кольев, ограждающих палисадник, увидел обратную сторону senatorского фарса: спрятанных в пароходном чреве помощников, подпорки зданий и каркасы фальшивых деревьев. Всю скопившуюся злость он вложил в единственный плевок.

— Merde!¹ — сказал он. — C'est le Blacaman de la politique!²

После выступления, как обычно, сенатор обошел деревенские улицы, окруженный музыкой и ракетами и осаждаемый со всех сторон жителями, которые изливали ему свои невзгоды. Сенатор слушал всех доброжелательно и находил способ утешить каждого, не принимая, впрочем, на себя обременительных обязательств. Женщине, взобравшейся на крышу вместе с малолетними детишками, удалось перекричать людской гомон и шум фейерверка.

— Я не прошу многого, сенатор, — заявила она. — Всего лишь осла, чтобы возить воду из колодца Аоркадо.

Сенатор благосклонно оглядел шестерых ее исхудалых сыновей.

— А что твой муж? — спросил он.

— Он уехал искать счастья на остров Аруба, — ответила женщина. — А нашел красотку, из тех, что украшают свои зубки бриллиантами.

Толпа встретила ее слова хохотом.

— Хорошо, — согласился сенатор. — Осел у тебя будет.

И спустя некоторое время помощник приволок в

¹ Дерьмо! (фр.)

² Гнусный шарлатан! (фр.)

дом женщины вьючного осла, на боках которого несмываемой краской был написан один из лозунгов предвыборной кампании, чтобы никто не забыл, что осла подарил сенатор.

За время недолгого шествия по улице сенатор успел совершить множество маленьких добрых дел, он даже поднес ложку лекарства одному больному, который специально упросил вынести его кровать на порог дома, чтобы не пропустить торжественную процессию. На последнем перекрестке сенатор увидел поверх частоккола Нельсона Фарино в гамаке и нашел, что тот сильно сдал за последние годы.

— Как поживаете? — с вежливым безразличием приветствовал его сенатор.

Фарино перевернулся в гамаке и погрузил сенатора в печальный янтарь своего взгляда.

— *Moi, vous savez*¹, — ответил он.

Привлеченная разговором, в патио вышла дочь Нельсона Фарино. В простом крестьянском халатике, с лицом, намазанным кремом от солнца, и безвкусными безделушками, вплетенными в волосы, но, увидев ее, сенатор понял, что более красивой женщины не может существовать на всем свете. У него перехватило дыхание.

— Черт побери! — проговорил он. — Только господь бог мог додуматься до такой дьявольской красоты!

Той же ночью Нельсон Фарино как мог нарядил свою дочь и отправил ее к сенатору. Охранники с карабинами, клевавшие носами от жары, усадили ее дожидаться на единственный стул в приемной сенаторского дома.

Сенатор находился в соседней комнате, в обществе отцов Виррейского Розария, которых созвал, чтобы высказаться без обиняков, чего не мог позволить себе на выступлении перед толпой. Отцы Виррейского Розария

¹ Вы сами знаете, как (*фр.*).

были в точности такими же, как отцы всех прочих деревень пустыни, сенатор смотрел на них с отвращением и заученно произносил слова, которые ему приходилось повторять на подобных собраниях каждый раз. Рубашку его насквозь пропитал пот, и он пытался сушить ее прямо на теле горячей струей от электрического вентилятора.

— Нас с вами не осчастливишь видом бумажных птичек, — говорил он. — Вы, так же как и я, прекрасно понимаете, что день, когда в этом зловонном козлятнике появятся цветы и деревья, а в водоемах вместо козявок начнут плавать золотые рыбки, станет последним нашим днем здесь. Не так ли?

Ему никто не возражал. Произнося слова, сенатор выдернул из календаря картинку и сложил ее в виде большой бумажной бабочки. Он бездумно пустил бабочку в струю бегущего воздуха, и та, покружившись по комнате, вылетела в приотворенную дверь. Сенатор говорил властно и с раздражением, каждую минуту ощущая живущую внутри смерть.

— А раз так, — продолжал он, — нет необходимости повторять вам очевидную истину: мое переизбрание выгоднее вам, чем мне самому, потому что я готов еще терпеть протухшую воду в колодцах и пот индейцев, а в придачу и всех вас.

Лаура Фарино увидела бумажную бабочку, вылетевшую из дверей. Она оглянулась вокруг — охранники спали, обхватив руками оружие. Описав несколько кругов, картинка развернулась и, распластавшись, прилипла к стене. Лаура попыталась отковырнуть ее ногтем, но охранник, потревоженный раздавшимися в соседней комнате аплодисментами, остановил ее.

— Не оторвешь, — сказал он сквозь сон. — Она нарисована на стене.

Лаура села на свое место, и как раз в это время все собравшиеся стали расходиться. Сенатор провожал гос-

тей с порога своей комнаты, положив руку на дверной запор, и, когда передняя опустела, заметил Лауру Фарино.

— А ты зачем здесь?

— C'est de la part de mon père¹, — робко проговорила она.

Сенатор понял. Он с сомнением оглядел дремлющую охрану, а затем испытующе — Лауру Фарино, чья неправдоподобная красота, казалось, была более могущественной, чем притаившаяся в нем боль. И понял, что близкая смерть готова списать любой его грех.

— Входи, — сказал он.

В дверях комнаты Лаура застыла, очарованная: тысячи банковских билетов плавали в воздухе, порхая, как мотыльки. Сенатор выключил вентилятор, и банкноты, лишившись поддержки потока, опустились на пол.

— Вот видишь, — улыбнулся он. — Даже дерьмо может летать.

Лаура, как школьница, опустилась на табурет. У нее была упругая гладкая кожа, того густого солнечного цвета, какой имеет сырая нефть, волосы, напоминающие гриву молодой кобылицы, и огромные глаза, свечение которых было более загадочным, чем свет луны. Сенатор проследил за ее взглядом и увидел цветок, уже заметно пожухший от содержащейся в воде селитры.

— Это роза, — сказал он.

— Да, — отозвалась Лаура, и лицо ее стало растерянным. — Я видела такие в Риоаче.

Говоря о розах, сенатор опустился на походную кровать и принялся расстегивать пуговицы рубашки. Пиратская татуировка — пронзенное стрелой сердце — обнажилась слева на груди. Он бросил промокшую рубашку на пол и попросил Лауру помочь ему с ботинками.

Лаура опустилась на колени перед кроватью. Пока

¹ Я насчет своего отца (фр.).

она возилась со шнурками, сенатор разглядывал ее с пристальной задумчивостью, размышляя о том, кому из них двоих эта встреча принесет несчастье.

— Ты еще ребенок, — сказал он.

— Вовсе нет, — возразила она. — В апреле мне исполнится девятнадцать.

Сенатор пошевелился.

— Какого числа?

— Одиннадцатого, — сказала она.

Сенатор почувствовал себя свободнее.

— Мы оба Овны, — сказал он и добавил, улыбаясь: — Это знак одиночества.

Лаура не отреагировала на его слова, потому что никак не могла решить, что следует делать с ботинками. В свою очередь, и сенатор находился в нерешительности, потому что, как это ни странно, не имел опыта в случайно возникающих связях и смутно сознавал, что эта его любовь замешана на чьих-то гнусных намерениях. Чтобы выиграть время и еще раз обо всем подумать, он сжал Лауру коленями, обнял ее за талию и откинулся на спинку кровати. Тут он понял: она совершенно голая под платьем, уловил неясный запах горного животного, испускаемый ее телом, и почувствовал трепещущее от испуга сердце и выступивший на ее коже прохладный пот.

— Нас никто не любит, — вздрогнув, сказал он.

Лаура хотела что-то ответить, но воздуха ей хватило только на пугливый вздох. Сенатор потянул ее к себе и уложил рядом. Погасил свет, и в наступившей темноте тревожнее запахло розой. Отдавая себя на его милость, Лаура покорно закрыла глаза. Сенатор начал осторожно, едва касаясь, ласкать ее, постепенно распаяясь и скользя рукой все дальше и дальше, но там, где он ожидал найти то, что искал, рука его внезапно наткнулась на препятствие из железа.

— Что это у тебя?

— Замок, — испуганно прошептала Лаура.

— Какая глупость! — воскликнул сенатор, раздосадованный, и устало спросил о том, о чем уже и сам смутно догадался: — А где ключ?

Лаура почувствовала, что самое трудное осталось позади.

— Ключ у моего отца. Он сказал, что сразу передаст его вам, если только вы за ним кого-нибудь пришлете, и еще пришлете письменное обещание, что устроите его дело.

Сенатора передернуло.

— Французская сволочь! — прошептал он и прикрыл глаза, чтобы на минуту остаться одному и взять себя в руки.

«ПОМНИ, — всплыла в его голове цитата, — БУДЬ ЭТО ТЫ ИЛИ КТО ДРУГОЙ, КАЖДОГО ОЖИДАЕТ СМЕРТЬ, И ДАЖЕ ИМЕНИ ВАШЕГО СКОРО НЕ ОСТАНЕТСЯ НА ЗЕМЛЕ».

Сенатор дождался, пока уймется дрожь в пальцах.

— Скажи мне вот что, — попросил он. — Что говорят обо мне люди?

— Правду?

— Правду.

— Ладно, — Лаура осмелела. — Люди говорят, что вы хуже других, потому что вы не такой, как все.

Сенатор не удивился. Он долго молчал, смежив веки, а когда разлепил их, у него был вид человека, долго блуждавшего в глубинах подсознания.

— Какого черта, — сказал он. — Передай своему скотине отцу, что я улажу его дело.

— Я могу сама сходить за ключом, если хотите, — предложила Лаура.

Сенатор остановил ее.

— Бог с ним, с ключом, — сказал он. — Полежи немного со мной. Так хочется, чтобы кто-то был рядом, когда ты один.

И она устроила его голову у себя на плече и замерла, глядя на благоухающую розу. Сенатор обхватил ее за талию, зарылся лицом в ее подмышку, в запах горного животного, и отдался наконец страху. Через шесть месяцев и одиннадцать дней ему предстояло умереть, в такой же точно позе, но опозоренному и отвергнутому всеми после скандала, разразившегося из-за Лауры Фаррино, умереть одинокому и плачущему от ярости потому, что он умирал вдали от нее.

БЛАКАМАН
ДОБРЫЙ, ПРОДАВЕЦ ЧУДЕС

В то далекое воскресенье, когда я увидел его в первый раз, в бархатных подтяжках с золотой строчкой, с разноцветными перстнями на пальцах и бубенцами, вплетенными в косичку, я принял его просто за балаганного фокусника, сидящего на столе в центре портового города Санта-Мария-дель-Дарьен, среди склянок с самодельными снадобьями и пучков успокоительных трав, которые он возил по деревням Карибского побережья, но на этот раз он не пытался продать что-нибудь из этого индейского дерьма, а молил принести ему живую гадюку, чтобы на собственном теле продемонстрировать недавно изобретенное противоядие, единственное абсолютно надежное, сеньоры и сеньорины, от укусов змей, тарантулов, сколопендр и прочих ядовитых млекопитающих. На людей сильно подействовала его решимость, и кто-то в самом деле принес мапану в банке, одну из самых опасных, укус которой сразу отнимает у человека дыхание, и он схватил банку с такой жадностью, будто собирался проглотить змею, и сорвал крышку; змея, почувствовав себя свободной, метнулась молнией и, как бритвой, полоснула его по шее, сразу же лишив дыхания, а с ним и красноречия, и он едва успел проглотить противоядие, обдавшее толпу едким запахом дешевой фармакопеи, и повалился на землю, корчась и извиваясь так, словно кости его превратились в воск; но даже тогда он не перестал хохотать, сверкая всеми своими золотыми зубами. Он поднял такой шум,

что на броненосце с севера, двадцать лет назад зашедшем в порт с дружеским визитом, сыграли тревогу и объявили карантин, чтобы змеиный яд не проник на корабль, а из церкви, где служили мессу по случаю Вербного воскресенья, повалил народ, подхватив освященные пальмовые ветки, потому что каждый хотел посмотреть на отравленного, который начал уже надуваться воздухом смерти и стал в два раза толще, чем был; с губ умирающего стекала желтая пена, и он едва дышал рёбрами, но смех его был так весел, что бубенцы в косичке звенели не переставая. Вздувшееся тело разорвало швы на одежде и шнурки краг, перстни врезались в пальцы, лицо стало цвета протухшей солонины, а из зада поползли неожиданности предсмертных воздаяний, и тогда всем стало ясно, что он начал разлагаться, еще не умерев, и скоро превратится в кучу требухи, которую нужно будет скрести лопатой и собирать в мешок, но и эта требуха, казалось, будет хохотать, как сумасшедший. Это было невероятно, и на мостик броненосца высыпали морские пехотинцы с фотоаппаратами, и они нащелкали бы цветных фотографий, если бы вышедшие из церкви богомолки не накрыли умирающего одеялом и не положили сверху пальмовые ветки, во-первых, для того, чтобы тело не оскверняли своими лучами адские машины адвентистов, а во-вторых, чтобы добропорядочных христиан не смущал вид нечестивца, который даже умирает, давясь от смеха, и в-третьих, надеясь хотя бы душу усопшего освободить от яда. Все считали его уже мертвым, когда он вдруг отшвырнул одеяло и встал на ноги, еще не совсем твердо, но весьма решительно, и вот он уже карабкается на стол и снова кричит, что его противоядие это просто дар божий во флаконе, вы сами только что в этом убедились, сеньоры и сеньорины, хотя и стоит всего два квартильо, потому что было изобретено не для наживы, а для блага человечества, кто там говорит, что это одно и то же, и, пожалуйста, не толпитесь возле стола, потому что лекарства хватит всем.

Но люди толпились, и правильно делали, потому что на всех не хватило. Даже адмирал броненосца взял флакончик, убедив себя, что противоядие будет так же хорошо служить против отравленных пуль анархистов, а моряки, не сумевшие снять умирающего, не только сфотографировали его сидящим на столе, но и заставили давать автографы, и он подписывал им карточки до тех пор, пока судорога не свела руку. Была уже почти ночь, так что в порту остались лишь самые неприкаянные, и он оглядел нас, выискивая кого-нибудь поглупее для присмотра за своими лекарствами, и взгляд его, конечно же, остановился на мне. Это был взгляд судьбы, не только моей, но и его, потому что с тех пор прошло уже больше ста лет, а мы оба помним каждую мелочь, как будто это случилось в прошлое воскресенье. Мы складывали его чудесную аптеку в обитый пурпурным бархатом сундук, напоминающий гробницу мудреца, когда он заметил у меня внутри необычный свет, которого не видел до этого, и спросил небрежно, кто я такой, и я ответил, что я круглый сирота, самый круглый на свете, потому что мой отец еще не успел умереть; он расхохотался так громко, как не хохотал от яда, и захотел знать, что я делаю в этой жизни, и я ответил, что просто живу, живу, и все, потому что все остальные занятия не стоят гроша ломаного; уже рыдая от смеха, он поинтересовался, кем я собираюсь стать, и я ответил, на этот раз серьезно и искренне, что хочу стать прорицателем и ясновидцем, и тут он перестал смеяться и проговорил, как бы размышляя вслух, что об этом стоит подумать, это может получиться, потому что главное, чему не научишься, у меня уже есть, а главное в этом деле — глупое лицо. Той же ночью он переговорил с моим отцом и, отдав реал с двумя квартилью и колоду карт, безошибочно угадывающих супружескую неверность, купил меня навсегда.

Таков был Блакаман Злой, потому что Блакаман Добрый — это я. Он мог доказать астроному, что наступле-

ние февраля — всего лишь пришествие в мир невидимых мохнатых слонов, но когда судьба поворачивалась к нему спиной, сердце его становилось жестоким. В свои лучшие годы он бальзамировал умерших вице-королей и умел придать их лицам такую властность, что они еще много лет правили страной лучше, чем при жизни, и никто не отваживался предать их тела погребению, пока он снова не возвращал лицам обычное выражение мертвых, однако звезда его начала закатываться после того, как он изобрел шахматы, в которых невозможны были ни победа, ни поражение, а партия длилась бесконечно; игра эта довела до сумасшествия одного капеллана и стала причиной двух нашумевших самоубийств, после чего он покатился по наклонной плоскости, из толкователя снов превратился в потешного гипнотизера на днях рождения, потом в лекаря, удаляющего зубы путем внушения, и, наконец, в ярмарочного знахаря, так что ко времени нашего знакомства с ним избегали здороваться даже пираты. Мы кочевали по побережью с нашими сомнительными товарами, живя в постоянной тревоге за свечи, незаменимые для контрабандистов, потому что они делают человека невидимым, и за волшебные капли, возвращающие богобоязнь, — исключительно для католичек, желающих перевоспитать своих голландцев-мужей, впрочем, выбирайте сами, сеньоры и сеньорины, никто вас не заставляет, ибо нельзя насильно сделать человека счастливым. Мы могли бесконечно смеяться над подобными островами, но в действительности денег едва хватало на хлеб, и последней надеждой оставалось мое призвание ясновидца. Он запирали меня в своем могильном сундуке, переодетого японцем и закованного в цепи, и заставлял предсказывать, а сам в это время выворачивал наизнанку грамматику, убеждая мир в моих сверхъестественных способностях, потому что перед вами, сеньоры и сеньорины, несчастное дитя, истерзанное видениями Иезекииля, и вот вы, мужчина, на вашем лице читается недоверие, посмотрим,

отважитесь ли вы спросить, сколько вам осталось на этом свете, — но я каждый раз проваливал дело, потому что от рождения был не в ладу с числами и датами, и он проклял мою бездарность, объявив, что железа предчувствия повреждена у меня слишком сонливым пищеварением, и на всякий случай отходил меня палкой по голове, надеясь таким образом вернуть ускользающую удачу, после чего решил отвести меня к отцу и потребовать обратно потраченные впустую деньги. Но на этот раз нам не суждено было расстаться, потому что на следующий день он изобрел способ получения электричества из человеческих страданий и тут же взялся собирать швейную машинку, которая присосками соединялась с больной частью тела. Он оставил меня в качестве подопытного, и я проводил ночи, стеной от палочных ударов, которыми он ежедневно осыпал меня, задабривая фортуна, а вскоре к нему вернулся его прежний юмор, потому что мне с каждым днем становилось все хуже и хуже, а машинка от этого работала все лучше и лучше и в конце концов стала шить с бойкостью умелой послушницы и даже вышивать цветы и птичек в зависимости от места и силы боли. Мы совсем было поверили в победу над злой судьбой, когда до нас дошло известие о командире броненосца, который захотел повторить в Филадельфии опыт с противоядием и на глазах всего генерального штаба превратился в расползающееся желе из адмирала.

Прошло немало дней, прежде чем он снова смог смеяться. Мы уходили индейскими тропами, и чем дальше забирались в горы, тем отчетливее становились слухи о том, что под предлогом борьбы с малярией на побережье вторглись морские пехотинцы и теперь продвигаются в глубь страны, снося голову каждому встречному торговцу, старому и молодому, местным — в соответствии с приказом, неграм — по привычке, китайцам — ради смеха, индусам потому, что они имеют дело со змеями, а заодно стирая с лица земли флору и фауну и вы-

гробая вчистую все полезные ископаемые, так как их специалисты в наших делах сказали, что народы Карибского побережья могут обращаться в живую и неживую природу, если хотят обмануть гринго. Я никак не мог понять, откуда у морских пехотинцев такая злоба и почему мы так быстро бежим, и только когда мы оказались в безопасности под одинокими ветрами Гуахиры, он решился сказать, что его противоядие было всего лишь смесью ревеня со скипидаром, но что он дал два квартилью знакомому мошеннику, и тот в нужный момент принес змею без ядовитых зубов. Мы спрятались в развалинах колониальной миссии и стали дожидаться появления контрабандистов, последних, кому мы еще могли довериться, и единственных, кто был способен путешествовать по этим раскаленным селитровым пустошам. Сначала мы питались копчеными саламандрами и сорняками с развалин, и тогда нам еще хватало юмора смеяться над супом из вареных краг, которым мы пытались утолить голод, и только съев всю ряску с окрестных прудов, мы поняли, как нам не хватает оставленного мира. Поскольку тогда я еще не знал средств против смерти, я попросту лег дожидаться ее среди камней, устроившись на боку, который меньше болел, а он метался в бреду, терзаемый воспоминаниями об одной женщине, такой нежной, что она, вздыхая, могла проходить сквозь стены, но, как потом оказалось, и эти воспоминания были всего лишь жульнической попыткой разжалобить смерть любовными вздохами. Так или иначе, когда по всем приметам мы должны были отдать концы, он подошел ко мне, более живой, чем когда-либо, и всю ночь наблюдал за моей агонией, думая с такой силой, что до сих пор неизвестно, ветер ли свистал в ту ночь среди развалин или его лихорадочная мысль, а незадолго до рассвета сказал прежним своим голосом и с прежней решимостью, что теперь-то он знает правду и правда состоит в том, что это я искривил линию его судьбы,

так что затяни потуже ремень, парень, ибо как ты ее искривил, точно так ты ее и выпрямишь.

Тогда-то и исчезли последние капли нежности, которую я к нему еще питал. Он сорвал с меня лохмотья, закатал в колючую проволоку, натер раны селитрой, окунул меня в рассол моих собственных вод и подвесил за щиколотки на солнце, чтобы жара и непогода умерщвили мою плоть, да еще кричал, что всего этого слишком мало, чтобы успокоить его преследователей. В конце концов он бросил меня в карцер раскаяния, где в прежние времена миссионеры перевоспитывали еретиков, и оставил там гнить среди моих бед, а сам с вероломством искусного чревоугодника принялся изображать голоса курочек и поросят, журчание родников и звуки, с которыми лопается спелая тыква, чтобы я сходил с ума от мысли, что загибаюсь среди благодатного изобилия. Когда контрабандисты поделились с ним продуктами, он стал спускаться в карцер и давать мне немного поесть, чтобы я не умер с голоду, а в награду за свое милосердие клещами выдергивал мне ногти и стачивал зубы мельничными жерновами, и мне оставалось лишь молить о счастье отомстить ему когда-нибудь за мои страдания. Я едва сносил запах собственного гниения, а он еще бросал сверху объедки своих завтраков, протухших ящериц и разлагающихся птиц, чтобы окончательно отравить миазмами воздух подземелья. Не знаю, сколько прошло времени, но однажды он кинул сверху пованивающую тушку кролика, которую он оставил плесневеть специально, чтобы не давать мне, но я и тут не умер с горя, а лишь ощутил, что из всех человеческих чувств у меня осталась только ненависть, и я схватил кролика за уши и швырнул его о стену, представляя на месте несчастного животного своего безжалостного мучителя, и тут произошло то, что произошло, — кролик не только ожил с душераздирающим криком, но и, оттолкнувшись от стены, вернулся мне в руки, шагая по воздуху.

Так началась моя великая жизнь. С тех пор я брожу

по свету, избавляя от приступов малярии за два песо, делая зрячими слепых за четыре с полтиной, обезвоживая больных водянкой за восемнадцать, возвращая руки и ноги калекам от рождения за двадцать, а калекам в результате несчастного случая или драки — за двадцать два, а инвалидам войны, землетрясения, военно-морских десантов и прочих стихийных бедствий — за двадцать пять, и я лечу обычных больных одному мне известным способом, сумасшедших в соответствии с темой их бреда, детей за полцены, глупых за спасибо, и пусть кто-нибудь попробует сказать, что я не филантроп, а сейчас, сеньор командующий двадцатым флотом, прикажите своим ребятам убрать заграждения, чтобы могло пройти страждущее человечество, прокаженные — налево, эпилептики — направо, паралитики туда, где об них не будут спотыкаться, а менее срочные больные во второй ряд, и, пожалуйста, не толпитесь, потому что я не отвечаю, если вы спугаете болезни и будете вылечены от того, чего у вас нет, и пусть гремит музыка, пока не закипит медь труб, и палят ракеты, пока ангелы не зажарятся на небесах, и течет водка, пока не угаснет мысль, и пусть позовут шутов и фотографов, проституток и эквилибристов, и запишите все это на мой счет, дамы и господа, потому что пришел конец дурной славе Блакаманов и настают времена всеобщего веселья. А уловки политиков я оставлю на тот случай, если мне изменит мое искусство и кому-нибудь из вас станет хуже, чем было. Единственное, чего я не стану делать, так это воскрешать мертвых, потому что, открыв глаза, они всегда бросаются на того, кто нарушил их покой, и те из них, кто сразу не кончает жизнь самоубийством, вскоре умирают от разочарования. Поначалу мне прохода не давали разного рода мудрецы, которые хотели постичь природу моего дара, а постигнув, начинали пугать меня адскими сковородами, на которых уже жарится Симон Маг; они склоняли меня обратиться к покаянию и воздержанности, что позволит после смерти стать святым, но я отвечал, сохра-

няя почтительность к их сединам, что именно с этого я и начал в свое время. Правда заключается в том, что я по натуре артист и мне нет никакого смысла быть святым после смерти: единственное, чего я хочу, — это быть живым, чтобы нестись сломя голову на этой шестицилиндровой колыхаге с откидным верхом, купленной по случаю у консула морской пехоты, вместе с моим шофером, который был баритоном оперы в Новом Орлеане, вместе с моими рубашками из натурального шелка, с моими восточными лосьонами, моими зубами из топазов, моими татарскими шапками и ботинками из разноцветной кожи, и я хочу спать по утрам сколько влезет и танцевать с королевами красоты, кружа им головы своим красноречием, почерпнутым из энциклопедий, и у меня не задрожат поджилки, если когда-нибудь в пепельную среду, накануне Великого поста, мои способности оставят меня, потому что и тогда я смогу продолжать эту жизнь министра, — для нее вполне достаточно моего глуповатого лица и вереницы магазинов и лавочек, которые начинаются здесь, а кончаются там, где сейчас сумерки, и пусть туристы, заплонившие страну после смерти адмирала, давятся у прилавков за портретами с моим автографом, за книжками с моими стихами о любви, за медалями с моим профилем, за лоскутками моей одежды, и все это несмотря на то, что, в отличие от отцов отечества, я еще не стал конной статуей, которая торчит на площади, с ног до головы загаженная ласточками.

Жаль, что Блакаман Злой никогда не повторит вслед за мной эту историю, а то бы вы поняли, что она правдива от первого до последнего слова. Он посетил этот мир еще раз, уже лишенный прежнего самодовольства и блеска, имея надломленную душу и кости, сносившиеся в скитаниях по пустыне, но у него еще оставалась пара бубенчиков в косичке, для того чтобы объявиться воскресным утром в порту Санта-Мария-дель-Дарьен со своим непременно сундуком, напоминающим гроб-

ницу; только теперь он не пытался что-нибудь продать, а голосом, срывающимся от нахлынувших чувств, просил морских пехотинцев расстрелять его на виду у всех, чтобы вы, сеньоры и сеньорины, на моем брэнном теле убедились в сверхъестественных способностях этого мага и чародея — а в прошлом моего воспитанника — воскрешать мертвых, и хотя кто-то вправе не верить мне после стольких лет обманов и мистификаций, но, клянусь гробом моей матери, на этот раз все будет чистойшей правдой, а если вы еще сомневаетесь, посмотрите на меня, я уже не смеюсь, как прежде, а едва сдерживаю слезы. Глаза его действительно наполнились самыми настоящими слезами, он расстегнул рубашку и принялся бить себя кулаком в сердце, указывая самое надежное место для смерти, но морские пехотинцы не отважились стрелять в него, боясь на глазах любопытной толпы попасть впросак. К счастью, нашелся один сердобольный человек, который по старой памяти пришел на выручку и принес откуда-то банку с корнями корвяка, и их было столько, что они запросто могли поднять кверху брюхом всех корвин¹ Карибского моря; он схватил корни с такой жадностью, будто собирался съесть, и на самом деле съел их, вы видели это своими глазами, сеньоры и сеньорины, только, пожалуйста, не трясите меня так сильно и не спешите молиться за упокой моей души, потому что, уверяю вас, она вылетит из тела совсем ненадолго. На этот раз ему не пришлось ломать комедию и изображать предсмертные хрипы, он безвольно сполз со стола, прокатился по земле, будто выискивая место поудобнее, и замер; сквозь скупые мужские слезы он посмотрел на меня, как на мать, протянул в надежде руки и, судорожно передернувшись, испустил дух. Как и следовало ожидать, мое искусство меня на этот раз подвело. Скорбя всем сердцем, я положил его в чемодан подходящего размера, где и сам могу

¹ Корвина — съедобная рыба семейства колючеперых.

поместиться целиком, и заказал в его честь заупокойную мессу, которая обошлась мне четыре раза по пятьдесят дублонов, потому что священник был одет во все золотое, а в церкви кроме него сидели еще три епископа; я велел построить на холме мавзолей, не хуже императорского, издалека видимый с моря в хорошую погоду, часовню для него одного и установил чугунную могильную плиту, на которой заглавными готическими буквами было выведено: «Здесь покоится Блакаман Мертвый, прозванный при жизни Злым, прославившийся шутками над морской пехотой и павший жертвой науки», — а когда я решил, что его добродетелям воздано достаточно почестей, я начал расплачиваться с ним за его пороки — я оживил его, замурованного в могилу, и навечно оставил там рыдать от ужаса. Это произошло задолго до того, как Санта-Марию-дель-Дарьен поглотили морские воды, но мавзолей уцелел; он до сих пор стоит на холме, куда драконы слетаются отдохнуть под свежими ветрами Атлантики, и каждый раз, бывая в тех краях, я привожу на его могилу целую машину роз, и сердце мое болит при мысли о его добродетелях, но затем я прикладываю ухо к могильной плите и долго слушаю, как он бьется и плачет среди обломков истлевшего чемодана, а если он вдруг умирает, я снова воскрешаю его, потому что прелесть этой мести состоит в том, что он будет мучиться в гробу, пока я жив, а это значит — вечно.

*НЕВЕРОЯТНАЯ
И ГРУСТНАЯ ИСТОРИЯ
О ПРОСТОДУШНОЙ ЭРЕНДИРЕ
И ЕЕ ЖЕСТОКОСЕРДОЙ БАБУШКЕ*

Эрендире купала свою бабушку, когда поднялся ураганный ветер ее Несчастья. От его первого удара содрогнулся их огромный особняк с грубо оштукатуренными тускло-белыми стенами, затерянный в одиночестве пустыни. Но Эрендире с бабушкой, привычные к причудам бесноватой природы, не приняли во внимание мощный напор ветра и остались в ванной комнате, украшенной орнаментом из павлинов и нехитрой мозаикой в стиле римских бань.

Голая огромная бабка походила на прекрасную самку белого кита в мраморном водоеме. Эрендире только-только исполнилось четырнадцать лет. Она была слабая, хрупкая — косточки неокрепшие — и безответная не по годам. Сосредоточенно, будто совершая священный обряд, она поливала бабушку отваром из целебных трав и благоуханных листьев, которые прилипали к ее мясистой спине, к распущенным жестким волосам, к могучему плечу, татуированному похлеще, чем у бывалых моряков.

— Сегодня мне снилось, что я жду письма, — сказала бабушка.

Эрендире, которая не разжимала рта без надобности, спросила:

— А какой день был во сне?

— Четверг.

— Значит, письмо с дурной вестью, — сказала девочка, — но мы его не получим.

После купанья она повела бабушку в спальню. Старуха была такая толстая, такая грузная, что могла передвигаться, лишь опираясь на плечико Эрендиры или на величественный посох, похожий на епископский. Но в каждом ее движении, которое она делала через силу, проступало властное застарелое величие. В спальне, убранной без всякого чувства меры, с той бредовой роскошью, какой отличался весь дом, Эрендира два часа подряд возилась с бабкой. Она распутала — прядка за прядкой — ее волосы, надушила их, причесала, надела на нее платье с экзотическими цветами, подкрасила губы кармином, навела румяна на щеки, напудрила лицо тальком, смягчила веки мускусным маслом, покрыла ногти перламутровым лаком и, когда бабка стала похожей на раскрашенную огромную — выше человеческого роста — куклу, отвела ее в сад с искусственными удушливыми цветами, точно такими же, как на ее платье. Усадив бабушку в глубокое старинное кресло, похожее на трон, она оставила ее слушать в одиночестве хриплые граммофонные пластинки.

Пока бабка плыла по тинистой реке своего прошлого, Эрендира убирала дом — мрачный и сумбурный, забитый причудливой мебелью, статуями вымышленных Цезарей, алебастровыми ангелами, люстрами с хрустальными слезками, раззолоченным роялем и несметным количеством часов самых немыслимых форм и размеров. В патио была большая цистерна, где хранилась вода, которую много лет подряд таскали на своем горбу индейцы из дальнего источника. К одному из тяжелых колец цистерны был привязан захиревший страус, единственное животное в перьях, которому удалось выжить в этом гибельном климате. Особняк стоял вдали от всего, в самом сердце пустыни, и лишь неподалеку ютилось маленькое селение с жалкими прокаленными

улочками, где с отчаяния лишали себя жизни козлы, когда налетал ветер Несчастья.

Это непостижимое убежище выстроил бабкин супруг, легендарный контрабандист по имени Амадис, от которого она родила единственного сына и нарекла Амадисом, и вот он, второй Амадис, был отцом Эрэндиры. Никто толком не знал, как и почему появилось здесь это семейство. Среди индейцев жил упорный слух, что первый Амадис вызволил свою красавицу-жену из публичного дома на Антильских островах, зарезав при этом одного мужчину, и укрылся с ней в равнодушной к закону пустыне. Когда оба Амадиса умерли — один от сжигающей душу лихорадки, другой — изрешеченный пулями в каком-то споре с соперником, — бабка похоронила их в патио, прогнала четырнадцать босоногих служанок, но по-прежнему лелеяла мечты о величии в сумраке дома, укрытого от стороннего взгляда, потому что ей жертвенно служила Эрэндира, незаконнорожденная внучка, которую она взяла к себе с первых дней ее жизни.

Только на то, чтобы завести и сверить все часы, у Эрэндиры уходило полдня. В тот роковой день, когда на нее обрушилось Несчастье, ей не надо было заниматься часами, потому что все часы заводились на сутки, но зато она искупала и передела бабушку, перемыла все полы, сварила обед, протерла весь хрусталь. Часов в одиннадцать, когда она сменила воду в ведре для страуса и полила чахлую травку на могилах Амадисов, лежавших рядком, ее чуть было не сбilo с ног яростным ударом ветра, который заметался из стороны в сторону, но она не учуяла в том дурного знака и не угадала, что это — ветер ее Несчастья. В полдень, протирая последние бокалы для шампанского, Эрэндира уловила вдруг сладковатый запах бульона и опрометью бросилась на кухню, каким-то чудом не разбив венецианское стекло.

Еще бы чуть — и кипящая оля пролилась на плиту. Эрэндира поставила тушить мясо со специями, приго-

товленное заранее, и, урвав свободную минутку, села на кухонный табурет. Девочка закрыла глаза и вскоре открыла, но в них уже не было никакой усталости. Она принялась наливать суп в фарфоровую супницу, но делала это во сне!

Бабка одиноко сидела во главе банкетного стола, накрытого на двенадцать персон и уставленного серебряными подсвечниками. Едва зазвенел ее колокольчик, Эрендира примчалась с дымящейся супницей. Пока девочка наливала в тарелку суп, бабушка, заметив, что она делает все в забытьи, как сомнамбула, быстро провела рукой перед ее глазами, точно протирая незримое стекло.

Эрендира так и не увидела бабушкиной руки. Старуха посмотрела на нее сторожким взглядом и, когда девочка направилась на кухню, громко окликнула:

— Эрендира!

Резко проснувшись, Эрендира уронила супницу на ковер.

— Пустяки, детка, — сказала бабушка почти ласково, — просто ты спишь на ходу.

— У меня все само засыпает, — виновато сказала Эрендира. Она подняла супницу и стала оттирать пятно на ковре, с трудом выбираясь из сонного дурмана.

— Брось, — пожалела ее бабка, — вечером отмоешь.

Вот так, вдобавок ко всем вечерним делам, Эрендира отмывала ковер и заодно перестирала в мойке всю смену белья с понедельника, а тем временем ветер кружил и кружил у дома, пытаясь проникнуть внутрь сквозь какую-нибудь щель. Столько всего переделала Эрендира за вечер, что и не заметила, как стемнело, и лишь когда расстелила в столовой ковер, поняла, что давно уже время спать.

Всю вторую половину дня бабка для собственной улады брэнчала на рояле, выводя высоким фальцетом песни своей молодости, и мускус смешался на ее веках с прочувственными слезами. Но едва она легла в постель

в ночной сорочке тончайшего муслина, как улетучилась вся горечь воспоминаний о невозвратных временах.

— Найди завтра время, чтобы выбить ковер в зале, — сказала она Эрендире, — он не жарился на солнышке с моих счастливых времен.

— Хорошо, бабушка.

Она взяла веер из страусовых перьев и стала обмахивать беспощадную величественную старуху, а та, медленно погружаясь в сон, перечисляла все оставшиеся дела:

— Не ложись, пока не перегладишь белье, а то сон будет не сон.

— Хорошо, бабушка.

— Пересмотри как следует платяные шкафы: при ночном ветре моль очень прожорлива.

— Хорошо, бабушка.

— Останется время — вынеси в патио все цветы, пусть подышат.

— Хорошо, бабушка.

— И покорми страуса.

Бабка уже заснула, но по-прежнему давала распоряжения. Собственно, от нее внучка и унаследовала эту способность спать и одновременно бодрствовать.

Выскользнув из спальни, Эрендира взялась за порученные дела, отвечая всякий раз на слова спящей бабки.

— Полей как следует могилы.

— Хорошо, бабушка.

— Перед сном посмотри, все ли в порядке. Если вещь не на своем месте, она мается и не спит.

— Хорошо, бабушка.

— И если вдруг нагрянут Амадисы, предупреди, пусть не ночуют, — сказала бабка. — Порфирио Галан со своей шайкой ждет не дождется, чтобы их прирезать.

Эрендира уже не отвечала, зная, что бабушка путается в бреду, но безотказно выполняла все приказы. Проверив все шпингалеты на окнах, потушив повсюду свет, она взяла в столовой серебряный канделябр и пошла к

себе, светя дорогу и прислушиваясь к мерному, могучему дыханию бабки, которое разносилось по дому, когда вдруг стихал ветер.

У Эрендиры была нарядная спальня, хотя не такая роскошная, как у бабушки, но зато с тряпичными куклами и заводными игрушками из ее совсем недавнего детства. Вымотанная за день до полусмерти, Эрендира, поставив канделябр со свечой на ночной столик, упала на постель в чем была, не раздеваясь. А вскоре ветер ее Несчастья ворвался в спальню сворой разъяренных собак и опрокинул горящую свечу на занавеску.

На рассвете, когда ветер наконец улегся, застучали тяжелые, крупные капли дождя, которые погасили тлевшие угли и прибили дымящийся пепел — все, что осталось от старого особняка. Жители деревушки, большей частью индейцы, спешили выудить хоть что-нибудь из пожарища — обугленный труп страуса, раму позолоченного рояля, торс какой-то статуи. Бабка со скорбной отрешенностью таращилась на жалкие останки своего богатства. Эрендира, сидевшая меж двумя могилами Амадисов, уже не плакала. Когда величественная старуха окончательно уверилась, что в грудке обломков нет ничего стоящего, она взглянула на внука с искренним состраданием.

— Бедная моя детка, — вздохнула, — тебе до конца жизни не расплатиться со мной за такие убытки!

Эрендира начала расплачиваться в тот же день, когда под назойливо шумным дождем бабка свела ее к щуплому, рано овдовевшему деревенскому лавочнику, которого знали как большого охотника до нетронутых девочек, за которых он платил, не скупясь. На глазах у невозмутимой бабки вдовец с научной взыскательностью осмотрел Эрендиру, оценивая упругость ее ляжек, величину груди, объем бедер. Он долго молчал, подсчитывая в уме, чего она стоит.

— Еще совсем зеленая, — наконец произнес он, — грудки у нее острятся, как у сучки.

Он поставил Эрендиру на весы, чтобы цифры подтвердили его правоту. Девочка весила сорок два килограмма.

— Красная цена — сто песо, — сказал лавочник.

Бабка возмутилась.

— Сто песо за такую нетоптанную курочку! — ахнула. — Ну, любезный, у тебя, оказывается, никакого уважения к девичьей невинности.

— Сто пятьдесят.

— Эта деточка причинила мне ущерб на миллион песо, а то и больше. Если так пойдет дело, ей не рассчитаться со мной и за двести лет.

— К счастью, — сказал вдовец, — лет ей совсем немного, это ее единственный плюс.

Буря грозила разнести дом в щепки, и в потолке было столько дыр, что лило, как на улице. Бабка вдруг почувствовала себя совсем одинокой и потерпевшей непоправимое крушение.

— Добавь до трехсот, — сказала она.

— Двести пятьдесят.

Они сошлись на двухстах двадцати наличными, а в придачу немного съестного.

Бабка повелела Эрендире идти с лавочником, и тот повел ее в складское помещение, точно первоклассницу в школу.

— Я подожду тебя здесь, — сказала старуха.

— Хорошо, бабушка.

Складским помещением был всего-навсего навес из солевых пальмовых листьев, с четырьмя кирпичными столбами, обнесенный метровой стеной из адобе, которая нисколько не спасала от ненастья. На стене стояли большие горшки с кактусами и еще какими-то колючками. Выцветший гамак, привязанный к двум кирпичным столбам, болтался, надуваясь ветром, словно парус лодки, унесенной в море. Сквозь раскатистый свист бури и обвальный шум дождя пробивались приглушенные крики, вой далеких зверей, взвизги беды.

Войдя в эту жалкую постройку, вдовец и Эрендира едва удержались на ногах от удара косого ветра с дождем, который вымочил их до нитки. Они не слышали друг друга, и движения их сделались деревянными в реве неистовой стихии.

При первой попытке вдового лавочника Эрендира заорала по-звериному и рванулась в сторону. Вдовец молча заломил ей руку за спину и поволок к гамаку. Изловчившись, она расцарапала ему лицо и зашлась беззвучным криком. А он в ответ влепил ей такую внушительную пощечину, что она как бы оторвалась от земли и ее длинные волосы зазмеились в воздухе. Вдовец подхватил ее под лопатки, не дав встать на ноги, и резким ударом повалил в гамак, а потом так прижал коленкой, что и не шелохнулся. Вот тут ее обуял ужас, и она, потеряв сознание, в каком-то дурмане увидела лунную бахрому рыбки, проплывшей в грозовом воздухе. А тем временем вдовец размеренно сдергивал с нее одежды длинными лоскутами, словно вырывал с корнем траву, и эти цветные полосы, подхваченные ветром, взвивались вверх, как праздничный серпантин...

Когда в селении не осталось ни единого мужчины, готового заплатить самую малость за любовь Эрендиры, бабка повезла ее на грузовике в края контрабандистов. Они устроились в открытом кузове, среди мешков с рисом и банок с маслом, прихватив с собой остатки былой роскоши: спинку вице-королевской кровати, ангела с мечом, закопченное старинное кресло и еще какую-то дребедень. В бауле, на котором малярной кистью были выведены два креста, они везли кости Амадисов.

Тучная бабка, прячась от неизбежного солнца под обтрепанным зонтом и вся в липком поту, задыхалась от пыли и зноя. Ей было очень тяжело, но она все равно держалась с победительным достоинством. А тем временем за стеной банок и мешков Эрендира платила за дорогу и провоз багажа, занимаясь любовью за двадцать

песо с неумным грузчиком. Поначалу она истово оборонялась, как в тот раз, когда на нее набросился вдовец. Но у грузчика был другой подход: он действовал не спеша, умело, и взял ее лаской. Так что, когда они после долгого, изнурительного пути подъехали к первому селению, Эрендира с молодым грузчиком безмятежно отдыхали от сладких утех за парашетом мешков и банок. Водитель крикнул бабке:

— Вот здесь и дальше живут люди.

Бабка недоверчиво обвела глазами жалкие пустынные улочки селения: оно было чуть больше того, откуда она уехала, но такое же унылое и неприютное.

— Хм... — усомнилась бабка.

— Это земли миссионеров.

— Меня лично интересуют контрабандисты, а не благотворительность, — сказала старуха.

Прислушиваясь к их разговору, Эрендира сунула пальчик в мешок с рисом и, неожиданно нащупав нитку, потянула ее и вытащила длинное ожерелье из натурального жемчуга. Она испуганно держала его в пальцах, точно дохлую гадюку, а водитель меж тем втолковывал бабушке:

— Что за выдумки, сеньора! Здесь и в помине нет контрабандистов.

— Как это нет! — ухмыльнулась бабка. — Расскажи кому другому.

— Ну ищите на здоровье, может, повезет, — добродушно хохотнул водитель. — Болтают что ни лень, а чтоб видеть — никто.

Грузчик, заметив ожерелье в руке Эрендиры, выхватил его и быстро сунул в мешок с рисом. В эту минуту бабка, все же решившая остаться в этом убогом городке, кликнула Эрендиру, чтобы с ее помощью слезть с грузовика. Эрендира поцеловала молодого грузчика второпях, но пылко и как надо.

Бабка, сидя на величественном кресле посреди пус-

тыря, наблюдала, как сгружают ее имущество. Последним оказался баул с останками Амадисов.

— Ну и тяжесть! Внутри, случаем, не покойник? — засмеялся водитель.

— Там два покойника, — отчеканила бабка. — Так что обращайтесь с ними уважительно.

— Бьюсь об заклад — там две мраморные статуи! — снова хохотнул водитель.

И, бросив без всякого почтения баул в кучу с обгорелой, изломанной мебелью, подставил старухе протянутую ладонь:

— С вас пятьдесят песо.

Старуха кивнула в сторону грузчика:

— Вашему работничку уплачено сполна.

Водитель озабоченно глянул на молодого парня, молча кивнувшего головой, а потом залез в кабину, где всю дорогу сидела молодая вдова с малышом на руках, который плакал и плакал от жары. И вот тут грузчик, человек весьма в себе уверенный, сказал бабке:

— Эрендира, с вашего позволения, поедет со мной.

У меня самые серьезные намерения.

Девочка испуганно пролепетала:

— Я ни о чем не просила.

— Я и говорю, это — моя воля, — сказал грузчик.

Бабка оглядела его с ног до головы, но вовсе без презрения, а как бы примериваясь, хватит ли у него пороху.

— Лично у меня нет возражений, — сказала она, — только плати сразу за все, что я потеряла по ее небрежности... Это — восемьсот семьдесят две тысячи триста пятнадцать песо минус четыреста двадцать, которые она выплатила, итого, значит, восемьсот семьдесят одна тысяча восемьсот девяносто пять.

Водитель завел мотор.

— Клянусь, я отдал бы вам эту кучу денег, кабы они у меня были, — сказал парень серьезным голосом. — Девочка того стоит.

Бабушке пришлось по душе решительные слова юноши.

— Когда будет, возвращайся, сынок, — сказала она сочувственно, — но сейчас отваливай, пока не поздно, а то, если посчитать, ты мне должен еще десять песо.

Грузчик на ходу вскочил в кузов и махнул рукой Эрендире, но она со страху не ответила.

На этом самом пустыре, где сгрузили вещи, Эрендира с бабушкой быстро возвели нечто вроде палатки из цинкового листа и остатков персидских ковров.

Расстелили на земле две маленькие циновки и проспали всю ночь не хуже, чем в сгоревшем особняке, пока солнце, проникшее сквозь щели, не напекло им лица.

В то утро, против всякого обыкновения, бабушка сама занялась Эрендирой. Она разрисовала ей лицо сообразно идеалу покойницкой красоты, какая была в моде в пору ее юности, потом приклеила ей накладные ресницы и повязала на голове бант из органди, напоминавший огромную бабочку.

— Ты страшна, как смертный грех, — задумчиво протянула бабушка, — но это к лучшему: мужики, они мало что смыслят в женщинах.

Вскоре они услышали, а позже увидели мулов, устало ступавших по каменистой дороге. Эрендира по велению бабки сразу улеглась на циновку в романтической позе, точь-в-точь как молоденькая дебютантка перед поднятием занавеса. Опираясь на епископский жезл, старуха вышла из палатки и уселась на кресло в ожидании первой добычи.

Подъехавший путник оказался почтарем. Ему было не больше двадцати, но выглядел он солиднее из-за своей профессии. На нем была форменная одежда цвета хаки, гетры, пробковый шлем, а за поясом — пистолет. Сидя верхом на грудастом муле, почтарь вел в поводу второго, не такого крепкого, но навьюченного мешками с почтой.

Поравнявшись с бабкой, он приветственно помахал

ей рукой и двинулся было дальше. Но старуха мигнула ему загадочно, приглашая заглянуть внутрь. Почтарь изогнулся и увидел возлежавшую на циновке размалеванную Эрендиру в платье с траурной фиолетовой каймой.

— Нравится? — спросила бабка.

Парень наконец-то смекнул, что за товар ему предлагают.

— С голодухи сойдет, — ухмыльнулся.

— Пятьдесят песо.

— Фьюить! Она что, из чистого золота? — воскликнул почтарь. — Да на эти деньги я могу есть и пить целый месяц!

— Не жмись! — сказала бабка. — На авиапочте платят больше, чем священникам.

— Да я — обыкновенный почтарь. Пора знать, что авиапочту развозят на грузовичке.

— Говори, говори, а любовь нужна не меньше еды, — наседала старуха.

— Одной любовью сыт не будешь.

Старуха поняла: человек, живущий за счет чужих надежд, не пожалеет времени поторговаться всласть.

— Сколько у тебя с собой?

Почтарь спрыгнул на землю, извлек из кармана несколько мятых-перемятых бумажек и показал их бабке. Она их схватила жадно, точно пойманный мяч.

— Я сбавлю, — сказала, — но с условием: пусть о нас знают повсюду!

— Узнают и на другом конце света, будьте нате! — сказал развозчик почты. — Это по моей части.

Эрендира сняла накладные ресницы — они не давали даже моргнуть — и подвинулась на самый край циновки, освобождая место подвернувшемуся мужчине.

Едва он вошел в палатку, старуха резко задернула за ним занавесь, служившую дверью.

Сделка оказалась очень удачной. Распаленные расказами служителя почты, понаехали отовсюду мужчины, чтобы самим удостовериться в прелестях Эренди-

ры. Вслед за ними привезли лотерейные столики и киоски со снедью. Последним примчался на велосипеде фотограф, который поставил в этом стойбище свой старинный фотоаппарат на штативе под траурно-черной накидкой, а позади — полотно с нарисованными озером и какими-то неправдоподобными лебедями.

Бабка обмахивалась веером, восседая на своем троне, и всем своим видом выказывала полное равнодушие к затеянному ей делу. Единственное, что ее заботило, — это порядок в очереди клиентов и правильность суммы, которую она с них брала за вход к Эрендире. Поначалу бабка была очень строга и чуть не отказала одному приличному клиенту, у которого не хватило всего пяти песо. Но через месяц-другой она усвоила уроки суровой действительности и принимала в доплату медальки с изображением святых, семейные реликвии, обручальные кольца — словом, всякие золотые вещицы, пробуя их на зуб, если не блестили.

За время, проведенное в городке, бабка собрала денег, и, купив ослика, они отправились с внучкой в глубь пустыни в поисках более прибыльных мест.

Она восседала на спине осла в носилках, прятаясь от недвижного солнца под скособоченным зонтом, который держала над ней Эрендира, семенившая рядом. За ними шли четверо индейцев и несли все, что бабка прихватила с покинутого стана, — спальные циновки, подновленный трон, алебастрового ангела и баул с костями двух Амадисов. Вслед за караваном ехал на велосипеде фотограф, однако держался на расстоянии, будто он ни при чем.

Через полгода после пожара старуха составила для себя полное представление о ходе дел.

— Если так пойдет дальше, — сказала она Эрендире, — ты расплатишься со мной через восемь лет, семь месяцев и одиннадцать дней.

Она еще разок пересчитала все в уме, не переставая

жевать зерна маиса, лежавшие под передником, в пришитой к поясу сумке, где она прятала и деньги.

— И учти, я не беру в расчет затраты на индейцев и на прочие нужды.

Сморенная тяжелым пропыленным зноем, Эрендира еле попевала за осликом, безропотно слушая бабкины подсчеты, и едва сдерживала слезы.

— У меня так болят кости, будто в них толченное стекло, — проговорила девочка.

— Постарайся сейчас заснуть.

— Хорошо, бабушка.

Эрендира закрыла глаза и, глубоко вдохнув обжигающий воздух, зашагала, провалившись в сон.

Фермерский грузовичок, забитый клетками с птицей, катил по дороге, распугивая козлов, исчезавших в клубах поднятой пыли, и птичий гомон был потоком свежей воды в липком воскресном дурмане, окутавшем городок Святого Михаила Пустынника. За рулем сидел раздобревший фермер-голландец с задубелой от ветров кожей и медно-рыжими усами, которые он унаследовал от одного из прадедов. Рядом с ним сидел его первенец-сын по имени Улисс — золотистый юноша с отрешенными морскими глазами, похожий на падшего ангела. Голландец сразу заметил палатку, перед которой скопилась длинная очередь солдат местного гарнизона. Солдаты сидели на земле и, передавая друг другу бутыль, делали по глотку; их головы были прикрыты ветками миндаля, точно они прятались в засаде перед атакой.

Голландец спросил на своем заморском языке:

— За каким чертом здесь очередь?

— За женщиной, — простодушно ответил сын, — ее зовут Эрендира.

— Ты-то откуда знаешь?

— В пустыне все это знают.

Голландец вышел из машины у заезжего дома, а

Улисс, чуть задержавшись, ловкими пальцами открыл отцовский портфель, брошенный на сиденье, и, вытащив оттуда пачку денег, рассовал их по карманам, а затем быстро закрыл замок. Той же ночью, пока отец спал, он вылез в окно гостиницы и, примчавшись к палатке Эрендиры, встал в очередь.

Вокруг шло великое гулянье. Пьяные в дым новобранцы плясали друг с дружкой, чтобы не пропадала дармовая музыка, а фотограф щелкал во тьме желающих, не жалея магниевую бумагу. Бабушка, следя за очередью, успевала пересчитывать банкноты, разложенные на коленях, и связывать их одинаковыми пачками, которые складывала в большую корзину. Солдат осталось с дюжину, но зато прибавились штатские. Улисс был крайним. У самого входа топтался солдат с угрюмым лицом. Бабушка его не пустила и даже не притронулась к его деньгам.

— Нет, милоч, — сказала, — я тебя не пушу ни за какие сокровища! Ты — траченный!

Солдат был из дальних мест и ничего не понял.

— Как это?

— Ты — порчун, у тебя на морде написано.

Она отстранила его, не касаясь рукой, и пропустила следующего солдата.

— Давай ты, драгун! — сказала она, добродушно улыбаясь. — И не особо задерживайся. Родина тебя ждет.

Солдат не успел войти, как тут же вышел, потому что Эрендира взмолилась, чтобы позвали бабушку. Бабка повесила на руку корзину с деньгами и скрылась в палатке, где было тесно, но опрятно, прибрано.

В глубине на походной раскладушке пластом лежала измученная, измазанная солдатским потом Эрендира, которую била мелкая дрожь.

— Бабушка, — прорыдала она. — Я умираю.

Бабушка тронула внучкин лоб и, убедившись, что жара нет, принялась ее утешать:

— Да осталось всего ничего. Не больше десятка.

Эрендира не заплакала, нет, она завывала, как загнанный зверек. И старуха, сообразившая, что девочка перешла за грань мучительного страха, стала ласково гладить ее по голове, приговаривая:

— Ну-ну, будет, будет. Беда в том, что ты еще мало-сильная. Умойся лучше шалфейным отваром, это кровь освежает.

Когда Эрендира затихла, бабушка вышла на улицу и вернула солдату деньги.

— На сегодня все, ребята! — сказала она. — Завтра к девяти — пожалуйста.

Солдаты и штатские, сломав очередь, разразились криками. Бабка, не убоившись, решительно замахнулась своим жезлом на возмущенных клиентов.

— Ах вы, изверги! Аспиды ненасытные! — надрывалась она. — Вы что думаете, она у меня железная? Вас бы на ее место! Кобели поганые! Выползки безродные!

Ей в ответ понеслась брань, куда более сочная, но она сумела взять верх над бунтовщиками и, опираясь на грозный жезл, не отходила от двери, пока не унесли лотки с фритангой и столики с лотереей. Старуха направилась было в палатку, как вдруг заметила Улисса, одиноко стоявшего в темноте безлюдного пустыря, где только что орали разъяренные клиенты; юноша, окаймленный зыбким ореолом, как бы выступал из ночного мрака в дивном сиянии собственной красоты.

— Ну а ты? — спросила бабка. — Где забыл свои крылья?

— Крылья были у моего дедушки, — ответил Улисс с детской простодушностью. — Только никто не верит.

Зачарованная бабушка глядела на него неотрывно.

— Лично я — верю, — сказала она. — Приходи утром с крыльями.

И вошла в палатку, оставив плененного страстью Улисса у дверей.

Эрендире немного полегчало после купанья. Перед тем как лечь, она надела коротенькую вышитую сорочку, но, вытирая волосы, все еще глотала слезы. Меж тем бабушка уже спала мирным сном.

И вот тут из-за спинки кровати медленно выросла голова Улисса. Эрендира увидела жаркие прозрачные глаза, но, прежде чем выговорить слово, утерла полотенцем лицо, думая, что это привиделось. Когда Улисс хлопнул ресницами, Эрендира еле слышно спросила:

— Ты кто?

Улисс приподнялся.

— Меня зовут Улисс, — сказал он. И, протянув украденные банкноты, добавил: — Вот они, деньги.

Эрендира оперлась обеими руками о кровать и, приблизив свое лицо к лицу Улисса, заговорила так, словно затеяла с ним веселую ребячью игру.

— Ишь какой! Встань-ка в очередь, — сказала.

— Я всю ночь простоял, — сказал он.

— А-а... Значит, жди до утра, — сказала девочка. — Мне знаешь как больно! Будто все почки отбиты...

В эту минуту во сне заговорила бабка.

— Вот уже двадцать лет, как не было дождя, — забормотала, — а тогда была такая страшная гроза, что ливень смешался с морской водой, и наутро, когда мы проснулись, в доме было полно рыб и ракушек, и твой дед, Амадис, царство ему небесное, своими глазами видел, как по воздуху проплыл светящийся спрут.

Улисс сразу спрятался за спинку кровати. Но Эрендира улыбнулась лукаво.

— Да не бойся, — сказала. — Бабушка во сне говорит что ни попадя, но она не проснется, даже если земля дрогнет.

Улисс снова вырос из-за кровати. Эрендира, посмотрев на него с веселой ласковой улыбкой, быстро убрала с циновки несвежую простыню.

— Ну-ка, — сказала, — помоги мне сменить постель.

Улисс смело вышел из-за кровати и взял простыню за оба конца. Простыня было куда шире циновки, и Эрендире с Улиссом не сразу удалось сложить ее. Занимаясь простыней, они каждый раз приближались друг к другу.

— Мне до смерти хотелось тебя увидеть, — сказал он. — Кругом говорят, что ты невиданная красавица, и это — правда!

— Но я скоро умру, — сказала девочка.

— Моя мама говорит, что те, кто умрет в пустыне, попадут в море, а не на небеса, — сказал Улисс.

Эрендира свернула грязную простыню и положила чистую, выглаженную.

— А я не знаю, какое оно, море...

— Оно как пустыня, но из воды, — сказал Улисс.

— Значит, там нельзя ходить?

— Мой папа знал одного человека, который ходил по воде, — сказал Улисс, — но это было давным-давно.

Эрендира слушала как зачарованная, хотя ее клонило в сон.

— Приходи рано утром и будешь первым, — сказала.

— Мы с отцом уезжаем на рассвете, — сказал Улисс.

— И больше не вернетесь?

— Кто знает когда, — ответил юноша. — Мы тут совсем случайно, потому что сбились с дороги на границу.

Эрендира задумчиво глянула на спящую бабушку.

— Ладно, — сказала, — давай деньги.

Улисс протянул ей все бумажки. Эрендира сразу легла на постель, но Улисс не тронулся с места. В самую ответственную минуту он оробел и не мог унять дрожь.

Эрендира потянула его за руку, но тут поняла, что с ним случилось. Ей хорошо был знаком этот страх.

— Ты в первый раз? — спросила.

Улисс не ответил, лишь улыбнулся потерянно и виновато.

— Дыши глубже, — сказала Эрендира. — Такое бывает поначалу, а потом хоть бы что.

Она уложила его рядом и, раздевая, успокаивала, как ребенка.

— А звать тебя как?

— Улисс.

— Не наше имя, вроде как у гринго...

— Нет, как у одного мореплавателя.

Сняв с Улисса рубашку, Эрендира покрыла его грудь быстрыми поцелуями и принюхалась к коже.

— Ты будто из золота, — удивилась. — А пахнешь какими-то цветами.

— Нет, наверно, апельсинами, — сказал Улисс и, сразу успокоившись, улыбнулся загадочно. — Птицы — это для отвода глаз, — добавил, — а на самом деле мы контрабандой возим через границу апельсины.

— Разве апельсины — контрабанда?

— Наши — да! — сказал Улисс. — За каждый платят пятьдесят тысяч песо.

Эрендира впервые рассмеялась за такое долгое время.

— Что мне больше всего нравится в тебе, — сказала, — это как ты всерьез рассказываешь такие небылицы.

Она вдруг оживилась, сделалась разговорчивой, будто этот невинный юноша враз сумел изменить не только ее настроение, но и склад характера.

Бабушка, в самой близости от роковой встречи, по-прежнему говорила во сне.

— И вот в первых числах марта тебя принесли домой, — бормотала, — ты походила на ящерицу, завернутую в пеленки. Амадис, твой отец, еще молодой и красивый, так ликовал в тот день, что велел нагрузить цветами двадцать телег. Он ехал по улицам, крича от радости и разбрасывая эти цветы, отчего весь городок стал золотистым, как море.

Старуха бредила с неослабной страстью несколько часов кряду. Но Улисс ничего не слышал, потому что

Эрендира любила его так горячо, так искренне, что потом стала любить за полцены, а потом до самого рассвета — даром.

Миссионеры, подняв распятия, встали плечом к плечу посреди пустыни. Ветер, такой же свирепый, как ветер Несчастья, трепал их холщовые монашеские одеяния, их клочковатые бороды и грозился сбить с ног. За ними высилась монастырская обитель в колониальном стиле с маленькой колокольней, выступавшей за суровыми оштукатуренными стенами.

Самый молодой миссионер, их глава, указал перстом на глубокую трещину в затвердевшей глине:

— Эту черту не переступать!

Четыре индейца, что несли бабку в дощатом паланкине, сразу остановились.

Старухе было уже невозможно сидеть на неудобной скамье, ее замучили зной, пыль и липкий пот, но в лице оставалась все та же природная гордость. Эрендира шла рядом. За паланкином следовали гуськом восемь индейцев с тяжелой поклажей, а замыкал шествие фотограф на велосипеде.

— Пустыня — ничья! — изрекла бабка.

— Она богова, — ответил миссионер. — А ваш богомерзкий промысел попирает его святой закон.

Бабушка тотчас распознала чисто кастильский выговор и решила уйти от лобового столкновения с миссионером, дабы не набить себе шишек о твердость его духа. Она сразу сменила тон:

— Не понимаю, о чем ты толкуешь, сынок.

Миссионер кивнул в сторону Эрендиры:

— Эта девочка — несовершеннолетняя.

— Но она — моя внучка!

— Тем хуже, — отрезал монах. — Отдайте ее под наше покровительство добром, иначе мы предпримем другие меры.

Бабка не ожидала такого оборота дела.

— Что ж, благородный сеньор, — отступилась она в испуге. — Но рано или поздно я тут проеду, увидишь.

Спустя три дня после встречи с миссионерами, когда Эрендира с бабушкой спали в деревушке по соседству с монастырем, к их палатке осторожно и беззвучно подползли боевым патрулем шесть невидимых в ночи существ. Это были послушницы в балахонах домотканого полотна — сильные молодые индианки, которых выхватывал из темноты зыбкий лунный свет.

Не задев тишины, послушницы накрыли спящую Эрендиру москитной сеткой и осторожно вынесли, как большую, но хрупкую рыбу, попавшую в лунный невод.

Не было способа, который не испробовала бабка, чтобы выманить девочку из монастырской обители. И лишь когда не оправдались все ее планы, от самых простых до самых хитроумных, она обратилась за помощью к гражданским властям, которые единолично представлял человек в военном чине. Она застала его в патио, голого по пояс, в тот самый час, когда он расстреливал из винтовки тучку, одиноко темневшую в раскаленном небе. Местный правитель, оказывается, пытался продырять ее, чтобы пошел дождь, но все же прервал бесплодную стрельбу, чтобы выслушать старуху.

— Я ничем не могу помочь, — сказал. — Миссионеры по закону имеют право держать у себя девочку до ее совершеннолетия. Или пока ее не отдадут замуж.

— Так зачем, собственно, вас держат алькальдом? — спросила бабка.

— Чтобы я добился дождей.

Поняв наконец, что одинокая тучка за пределами его досягаемости, он бросил свое государственное дело и целиком занялся бабушкой.

— Вам главное — найти государственного человека, который мог бы за вас поручиться. Кого-нибудь, кто в письменном виде удостоверит вашу моральную устой-

чивость и добронравие. Вы, случаем, не знакомы с сенатором Онесимо Санчесом?

Бабка, сидевшая под палящим солнцем на табурете, слишком узком для ее монументального зада, сказала с величавой яростью:

— Я беззащитная женщина, брошенная на произвол судьбы в этой огромной пустыне.

Алькальд жалостливо скосил на нее правый глаз, сощуренный от жары.

— Тогда не теряйте зря времени, сеньора, — сказал, — поставьте на этом крест.

Но не тут-то было. Бабка поставила свою палатку напротив монастыря и села думать думу, будто воин, решивший в одиночку взять приступом город-крепость. Бродячий фотограф, который уже хорошо знал нрав старухи, приладил свои вещички к багажнику и собрался в путь. Но призадумался, увидев, как она сверлит глазами монастырь, сидя на самом солнцепеке.

— Поглядим-посмотрим, кто первый не выдержит, — сказала бабка, — я или они.

— Они здесь три сотни лет и ничего — выдерживают, — бросил фотограф, — так что я поехал.

Только тут бабушка заметила велосипед с привязанной поклажей.

— Куда едешь?

— Куда глаза глядят. Свет велик, — сказал фотограф и поехал.

— Не так уж велик, как тебе думается, неблагодарный мерзавец.

Бабка озлилась и даже не повернула головы в его сторону, боясь хоть на миг отвести взор от монастыря. Она не сводила глаз с его стен в течение многих дней, раскаленных добела, и многих ночей с шалыми ветрами; она смотрела на монастырь неотрывно, даже в дни духовных упражнений, когда из монастыря не вышла ни одна живая душа. Индейцы сделали возле ее палатки пальмовый навес и привязали там гамаки. Но бабка

бодрствовала допоздна, восседая на троне, и, когда ее одолевал сон, жевала и жевала сырые зерна, доставая их из сумки, пришитой к поясу, с победной невозмутимостью лежащего быка.

Однажды ночью совсем рядом медленно проехала колонна крытых грузовиков, освещенных гирляндой цветных фонариков, которые придавали им вид призрачных сомнамбулических алтарей. Бабка тут же смекнула, что к чему, потому что они были в точности как грузовики ее Амадисов. Последний, чуть отстав от колонны, остановился, из кабинки вылез водитель, чтобы поправить груз в кузове. Он был одной масти с ее Амадисами — та же шляпа с круто загнутыми полями, те же сапоги за колено, два патронташа на скрещенных ремнях, два пистолета и карабин. Поддавшись искушению, бабка окликнула водителя:

— А знаешь, кто я?

Он навел карманный фонарик и, глядя на ее помятое от бессонных ночей лицо, на погасшие от усталости глаза, на повисшие лохмы волос, увидел женщину, о которой, вопреки ее возрасту, вопреки безжалостному свету фонаря, можно сказать, что в свои годы она была неземной красавицей. Когда водитель удостоверился, что видит ее впервые в жизни, он погасил фонарик.

— Могу поручиться, что вы — не Пресвятая Дева Скоропомощница.

— Какая дева, — сладким голосом сказала бабка, — я — дама.

Водитель невольно схватился за пистолет:

— Чья дама?

— Амадиса Первого.

— Стало быть, вы с того света, — сказал он настороженно. — А что вам, собственно, надо?

— Помогите мне вернуть мою внучку, внучку Амадиса Первого, потому что ее упрятали в монастырь.

Водитель понемногу справился со страхом.

— Ты ошиблась дверью, — сказал он, — и, если счи-

таешь, что мы вмешиваемся в дела бога, значит, ты не та, за кого себя выдаешь, и в глаза не видела Амадисов, да и не смыслишь ни уха ни рыла в нашей работенке.

В тот предрассветный час бабка почти не спала и, кутаясь в шерстяную шаль, жевала зерна. Мысли ее путались, и бред неудержимо рвался наружу, но она не смыкала глаз и все сильнее прижимала руку к сердцу в страхе, что ее задушат воспоминания о доме с алыми цветами у самого моря, где она была счастлива. Так она просидела до той поры, когда пробил первый удар монастырского колокола, когда зажглись в окнах первые огоньки и вся пустыня наполнилась запахом хлеба, испеченного до утреннего благовеста. Вот тут бабка сдалась усталости и вверилась обманной надежде, что вставшая чуть свет Эрэндира только и думает, как бы удрать и вернуться к ней.

Меж тем Эрэндира спала крепким сном все ночи с тех пор, как попала в монастырь. Ей остригли волосы садовыми ножницами почти наголо, обрядили в домотканый балахон, какой носили затворницы, всучили в первый же день ведро с разведенным мелом, швабру и велели белить ступени лестниц после каждого, кто по ним пройдет. Это был адский труд, потому что по лестницам непрерывно подымались и спускались миссионеры в грязных ботинках и послушницы с корзинами, но после смертной галеры, какой стала для девочки постель, все дни в монастыре казались ей светлым воскресеньем. Да и не она одна возилась до поздней ночи, потому что монастырь клал все силы не столько на борьбу с кознями дьявола, сколько на борьбу с пустыней.

Эрэндира видела, как послушницы-индианки ловко бьют по загривку коров, чтобы стояли смирно, пока их доят, видела, как прыгают часами на досках, отжимая сыр, как помогают окотиться козам. Видела, как они, взмокшие от пота, точно портовые грузчики, таскают воду из дальнего источника, как усердно поливают ого-

род, который другие послушницы развели, отчаянно мотыжа каменистую почву пустыни, чтобы вырастить хоть какую-то зелень. Своими глазами она видела преисподнюю монастырской пекарни и монастырской гладильни. Видела монашенку, которая, погнавшись во дворе за боровом, схватила его за уши, споткнулась, и боров волок ее в жидкой грязи, пока не подоспели две послушницы в кожаных фартуках и одна из них не заколола его мясницким ножом. Все трое были заляпаны с ног до головы кровью и глинистой жижей. Эрендира видела в дальнем углу монастырской больницы чахоточных монашек в смертных рубашках; сидя на террасе, они смиренно вышивали простыни для новобрачных, ожидая последней воли Всевышнего, а тем временем отцы-миссионеры произносили душеспасительные проповеди в песках пустыни. Эрендира жила незаметно, в тени, открывая каждый день все новые и новые воплощения ужаса и красоты, о которых даже и не подозревала в узком мирке опостылевшей постели, и никто — ни самые бойкие, ни самые тихие послушницы не могли добиться от нее ни слова с тех пор, как она попала в монастырь. Однажды утром, разводя в ведре мел, Эрендира услышала струнную музыку, которая показалась ей прозрачнее, чем свет в пустыне. Ошеломленная этим чудом, она заглянула в огромный пустой зал с голыми стенами и большими стрельчатыми окнами, сквозь которые врывалась, дробясь и оседая, ослепительная ясность июня. И увидела посреди зала монашенку поразительной красоты — она ей никогда не встречалась, — которая играла на старинном клавесине Пасхальную ораторию. Эрендира слушала чуть дыша, не мигая, и очнулась, когда зазвонил колокольчик к трапезе. После обеда она белила ступени, пока не дождалась часа, когда послушницы угомонились и перестали сновать вверх-вниз, и вот, оставшись наконец одна, там, где не было ни единой души, впервые за все это время сказала вслух:

— Я — счастлива.

У бабки иссякли последние надежды на то, что Эрендира удерет из монастыря, но она по-прежнему держала осаду, не зная толком, что предпринять, и лишь в день Пятидесятницы ее осенила счастливая мысль... В канун этого праздника миссионеры рыскали по всей пустыне, отлавливая незамужних беременных женщин, чтобы обвенчать их с сожителями. Миссионеры добирались до забытых богом селений на полуразбитом грузовичке, в котором везли огромный сундук с яркими побрякушками и четырех хорошо вооруженных солдат. Склонить женщин к браку было нелегкой задачей — сожительницы оборонялись от божьей благодати как могли, не напрасно страшась, что, как только станут законными женами, их мужья свалят на них всю тяжелую и грязную работу, а сами будут разлеживаться в гамаках. Приходилось уламывать их обманом, растворяя суровую волю бога в сиропе самых убедительных слов их родного языка, дабы не запугать сверх меры. Однако даже самые несговорчивые сдавались при виде сережек из сусального золота. А с мужчинами, если женщины соглашались добром, разговор был короткий: ударами прикладов их вытряхивали из гамаков, связывали по рукам и ногам и, затолкнув в кузов, везли венчаться.

Несколько дней кряду мимо бабки в сторону монастыря проскакивал грузовичок, набитый беременными невестами, но сердце не подсказывало бабке, что это — долгожданный счастливый случай. Ее озарило лишь на праздник Пятидесятницы, когда она услышала треск разноцветных ракет и перезвон колоколов и увидела среди веселой нищей толпы, валившей на праздник, множество брюхатых женщин в свадебных венках и со свечками. Они вели под руку своих сожителей, которые должны были стать законными мужьями после общего обряда венчания.

В самом конце шествия брел юноша, невинный сердцем, в рванье, с жесткими, подстриженными в кружок

волосами, как у всех индейцев. Он нес большую пасхальную свечу, перевитую шелковой лентой. Бабка окликнула его.

— Эй, сынок, — крикнула уверенным голосом, — а ты что собрался делать на этой гулянке?

Оробевший молодой индеец осторожно нес праздничную свечу. Да и говорить ему было трудно из-за длинных, как у осла, зубов.

— Так ведь монахи ведут меня к первому причастию.

— Сколько тебе заплатили?

— Пять песо.

Бабка вытащила из матерчатой сумки пачку денег, при виде которой юноша опешил.

— Я дам тебе двадцать, — сказала она, — не за причастье, нет, а чтобы ты женился.

— Это на ком?

— На моей внучке.

Вот так случилось, что Эрендиру отдали замуж прямо в монастырском дворе. Она была все в том же балахоне затворницы, но с кружевной мантильей на голове, которую ей подарили послушницы, и знать не знала, как зовут супруга, которого ей купила бабушка. Настоящей мученицей она стояла на коленях на окаменелой серой земле, выдерживая козлиную вонь, которой разило от двухсот беременных невест, выдерживая грозную латынь Послания Святого Павла, которое ей вбивали в голову, точно кувалдой, под палящим солнцем. Выдерживая со смутной надеждой, ибо миссионеры, не сумевшие найти способ, чтобы помешать этой нежданной и ловко устроенной свадьбе, тянули, как могли, пообещав девочке оставить ее в монастыре. И все же под конец этой торжественной церемонии, проходившей в присутствии папского префекта и того военного алькальда, который расстреливал тучи, а также ее новоявленного супруга и невозмутимой бабушки, Эрендира на глазах у всех снова попала под власть тех страшных чар, что за-

ворожили ее с самого дня рождения. Когда Эрендиру спросили, какова будет ее доподлинная и окончательная воля, она без вдоха сомнения проговорила:

— Я хочу уйти отсюда, — и, кивнув в сторону супруга, добавила: — Только не с ним, а с моей бабушкой.

Улисс убил полдня, пытаясь украсть апельсин с плантации своего папаша, но тот не спускал с него глаз, пока они обрезали больные деревья, да и мать, не выходя из дому, стерегла каждый его шаг. Словом, Улиссу пришлось оставить свои помыслы, по крайней мере на день, и, хочешь не хочешь, помогать отцу до тех пор, пока они не подстригли все больные деревья.

В огромной апельсиновой роще стояла притаенная тишина. Дом был деревянный, под латунной крышей, с медными сетками на окнах и большой террасой на высоких опорах с неприхотливыми цветами в горшках.

На террасе в венском кресле-качалке полулежала мать Улисса. К ее вискам были приложены паленые листья, чтобы унять головную боль, но ее взгляд чистокровной индианки следовал за сыном, точно сноп незримых лучей, которые пронизывали самые глухие места огромного сада. Она была очень красива, намного моложе своего мужа и не только носила платье того же кроя, какие шьют себе женщины ее племени, но и знала самые древние тайны своих предков.

Когда Улисс вернулся в дом с садовыми ножницами, мать попросила его подать со столика лекарства, которые она принимала в четыре часа. Едва он их коснулся, пузырек и стакан изменили свой цвет. Из чистого озорства Улисс притронулся к хрустальному графину, стоящему рядом, и он мгновенно стал синим. Мать не сводила глаз с сына, запивая лекарство, и, уверившись, что ей не почудилось, спросила на языке гуахино:

— Давно это с тобой?

— Как побывали в пустыне, — сказал Улисс на том же языке. — Такое у меня только с тем, что из стекла.

В доказательство он тронул все стаканы по очереди, и они окрасились в разные цвета.

— Это бывает только от любви, — сказала мать. — Кто она?

Улисс промолчал. В этот момент на террасе показался отец с веткой, унизанной апельсинами; он не понимал их языка.

— О чем разговор?

— Ни о чем особенном.

Мать Улисса не понимала по-голландски и, когда муж прошел в дом, спросила на своем языке:

— Что он тебе сказал?

— Так, пустяки.

Он потерял из виду отца, но потом снова углядел его в окне кабинета. Мать, дождавшись, когда они остались вдвоем, переспросила с нетерпением:

— Ну, кто она?

— Никто, — упорствовал Улисс.

Он ответил рассеянно, потому что не спускал глаз с отца. Улисс увидел, как тот набрал шифр и положил апельсины в сейф. И пока Улисс следил за отцом, мать следила за Улиссом.

— Что-то ты давно не ешь хлеба.

— Я его не люблю.

Лицо матери сразу оживилось.

— Неправда, — сказала она. — Тебя губит любовь. Те, у кого такая любовь, не могут есть хлеба.

Волнение индианки смешалось с угрозой и в голосе, и во взгляде.

— Лучше скажи, кто она! Не то я силой искупаю тебя в наговорной воде.

Меж тем голландец открыл сейф и, положив туда апельсины, захлопнул бронированную дверь. И тогда Улисс, отвернувшись от окна, сказал с явным раздражением:

— Я же ответил — никто. Не веришь, спроси отца.

Голландец вырос в дверях с обтрепанной Библией под мышкой и стал раскуривать свою шкиперскую трубку. Жена спросила его на испанском:

— С кем вы встретились в пустыне?

— Ни с кем, — сказал муж, занятый своими мыслями. — Не веришь, спроси у сына.

Он уселся в дальнем углу коридора, потягивая трубку, пока не докурил ее до конца. А затем, раскрыв наугад Библию, стал читать вслух отрывки оттуда-отсюда на мерно текущем голландском языке.

Улисс обдумывал все с таким напряжением, что не мог заснуть и после полуночи. Он проворочался в гамаке еще час, силясь унять боль воспоминаний, пока сама эта боль не пробудила в нем решимость. Наскоро надев ковбойские штаны, рубашку из шотландки и высокие сапоги, Улисс выпрыгнул в окно и удрал из дому на грузовичке с птицами в клетках. Проезжая через апельсиновую рощу, он, как бы мимоходом, сорвал три спелых апельсина, которые не решался украсть накануне.

Весь остаток ночи он катил по пустыне, а с рассветом стал спрашивать всех и каждого, где сейчас Эрендира. Но никто толком не сказал ничего. В конце концов ему повезло: он узнал, что Эрендира следует за свитой сенатора Онесимо Санчеса, который совершал предвыборный вояж, и что скорей всего он уже в Новой Кастилии. Но выяснилось, что он вовсе не там, а в другом городке, и Эрендиры при нем нет, так как бабка добилась к тому времени письма, в котором сенатор самолично поручился за ее высокую нравственность, и, значит, теперь перед ней открывались самые прочные запоры на дверях пустыни. На третьи сутки Улисс повстречал развозчика почты, и тот объяснил, где их искать.

— Они едут к морю, — сказал, — и поторопись, потому что эта старая стерва собралась на остров Аруба.

Двинувшись в путь, Улисс лишь во второй половине

дня узрел огромный, линялый от времени шатер, который бабка откупила у прогоревшего цирка. Разъездной фотограф вернулся к ним, убедившись, что мир воистину не так велик, как ему думалось, и натянул рядом с шатром свои идиллические картины. Духовой оркестр подогревал клиентов Эрендиры томными звуками вальса.

Улисс дождался своей очереди, и, когда вошел, первое, что бросилось ему в глаза, — это порядок и чистота в шатре. Бабкина кровать вновь обрела свое вице-королевское величие, статуя ангела стояла на своем месте рядом с погребальным баулом Амадисов, но вдобавок появилась оцинкованная ванна на львиных лапах. Эрендира лежала нагая, умиротворенная и лучилась чистым сиянием в свете, что сочился сквозь шатер. Она спала с открытыми глазами. Улисс приблизился к ней с апельсинами в руках и только тогда заметил, что Эрендира смотрит на него невидящими глазами. Он провел рукой перед ее лицом и окликнул именем, которое придумал в мыслях о ней:

— Ариднерэ!

Эрендира проснулась. При виде Улисса она испугалась своей наготы, глухо вскрикнула и спряталась под простыней.

— Не смотри на меня, — сказала, — я страшная.

— Ты вся апельсинового цвета, — проговорил Улисс. И поднес к ее глазам апельсины. — Посмотри сама.

Эрендира открыла глаза и увидела, что апельсины такого же цвета, как ее кожа.

— Сегодня не оставайся, не надо, — сказала Эрендира.

— Я пришел, только чтобы показать тебе это, — сказал Улисс. — Глянь-ка.

Он содрал кожуру апельсина ногтями, разломил его и показал Эрендире, что внутри. В самой сердцевине плода сверкал бриллиант чистой воды.

— Вот такие апельсины мы возим через границу!

— Но ведь это живые апельсины! — ахнула Эрендира.

— Конечно, — улыбнулся Улисс, — их выращивает мой папа.

Эрендира не верила своим глазам. Она отняла руки от лица и, взяв осторожными пальцами бриллиант, смотрела на него в изумлении.

— С такими тремя мы сможем объехать весь мир, — сказал Улисс.

Эрендира вернула ему бриллиант, и лицо ее сразу погасло. Улисс не отставал.

— К тому же у нас есть грузовичок — и еще... вот, смотри!

Он вытащил из-за пазухи допотопный пистолет.

— Я смогу уехать только через десять лет, — сказала Эрендира.

— Нет, ты уедешь, — настаивал Улисс. — Ночью, когда эта белая китиха уснет, я буду тут, рядом, и прокричу совой.

Он так похоже изобразил уханье совы, что глаза Эрендиры впервые за все время улыбнулись.

— Значит, это моя бабушка?

— Кто — сова?

— Нет, китиха.

Оба засмеялись, но Эрендира вспомнила о своем.

— Никто никуда не может уехать без разрешения своей бабушки.

— Да ей и не надо говорить.

— Она сама узнает, — вздохнула Эрендира. — Она все видит во сне.

— Когда ей приснится, что ты уезжаешь, мы будем по ту сторону границы. Проедем, как контрабандисты... — сказал Улисс.

Он схватился за пистолет, точно герой ковбойского фильма, и изобразил звуки выстрелов, чтобы подбодрить Эрендиру своей отвагой. Эрендира не сказала ни «да», ни «нет», но глаза ее вздохнули, и она грустно по-

целовала Улисса на прощание. Улисс растроганно шепнул:

— Завтра мы увидим море и корабли.

В тот вечер, чуть позже семи, когда Эрендира расчесывала бабке волосы, снова задул ветер ее Несчастья. В шатре укрылись индейцы-носильщики и хозяин духового оркестра, ожидавшие жалованья. Бабка, только что пересчитавшая банкноты, которые держала в большом ларе, рядом с собой, проверив свои записи в приходно-расходной книге, выдала деньги старшему из индейцев.

— Вот тебе, — сказала она, — двадцать песо за неделю, минус восемь за еду, минус три за воду, минус пятьдесят сентаво — почти даром — за новые рубашки. Итого восемь песо пятьдесят сентаво. Пересчитай при мне.

Старший пересчитал деньги, и все четверо индейцев удалились, почтительно кланяясь.

— Спасибо, белолицая сеньора.

Следующим на очереди был хозяин оркестра. Бабка заглянула в свою толстую тетрадь и окликнула фотографа, который пытался прилепить к муфте аппарата заплаты из пластыря.

— Ну так как? — спросила она. — Платишь или не платишь четвертую часть за музыку?

Фотограф даже не поднял головы.

— На моих снимках нет музыки.

— Но под музыку люди так и бегут фотографироваться, — возразила бабка.

— Ничего подобного, — сказал фотограф, — эта горе-музыка напоминает о покойниках, и потому все на снимках с закрытыми глазами.

Тут вмешался хозяин оркестра.

— Музыка ни при чем, — сказал он, — это от вспышек магния.

— Нет, от музыки, — упорствовал фотограф.

Бабка прекратила спор разом.

— Ну и жох, — сказала она. — Вон какой успех у се-

натора Онесимо Санчеса, а все потому, что при нем музыканты. — И со всей суровостью заключила: — В общем, или плати, что положено, или ищи своего счастья в другом месте. Зачем это бедной девочке самой платить за все? Где справедливость?

— Я-то свое возьму! — сказал фотограф. — Я, к вашему сведению, художник, а не кто-нибудь.

Бабка передернула плечами и занялась музыкантом. Она протянула ему пачку денег в полном соответствии с записью в книге.

— Всего сыграно двести пятьдесят четыре пьесы, — сказала она. — Пятьдесят сентаво за каждую плюс тридцать две по воскресеньям и в праздники — по шестьдесят сентаво. Стало быть — сто пятьдесят шесть песо двадцать сентаво.

Музыкант нахмурился.

— Нет, сто восемьдесят два песо и сорок сентаво, — сказал он. — Вальсы — дороже.

— С чего это?

— Они самые грустные.

Бабка все-таки всучила ему деньги.

— Значит, на этой неделе сыграешь две веселенькие вещи за каждый вальс, что я тебе должна, — и мы квиты.

Музыкант силился понять бабкину логику, но не смог и совсем запутался.

В этот момент страшным ударом ветра чуть не сорвало с места шатер, и следом, в наступившей внезапно тишине, четко и зловеще ухнула сова.

Эрендйра не знала, как скрыть волнение. Она хлопнула крышку сундучка с деньгами и задвинула его под кровать. Бабка почувствовала, как дрожит внучкина рука, когда взяла у нее ключ.

— Не бойся, — сказала, — ночью в ненастье всегда ухают совы.

Однако и ей стало не по себе, когда она увидела, что фотограф, закинув аппарат на плечо, собрался уходить.

— Хочешь, оставайся здесь до утра, — сказала. — В такую ночь смерть бродит повсюду.

Фотограф тоже услышал протяжные крики совы, но стоял на своем.

— Оставайся, голубчик, — наседала бабка, — как-никак, я к тебе привязалась.

— С уговором — за музыку я не плачу, — сказал фотограф.

— О нет! — возразила бабка. — Это — ни за что!

— Вот так, — бросил фотограф, — да вы вообще никого не любите.

Бабка позеленела от ярости.

— Тогда убирайся отсюда! Ублюдок!

Чувствуя себя оскорбленной до глубины души, она крыла его почем зря, пока Эрэндира готовила ее ко сну. «Поганец, — шипела бабка, — что может знать этот жалкий выползок о чужом сердце!» Эрэндира не слышала бабушкиных слов: в те короткие минуты, когда стихал ветер, совиный крик звал ее все настойчивее, надрывнее, и она, бедная, терзалась в нерешительности.

Бабка улеглась, исполнив прежде весь ритуал, какой когда-то неукоснительно соблюдался в ее старинном особняке. Эрэндира долго и старательно обмахивала веером бабку, и та, пересилив наконец свой гнев, мерно задышала, обретая себя.

— Завтра встань пораньше, — сказала, — и завари траву, чтобы мне искупаться до людей.

— Хорошо, бабушка.

— А потом найди время и простирни одежду индейцев, тогда мы удержим с них деньги прямо на следующей неделе. И спи помедленнее, чтоб не устать. Завтра у нас четверг — самый длинный день недели.

— Хорошо, бабушка.

— И накорми страуса.

— Хорошо, бабушка.

Она оставила веер в головах кровати и зажгла две

свечи возле сундука с костями покойников. Бабка, уже во сне, запоздало распорядилась:

— Не забудь зажечь свечи Амадисам.

— Хорошо, бабушка.

Эрендира знала: раз бабушка начала бредить, значит, ее не добудиться.

Девочка прислушалась к завыванию ветра за стенами шатра, но, как и в прошлый раз, не угадала, что он принесет ей Несчастье. Когда вновь раздалось уханье совы, Эрендира выглянула в темень, и в конце концов ее мечта о воле взяла верх над грозными чарами бабушки.

Но не успела Эрендира отойти на пять шагов от шатра, как нос к носу столкнулась с фотографом, который привязывал пожитки к багажнику велосипеда. Его понимающая улыбка приободрила девочку.

— Лично я ничего не знаю, ничего не видел и не стану платить за музыку, — сказал фотограф.

Он поклонился на все стороны и уехал. А Эрендира помчалась прочь от шатра и скрылась в кромешной тьме, где сквозь ветер кричала сова.

На сей раз бабка незамедлительно обратилась к властям. Военный комендант чуть не вывалился из гамака, как только она в шесть утра ткнула ему в лицо письмо сенатора. Отец Улисса дождался в дверях.

— Ну как, черт побери, я буду читать? — заорал он. — Меня этому не учили!

— Это рекомендательное письмо сенатора Онесимо Санчеса, — процедила бабка.

Комендант без лишних слов схватил винтовку, висевшую рядом с гамаком, и громовым голосом стал отдавать приказы подчиненным.

Через пять минут военная машина с солдатами неслась наперекор ветру, который заметал следы беглецов. Впереди, рядом с водителем, сидел сам комендант. Позади — голландец с бабкой, а на подножках с обеих сторон пристроились полицейские.

Недалеко от городка они задержали колонну грузовиков, крытых брезентом. Люди, прятаясь в кузовах, приподняли брезент и наставили на машину пулеметы и винтовки. Комендант спросил у водителя первого грузовика, на каком расстоянии отсюда им повстречался фермерский грузовичок с птичьими клетками. Водитель яростно рванул с места.

— Мы не легавые, — бросил на ходу, — мы — контрабандисты.

Когда перед самым носом коменданта проскочили один за другим закопченные стволы пулеметов, он поднял руки и улыбнулся.

— Стыдоба! — крикнул вдогон. — Хоть бы не разъезжали среди бела дня!

На борту последнего грузовика была выведена надпись: «*Я мечтаю о тебе, Эрендира*».

Чем дальше военная машина удалялась к северу, тем суше становился ветер, а солнце, озлившись на ветер, палило так, что в машине с поднятыми стеклами нечем было дышать от жары и пыли.

Бабка первая углядела фотографа, он жал изо всех сил на педали в том же направлении, и единственной защитой от солнечного удара ему служил носовой платок, повязанный на голову.

— Вон он! — заорала бабка. — В сговоре с ними, ублюдок!

Комендант приказал одному из полицейских заняться фотографом.

— Бери его и жди здесь, — сказал он. — Мы скоро вернемся.

Полицейский прыгнул с подножки и, напрягая голос, дважды рявкнул: «Стой! Стой!»

Но из-за встречного ветра фотограф решительно ничего не услышал. Когда его обогнала военная машина, старуха сделала ему какой-то загадочный жест. Фотограф принял это за приветствие, улыбнулся и дружески помахал рукой. Не услышав выстрела, он пере-

вернулся в воздухе и рухнул замертво с разможенной головой на велосипед, так и не узнав, за что и почему его настигла пуля.

Ближе к полудню преследователи увидели перья, которые уносило обжигающим суховеем. Прежде им никогда не встречались такие перья, но голландец тотчас признал их, потому что это были перья его птиц, по-выдернутые ветром. Водитель изменил направление, нажал на газ, и через полчаса, а то и раньше они заметили на горизонте грузовичок.

Когда Улисс увидел в боковое зеркальце приближавшуюся машину, он попытался оторваться от нее, но ничего не мог выжать из мотора. Все это время они ехали без остановок и устали до полусмерти от бессонной ночи и жажды. Эрендира, задремавшая на плече Улисса, очнулась в страхе. Увидев машину, уверенно настигавшую их грузовичок, она с наивной отвагой схватила пистолет, лежавший в перчаточном ящике.

— Без толку, — сказал Улисс. — Это пистолет Френсиса Дрейка.

Он ударил по нему в ярости раз-другой и выбросил в окно. Комендантская машина обогнала разболтанный грузовичок с птицами, наголо ошипанными ветром, и, круто развернувшись, встала поперек дороги.

Я познакомился с бабкой и ее внучкой в пору их самого пышного расцвета, однако заинтересовался всеми подробностями этой истории много позже, когда Рафаэль Эскалона поведал нам в своей песне о ее трагической развязке, и мне подумалось — об этом стоит рассказать. В ту пору я торговал энциклопедиями и медицинскими книгами, разъезжая по провинции Риоача. Альваро Сепеда Самудио тоже мотался по этим краям, сбывая аппараты для производства охлажденного пива. Он усадил меня в свой грузовичок, сказав, что ему нужно поговорить со мной о чем-то важном, и, колеся по всем

селениям, мы так много говорили о всяких пустяках и выпили столько пива, что не заметили, как и когда пересекли пустыню и очутились на самой границе. Там-то и стоял шатер бродячей любви, над которым красовались натянутые полотнища с призывными словами: *«Нет слаще Эрендиры!»*, *«Приходите снова — Эрендира ждет!»*, *«Без Эрендиры жизнь не жизнь!»* В нескончаемую очередь сбивались мужчины разного достатка и разных стран, и эта огромная очередь походила на змею с челевечьими позвонками, которая, подрагивая в полудреме, растянулась через площади, дворы, крытые рынки и шумные утренние торжища, через все улицы суматошного города, где сновали заезжие торговцы. Каждая улочка была притоном, каждая развалюха — питейным заведением, каждая дверь — пристанищем беглых людей. Невнятная разноголосица музыки и протяжные выкрики уличных торговцев вливались истошным паническим ревом в одуряющий зной города.

Среди сонма бездомных бродяг и бездельников был и Блакаман Добрая душа; взобравшись на стол, он просил найти ему живую гадюку, чтобы тут же на себе показать чудодейственные свойства изобретенного им противоядия. Была там и женщина, превратившаяся в паука за непокорство родителям. За пятьдесят сентаво она позволяла себя трогать любому, кто желал увериться, нет ли обмана, и охотно отвечала на все вопросы, касаемые ее злосчастной судьбы. Был и посланец Вечной жизни, возвещавший о том, что скоро со звезд слетит на землю чудовищная летучая мышь, чье опаляющее серное дыхание нарушит весь порядок в природе и вынесет на поверхность воды все тайны со дна моря.

Единственной тихой заводью в городе был квартал с домами терпимости, куда докатывались лишь тлеющие угольки городской сумятицы. Женщины, прибывшие сюда из четырех квадрантов навигационной розы, зевали от скуки, слоняясь по опустевшим гостиным. Сидя в креслах в часы сиесты, они дремали и дремали под мер-

ный шелест вентиляторов, и никто их не будил, чтобы заняться любовью, и беднягам только и оставалось, что ждать пришествия чудовищной звездной мыши. Внезапно одна из женщин резко встала и направилась к галерее, которая выходила на улицу и была увита лиловыми и алыми цветами на колючих стеблях. Внизу тянулась очередь к Эрендире.

— Эй, вы! — крикнула женщина. — Интересно, что у нее иначе, чем у нас?

— У нее письмо сенатора, — отозвался кто-то из очереди.

На крики и смех выскочили другие девицы.

— Который день, — сказала одна, — а очередь не убывает. По пятьдесят песо каждый, с ума сойти!

Первая, кто вышла на галерею, вдруг сказала:

— Как хотите, а я пойду посмотрю, что там из золота у этой малявки.

— И я пойду, — подхватила другая, — все лучше, чем без толку греть стулья.

За ними последовали остальные, и к шатру Эрендиры прибыла уже целая толпа разъяренных девок. Они ворвались в шатер и стали лупить подушками мужчину, который в те минуты самым наилучшим способом тратил свои кровные денежки, скинули его на пол и, взяв за ножки кровать, где лежала нагая Эрендира, вытащили ее на носилках прямо на улицу.

— Это произвол! — орала бабка. — Безродные твари! Дешевки! — А потом в сторону очереди: — На что вы годитесь, дохляки?! На ваших глазах такое творят над беззащитным существом... Яйца бы вам поотрезать, блядуны хреновые!

Она кричала, как оглашенная, дубася палкой всех, кто попадался под руку, но ее бешеные вопли тонули в криках и злых насмешках толпы.

Эрендира не смогла спастись от такого страшного позора — удрать не позволяла собачья цепь, которой бабка приковывала ее к кровати после неудавшегося

побега. Но никто ее по дороге не мучил. Нагую Эрендиру медленно пронесли на ее алтаре под навесом по самым людным улицам, словно это аллегорическое шествие с кающейся грешницей в цепях, а потом сунули в раскаленную от зноя клетку посреди главной площади. Эрендира сжалась в комочек, спрятала в ладони сухие, без слезинки глаза и вот так лежала на самом пекле, кусая от стыда и бессильной ярости тяжелую цепь своего несчастья, пока какая-то сердобольная душа не прикрыла ее рубашкой.

Это был один-единственный раз, когда я увидел ее воочию, но со временем узнал, что они с бабушкой обрелись в том пограничном городке под покровительством местных властей до тех пор, пока бабушка не набила до отказа огромные сундуки. Лишь тогда старуха с внучкой покинули пустыню и двинулись к морю. Во все времена в этом царстве беспросветной нищеты никому не доводилось видеть такого скопища богатств. Нескончаемо тянулись запряженные волами повозки, на которых громоздилось пестрое барахло, как бы возрожденное из пепла сгоревшего особняка. Вдобавок к императорским бюстам и диковинным часам везли купленный по случаю рояль и граммофон с набором душещипательных пластинок. Индейцы шли по обе стороны, охраняя все это имущество, а духовой оркестр возвещал об этом победительном шествии в каждом городке.

Бабушка сидела в паланкине, увитом разноцветными бумажными гирляндами, под сенью тяжелого церковного балдахина и непрерывно жевала зерна, которыми, как всегда, была набита ее матерчатая сумка. Бабушкины габариты стали еще внушительнее, потому что она надела парусиновый жилет, в карманах которого, точно в патронташе, лежали слитки золота. Рядом с ней была Эрендира в ярком нарядном платье с золотыми блестками, но по-прежнему с цепью на щиколотке.

— Тебе грех жаловаться, — сказала бабушка, когда позади остался пограничный город. — Наряды у тебя —

царские, постель роскошная, собственный оркестр и прислуга — четырнадцать индейцев. Это же чудо, а?

— Да, бабушка.

— Когда я уйду от тебя, — продолжала, — ты не будешь жить за счет мужчин, ты купишь дом в самом главном городе. И станешь свободной и счастливой.

Это был совершенно новый и неожиданный поворот в бабкиных взглядах на будущее. Но об изначальной сумме долга бабка не заговаривала, да и все как-то запуталось: сроки окончательной уплаты откладывались, а расчеты стали совсем мудреными. Эрендира ни единым вздохом не выдавала, что у нее на душе. Она молча сносила все постельные муки в едком тумане свайных селений, в зловонии от селитряной жижи, в лунных кратерах тальковых карьеров, а меж тем бабка без устали расписывала ее счастливое будущее, словно гадала на картах. Однажды вечером, выбираясь из мрачного ущелья, они уловили в ветре древний запах лавра, услышали обрывки ямайской речи и почувствовали жажду жизни, от которой защемило их сердца.

— Вот оно, гляди! — сказала бабка, жадно вдыхая прозрачное сияние Карибского моря, ибо полжизни провела в пустыне. — Нравится?

— Да, бабушка.

Там они и поставили шатер. Бабка проговорила всю ночь, так и не сомкнув глаз, и минутами тоска о невозвратном прошлом путалась в ее словах с видениями грядущего. Заснув наконец, она проспала дольше обычного. И проснулась, умиротворенная шумом волн. Но когда Эрендира усадила ее в ванну, бабка снова взялась пророчить, и ее истовые речи смахивали на горячечный бред.

— Ты станешь великой властительницей, — говорила, глядя на Эрендиру. — Самой знатной дамой, тебя будут боготворить твои подданные, почитать и перевозносить самые высокие правители. Капитаны будут посылать тебе цветные открытки из всех портов мира.

Эрендира не слушала ее. Теплая вода, настоящая на душе, текла в ванну по желобу, проведенному с улицы. Эрендира, чуть дыша, с застывшим лицом черпала эту воду тыквенной плошкой и обливала бабкины намыленные тела.

— Слава о твоём доме будет передаваться из уст в уста от Антильских островов до Голландского королевства, — вещала старуха. — И дом твой станет могущественнее президентского дворца, потому что в стенах твоего дома будут обсуждать государственные дела и вершить судьбы нации.

В этот момент в желобке вода вдруг исчезла. Эрендира вышла из шатра посмотреть, в чём дело. И увидела, что индеец, которому положено лить воду в желоб, колет дрова возле кухни.

— Холодная вода кончилась, — сказал он, — пусть остынет эта.

Эрендира подошла к плите, где стоял большой котел с кипящими благовонными листьями. Обернув руку тряпьем, она приподняла котел и поняла, что сумеет донести его без посторонней помощи.

— Иди, — сказала она индейцу, — я сама налью.

Эрендира еле дождалась, когда индеец выйдет из кухни, потом сняла с огня котел с горячей водой, насилу подняла его и собралась было вылить кипяток в широкий желоб, как вдруг раздался бабкин голос:

— Эрендира!

Ну будто она все увидела! Внучка помертвела от страха, и в последнюю минуту ее охватило раскаяние.

— Сейчас, бабушка, — сказала она, — я стужу воду.

Той ночью девочку допоздна терзали сомнения, а бабушка, уснувшая в жилете с золотыми слитками, до рассвета распевала во сне песни. Эрендира, лежа в постели, не сводила с бабки глаз, которые в полутьме горели, как у кошки. Потом она вытянулась, словно утопленница, с открытыми глазами, скрестив руки на груди,

и, собрав все свои душевные силы, беззвучным голосом позвала:

— Улисс!

Улисс внезапно проснулся в доме среди апельсиновых деревьев. Он так явственно услышал зов Эрендиры, что бросился искать ее в полутемной комнате. Но, подумав минуту-другую, быстро сложил в узел свою одежду и выскользнул за дверь. Когда он крался по террасе, его настиг отцовский голос:

— Ты куда это?

Улисс увидел отца, озаренного лунным светом.

— К людям, — ответил юноша.

— На сей раз я не стану тебе мешать, — сказал голландец, — но знай, где бы ты ни скрывался, тебя найдет отцовское проклятие.

— Ну и пусть! — сказал Улисс.

Голландец смотрел вслед удалявшемуся по лунной роще Улиссу с удивлением, даже гордясь решимостью сына, и в его взгляде промелькнула довольная улыбка. За спиной голландца стояла его жена, как умеют стоять только прекрасные индианки. Когда Улисс хлопнул калиткой, голландец сказал:

— Вернется как миленький. Жизнь его обломает, и он вернется раньше, чем ты думаешь.

— Нет в тебе ума! — вздохнула индианка. — Он никогда не вернется.

Теперь Улиссу незачем было спрашивать дорогу к Эрендире. Он пересек пустыню, прячась в кузовах попутных машин. Крал что подвернется, чтобы было что есть и где спать, а нередко крал из любви к риску и в конце концов добрался до шатра, который на сей раз стоял в приморском селении, откуда были видны высокие стеклянные здания горевшего вечерними огнями города, а по ночам тишину нарушали прощальные гудки пароходов, уходивших к острову Аруба.

Эрендира, прикованная цепью к кровати, спала в той позе всплывшей утопленницы, в какой призвала юношу

к себе. Улисс смотрел на нее долго, боясь разбудить, но взгляд его был таким трепетным, таким напряженным, что Эрендира проснулась. Они поцеловались в темноте и, не торопясь, с безмолвной нежностью, с затаенным счастьем ласкали друг друга, а потом, изнемогая, сбросили с себя одежды и, как никогда, были самой Любовью.

В дальнем углу шатра спящая бабка грузно перекадилась на другой бок и принялась бредить.

— Это случилось в тот год, когда приплыл греческий пароход, — сказала она, — с командой шальных матросов, которые умели делать счастливыми женщин и платили не деньгами, а морскими губками, еще живыми, и те потом ползали по домам и стонали, точно больные в жару, и, когда дети плакали от страха, пили их слезы.

Старуха вдруг приподнялась, словно кто ее тряхнул, и села на постели.

— И вот тогда пришел он. Бог мой! — вскрикнула старуха. — Он был сильнее, моложе и в постели куда лучше моего Амадиса.

Улисс, не замечавший поначалу бабкиного бреда, испугался, увидев, что она сидит на постели. Эрендира его успокоила.

— Да не бойся! — сказала. — Бабушка всегда говорит об этом сидя, но чтоб проснуться — такого не было.

Улисс положил ей голову на плечо.

— Той ночью, когда я пела вместе с моряками, мне показалось, что разверзлась земля, — продолжала спящая бабка. — Да и все, наверно, так решили, потому что разбежались с криками, давясь от смеха, и остался он один под навесом из астромелий. Как сейчас помню — я пела песню, которую пели тогда повсюду. Ее пели даже попугаи во всех патио.

И дурным, неверным голосом, каким поют лишь во сне, бабка завела песнь своей неизбывной печали:

*Господи боже, верни мне былую невинность,
дай насладиться его любовью, как в первый день.*

Только теперь Улисс прислушался к горестным словам старухи.

— Он явился, — говорила она, — с какаду на плече и с мушкетом, чтобы бить людоедов, как Гуатарраль — в Гвиану. И я услышала его роковое дыхание, когда он встал предо мной и сказал: «Я объездил весь свет и видел женщин всех стран и могу поклясться, что ты самая свое- нравная, самая понятливая и самая прекрасная женщи- на на земле».

Она снова легла и зарыдала, уткнувшись в подушку. Улисс с Эрендирой замерли в темноте, чувствуя, как их укачивает раскатистое бабкино дыханье. И вдруг Эрендира голосом твердым, без малейшей запинки, спросила:

— Ты бы решился убить ее?

Улисс, застигнутый врасплох, не знал, что сказать.

— Не знаю. А ты бы?

— Я не могу, — ответила Эрендира, — она моя бабушка.

Тогда Улисс обвел глазами огромное спящее тело, как бы прикидывая, сколько в нем жизни, и со всей решимостью проговорил:

— Ради тебя я готов на все!

Улисс купил целый фунт крысиного яда, смешал со сливками и малиновым вареньем, начинил этим гибельным кремом торт, из которого вытащил прежнюю начинку, сверху обмазал его погуще и разровнял ложечкой, чтобы не осталось следов их злодейского замысла. А затем увенчал этот обманный торт семьюдесятью двумя розовыми свечками.

При виде Улисса, вошедшего с праздничным тортом в шатер, бабка сорвалась с трона и угрожающе замахнулась епископским посохом.

— Наглец! — заорала. — Как ты смеешь являться в этот дом!

— Молю вас простить меня, — сказал он, пряча свою

ненависть за ангельской улыбкой. — Ведь сегодня день вашего рождения!

Обезоруженная коварной покорностью, старуха тотчас приказала накрыть стол со всей щедростью, как для свадебного пира.

И усадила Улисса по правую руку. А Эрендира им прислуживала. Погасив свечи одним сокрушительным выдохом, бабка разрежала торт на равные кусищи, первый протянула Улиссе.

— Человек, который знает, как обрести прощение, уже наполовину обретает место в раю. Вот тебе на счастье первый кусок.

— Я не очень люблю сладкое, — проговорил Улисс, — угощайтесь сами.

Следующий кусок бабушка предложила Эрендире, а та вынесла его на кухню и бросила в мусорное ведро.

Бабка сама управилась с тортом в два счета. Заталкивая в рот целые куски, она заглатывала их, не прожевывая, со стоном блаженства и сквозь дымку наслаждения разнеженно глядела на Улисса. Когда ее тарелка опустела, она взялась за кусок, от которого отказался Улисс. Облизываясь, старуха собрала все крошки и кинула их в рот.

Она съела столько мышьяка, сколько хватило бы, чтобы истребить уйму крыс. Но она как ни в чем не бывало терзала рояль и пела до полуночи. А потом улеглась и, совершенно счастливая, заснула сладким сном. Лишь в ее дыхании появился какой-то скрежет.

Улисс с Эрендирой смотрели на нее с нетерпением, ожидая смертных судорог. Но когда она начала бредить, ее голос был по-прежнему полон жизни.

— Я сошла с ума! Бог мой! Я сошла с ума! — гремела бабка. — Я закрыла от него спальню на два засова, а к дверям придвинула ночную тумбочку и стол, на который поставила все стулья. Но он едва слышно постучал перстнем — и все мои преграды рухнули: стулья сами

собой встали на пол, стол и ночная тумбочка подались назад, а засовы сами собой отодвинулись.

Эрендира с Улиссом смотрели на нее с нарастающим изумлением, а бред ее тем временем становился все неистовее и голос — горестнее.

— Я думала — вот-вот умру, я была вся в поту от страха, но про себя молилась: пусть дверь откроется, не открываясь, пусть он войдет, не входя, пусть он будет со мной всегда, но больше не возвращается, потому что я убью его.

Несколько часов подряд бабка потрошила свою душу, выкладывая самые интимные подробности драмы, переживая ее заново во сне. Перед самым рассветом она повернулась на другой бок с шумом затухающего землетрясения, и голос ее сломался в безудержных рыданиях.

— Я его предупредила, а он смеялся, — надсаживала горло бабка, — я снова пригрозила, а он снова засмеялся, потом открыл свои обезумевшие глаза и успел сказать: «О, моя королева! Моя королева!» Но голос его вырвался из глотки, в которую вонзился мой нож.

Холодея от страха, Улисс схватил Эрендиру за руку.

— Убийца! — крикнул он.

Эрендира даже не глянула на него, потому что в эти минуты стало светать и часы отбили пять ударов.

— Иди! — сказала Эрендира. — Бабушка сейчас проснется.

— Да в ней жизни больше, чем у слона! — воскликнул Улисс. — Так не бывает!

Эрендира смерила его уничтожающим взглядом.

— Бывает, потому что ты даже убить не умеешь, — проговорила она.

Улисс, потрясенный такой жестокостью упрека, ушел, не сказав ни слова.

Эрендира смотрела на спящую бабушку с глухой ненавистью, с бессильной злобой, а тем временем в разливе утреннего света просыпались птицы. Бабка наконец

открыла глаза и взглянула на внучку с блаженной улыбкой.

— Храни тебя господь, детка! — сказала.

Единственной заметной переменной в ее поведении было то, что нарушился строгий распорядок жизни. В среду бабке приспичило надеть воскресный наряд, она приказала Эрендире не принимать до одиннадцати ни одного клиента, велела покрыть себе ногти лаком гранатового цвета и сделать прическу на манер папской тиары.

— Смерть как хочу сфотографироваться! — воскликнула старуха.

Эрендира начала расчесывать ей волосы, но не успела провести гребнем по голове, как в зубьях застрял целый пук волос. В страхе она показала его бабушке. Старуха долго изучала этот пук, потом дернула большую прядь, и та вся целиком осталась у нее в пальцах. Бабка бросила ее на пол, ухватила клочок побольше и легко выдернула его из головы. Тогда она стала обеими руками дергать волосы и, ликуя, заходясь смехом, подбрасывать вверх, пока ее голова не стала похожа на очищенный кокосовый орех.

Об Улиссе не было ни слуху ни духу целых две недели, и лишь на пятнадцатый день снаружи призывно крикнула сова. Бабка, терзавшая рояль, так глубоко погружилась в свою тоску, что не замечала ничего вокруг. На голове ее красовался парик из ярких перьев.

Эрендира поспешила к дверям, но вдруг заметила бикфордов шнур, который выползал из-под крышки рояля и уходил к густым зарослям кустарника, теряясь во тьме. Эрендира бросилась к Улиссе, спряталась с ним в кустах, и оба с замиранием сердца стали смотреть, как по шнуру к детонатору пополз синий огонек, просквозил темноту и проник в шатер.

— Закрой уши! — крикнул Улисс.

Они оба заткнули уши, но зря, потому что не было никакого грохота. Шатер осветился изнутри от бесшум-

ного взрыва и исчез в густых клубах дыма, который повалил от подмоченного пороха. Когда Эрендира осмелилась войти внутрь в надежде обнаружить мертвую бабушку, она увидела, что жизни в ней хоть отбавляй: старуха в изорванной ключьями рубахе и обгорелом парике носилась туда-сюда, забивая огонь одеялом.

Улисс вовремя улизнул, воспользовавшись общей суматохой среди индейцев, совершенно одуревших от противоречивых приказов старухи. Когда они справились наконец с огнем и рассеяли дым, пред всеми предстала картина истинного бедствия.

— Тут чьи-то козни, — сказала бабка, — сами по себе рояли не взрываются.

Она пустила в ход всю свою хитрость, чтобы дознаться о причинах нового пожара, но старуху сбивали с толку уклончивые ответы Эрендиры и ее невозмутимый вид. Она не обнаружила ни малейшей подозрительной черточки в поведении внучки и хоть бы раз вспомнила о существовании Улисса. До самого рассвета она нанизывала одну догадку на другую и подсчитывала убытки. Потом подремала какую-то малость, но плохо, беспокойно. Наутро Эрендира сняла с нее жилет с золотыми слитками и увидела на ее плечах огромные волдыри, а на груди — живое мясо.

— Еще бы! Ведь я не спала, а ворочалась с боку на бок! — сказала бабка, когда внучка смазывала ожоги взбитыми белками. — Да и сон видела какой-то чудной. — Огромным напряжением воли бабка сосредоточилась, вызывая в памяти этот сон, и наконец увидела все как наяву. — В белом гамаке лежал павлин!

Эрендира обомлела, но сдержала страх, и лицо ее не дрогнуло.

— Это добрый знак, — солгала, — павлины к долгой жизни.

— Услышь тебя господь, детка! — сказала старуха. — Потому что нам все начинать сызнова, как в прошлый раз.

Эрендира оставалась бесстрашной. Она вымазала взбитыми белками бабку по шею, покрыла ее голый череп густым слоем горчицы и вышла во двор. Взбивая новые белки под пальмовым навесом кухни, Эрендира наткнулась взглядом на глаза Улисса, который смотрел на нее из-за плиты точь-в-точь как в первый раз из-за спинки кровати. Она не удивилась, нет, а лишь сказала усталым голосом:

— Ты только и добился, что увеличил мой долг.

Глаза Улисса помутнели от боли. Не шелохнувшись, он смотрел, как Эрендира бьет яйцо за яйцом с застывшим на лице презрением, будто его тут нет. Глаза Улисса метнулись, оглядели разом все, что было на кухне, — развешанные кастрюли, связки чеснока, столовую посуду и большой кухонный нож. Не говоря ни слова, Улисс поднялся, решительно шагнул под навес и схватил этот нож.

Эрендира даже не обернулась, но, когда он выбежал из кухни, сказала вдогонку еле слышно:

— Берегись, ей была весть о скорой смерти. Она видела во сне павлина в белом гамаке.

Бабка, увидев в дверях Улисса с ножом, сделала нечеловеческое усилие и поднялась сама, без своей палки.

— Сынок! — заорала. — Ты рехнулся!

Улисс бросился на нее и нанес удар ножом прямо в грудь, вымазанную белками. Бабка со стоном подмяла Улисса под себя, пытаясь задушить своими огромными ручищами.

— Ах ты, выродок! — задыхалась она. — Поздно я поняла, что ты злодей с ангельским ликом.

Больше она ничего не могла сказать, потому что Улисс, высвободив руку, всадил нож в ее бок. Исходя стоном, старуха еще яростнее набросилась на своего насильника. Улисс нанес ей третий удар, и тугая струя крови брызнула ему в лицо. Кровь была маслянистая, липкая и зеленая, как мятный мед.

Эрендира застыла с тазиком у входа, с преступным хладнокровием наблюдая за схваткой.

Огромная старуха каменной глыбой обрушилась на Улисса, рыча от боли и ярости. Ее руки, ноги, даже голый череп — все было в зеленой крови. Могучее, словно накачиваемое поршнем бабкино дыхание, уже нарушенное предсмертными хрипами, заполнило все вокруг. Улиссу снова удалось высвободить руку, и он пырнул бабку в живот с такой силой, что хлынувшая зеленая кровь залила его с ног до головы. Бабка, хватая ртом воздух, рухнула ничком. Улисс сбросил ее безжизненные руки и торопливо пырнул распростертое тело в последний раз.

Вот тут Эрендира поставила тазик на стол, склонилась над бабкой — опасно, боясь прикоснуться, и, когда окончательно уверилась, что бабушка мертва, ее детское личико разом отвердело и обрело ту зрелость взрослого человека, какую не могли ей дать все двадцать лет страдальной жизни. Быстрыми и хваткими пальцами она сняла с бабки жилет с золотом и выскочила из шатра.

Улисс сидел возле трупа совершенно обессиленный, и чем упорнее старался оттереть свое лицо, тем сильнее оно покрывалось зеленой жижей, как бы вытекающей из его пальцев. Он опомнился, когда увидел уходящую от него Эрендиру с золотым жилетом в руках.

Улисс звал ее, надрываясь криком, но не услышал ответа. Тогда он подполз к дверям и увидел, что Эрендира бежит берегом моря в другую сторону от города. Напрягая последние силы, он пустился ей вдогонку с душераздирающим воплем, но то был вопль не любовника, а брошенного ребенка. Вскоре его свалила страшная усталость, ибо он сам, безо всякой подмоги, убил женщину. Бабкины индейцы настигли его на берегу, где он лежал ничком, плача от одиночества и страха.

Эрендира ничего не слышала. Она неслась против ветра быстрее лани, и ни один голос на свете не смог бы

ее остановить. Она пробежала без оглядки сквозь обжигающий жар селитряных луж, сквозь пыль тальковых котловин, сквозь дурманную хмарь свайных селений, пока не осталось ни одной живой приметы моря и не вступила в свои права пустыня. Но Эрендира, прижав к груди слитки золота, бежала и бежала, оставляя позади и сухие ветры, и неизбывные сумерки.

И с тех пор никто никогда не слышал о ней и не встретил самого малого следа ее злосчастья.

**РАССКАЗ ЧЕЛОВЕКА,
ОКАЗАВШЕГОСЯ
ЗА БОРТОМ
КОРАБЛЯ**

Перевод Т. Шишовой

РАССКАЗ ЧЕЛОВЕКА, ОКАЗАВШЕГОСЯ ЗА БОРТОМ КОРАБЛЯ

РАССКАЗ ЧЕЛОВЕКА, ВЫБРОШЕННОГО ЗА БОРТ КОРАБЛЯ, десять дней продрейфовавшего на плоту без еды и питья, объявленного национальным героем, удостоившегося поцелуя нескольких королев красоты, разбогатевшего на рекламных объявлениях, а потом впавшего в немилость у правительства и забытого навсегда.

ИСТОРИЯ ЭТОЙ ИСТОРИИ

28 февраля 1955 года поступило сообщение о том, что во время грозы на Карибском море восемь членов экипажа эскадренного миноносца «Кальдас» свалились в воду и пропали без вести. Корабль шел из американского порта Мобил, где его отремонтировали, в колумбийский порт Картахену, куда и прибыл точно по расписанию через два часа после трагедии. Поиски пропавших моряков начались немедленно, причем не без содействия американских вояк, контролирующих зону Панамского канала и занимающихся прочей благотворительной деятельностью на юге Карибского моря. Через четыре дня поиски прекратились, и пропавших моряков официально объявили погибшими. Однако через неделю один из них, едва живой, объявился на пустынном берегу на севере Колумбии, продрейфовав десять дней на плоту без воды и пищи. Его звали Луис Алехандро Веласко. Моя книга — это журналистская запись его

рассказа, и я публикую ее в том самом виде, в каком она появилась через месяц после катастрофы на страницах газеты «Эспектадор», выходящей в Боготе.

Пытаясь воссоздать шаг за шагом злоключения Луиса Алехандро, мы с ним не думали и не гадали, что наши утомительные изыскания повлекут за собой цепь новых приключений, которые серьезно взбудоражат общество и за которые он поплатится славой и карьерой, а я чуть не заплачусь жизнью. Колумбия была тогда под пятой военного диктатора — весьма колоритного персонажа — генерала Густаво Рохаса Пинильи, прославившегося в основном двумя подвигами: расстрелом студентов в центре столицы, когда солдаты пулями разогнали мирную демонстрацию, и убийством любителей воскресного боя быков. Как много их пало от рук агентов тайной полиции, видимо, так и останется тайной, покрытой мраком, а убили их за то, что они освистали на площади во время корриды дочь диктатора. Цензура свирепствовала, и оппозиционные газеты каждый день ломали голову, выдумывая занимательные, но далекие от политики темы, которыми можно было бы заинтересовать читателей. В газете «Эспектадор» сия почтенная задача по выпечке однодневных сенсаций была возложена на директора Гильермо Кано, главного редактора Хосе Салгара и на меня, штатного корреспондента. Никому из нас еще не перевалило за тридцать.

Когда Луис Алехандро Веласко собственноручно пожаловал к нам узнать, сколько мы ему заплатим за рассказ, мы встретили его прохладно, и неспроста: сенсация была уже не первой свежести. Его продержали несколько месяцев в госпитале для моряков, куда пустили (если не считать тайком прокравшегося под видом врача репортера оппозиционной газеты) только представителей лояльной прессы. Историю много раз рассказывали частями, мусолили и перевирали, и, похоже, читателям уже приелся герой, которого нанимали рекламировать часы, потому что его собственные работали

безотказно даже в шторм, или расхваливать обувь, поскольку его ботинки оказались настолько прочными, что, решив ими пообедать, он не смог оторвать от них ни кусочка.

Луис Алехандро получил орден, произносил патристические речи по радио, его показали по телевидению в назидание подрастающему поколению и под фанфары, забрасывая цветами, провезли почти по всей стране, чтобы он раздавал автографы и получил поцелуи от королев красоты. Он прилично на всем этом заработал. И если, после того как мы столько раз тщетно пыгались с ним встретиться, он сам, без приглашения, явился к нам, значит, рассказы его истожились и он был готов за деньги наплести что угодно. Вдобавок правительство явно дало ему четкие указания, о чем говорить, а о чем помалкивать. Мы его отфутболили. Но потом, словно по наитию, Гильермо Кано догнал Луиса Алехандро на лестнице, принял его предложение и препроводил ко мне. И это оказалось своего рода бомбой замедленного действия.

Первым сюрпризом было для меня то, что этот крепкий двадцатилетний парень, похожий скорее на трубача, нежели на национального героя, обладал прекрасным даром рассказчика, способностью к обобщению фактов, потрясающей памятью и этаким простонародным чувством собственного достоинства, не позволявшим ему кичиться своим героизмом. За двадцать шестичасовых сеансов, во время которых я делал пометки в блокноте и задавал каверзные вопросы, пытаюсь подловить его на противоречиях, нам удалось составить сжатый и правдивый рассказ о десяти днях, проведенных Луисом Алехандро в море. Он получился таким цельным и захватывающим, что передо мной стояла единственная литературная задача: заставить читателей в него поверить. Поэтому, но не только поэтому, а еще и справедливости ради мы решили написать рассказ от первого лица и поставить под ним подпись Луиса Алехандро.

Так что сегодня я вообще-то впервые выступаю как автор этого текста.

Второй, причем гораздо больший, сюрприз Луис Алехандро преподнес мне на четвертый день нашей работы, когда я попросил его описать грозу, явившуюся причиной катастрофы. Он улыбнулся и ответил, понимая, чего стоит такое признание:

— А никакой грозы не было!

И действительно, метеорологическая служба подтвердила, что февраль тот был на Карибском море вполне обычным, спокойным и безмятежным. Правда, которую до той поры замалчивали газеты, заключалась в том, что корабль накренился от ветра; груз, плохо укрепленный на палубе, свалился в море, а вместе с ним в воде оказались и восемь моряков. Таким образом, вскрылось три грубейших нарушения: во-первых, перевозить грузы на борту эсминца не разрешалось, во-вторых, корабль лишился маневренности и не смог подобрать выброшенных за борт людей именно из-за перегрузки, и, наконец, груз был контрабандным — перевозились холодильники, телевизоры и стиральные машины. Совершенно ясно, что рассказ неожиданно для нас самих оказался своеобразным эсминцем с плохо укрепленным политическим и моральным грузом на борту.

История была опубликована с продолжением в четырнадцати номерах газеты. Вначале даже само правительство приветствовало литературный дебют своего героя. Потом же, когда выплыла на свет правда, попытаться помешать нам печатать продолжение значило бы сесть в лужу, ведь тираж газеты возрос почти вдвое и напротив нашего здания постоянно собиралась толпа читателей, желавших иметь всю историю целиком и скупавших старые номера. Тогда, по традиции, принятой у колумбийских правителей, диктатура решила завуалировать правду разглагольствованиями: опубликовала

коммюнике, в котором перевозка контрабандных товаров на борту эсминца категорически отрицалась.

Ища доказательства своей правоты, мы попросили у Луиса Алехандро список его товарищей, имевших фотоаппараты. Многие моряки разъехались по стране, проводя отпуск в разных местах, но все же нам удалось разыскать их и купить у них фотографии, сделанные во время плавания. Через неделю после завершения публикации в газете повесть целиком вышла в специальном приложении, иллюстрированном фотографиями, которые мы выторговали у моряков. На заднем плане групповых снимков отчетливейшим образом, вплоть до фирменных знаков, виднелись ящики с контрабандными товарами. В ответ на этот удар диктатура применила к нам драконовские меры, и в результате через несколько месяцев газета была закрыта.

Несмотря на все давление, угрозы и попытки соблазнить Луиса Алехандро Веласко крупными взятками, он не отказался ни от единого слова. Ему пришлось расстаться с профессией моряка, единственной, которой он владел, и память о нем канула в Лету повседневности.

Прошло без малого два года, и диктатура пала; судьбами Колумбии стали распоряжаться другие режимы, выглядевшие попрличнее, но примерно такие же «справедливые», а я тем временем отправился в Париж, где началась моя неприкаянная и довольно тоскливая жизнь изгнанника, очень напоминавшая плот, отданный на волю волн. И мы долгое время ничего не слыхали о потерпевшем бедствие моряке, но несколько месяцев тому назад какой-то журналист случайно обнаружил его среди клерков автобусной компании. Я видел его фотокарточку: Луис Алехандро погрузнел и постарел, хлебнул лиха, но остался той же светлой личностью, героем, отважившимся взорвать свой собственный памятник.

Я не перечитывал эту историю целых пятнадцать

лет, ее вполне можно опубликовать, хотя я и не вижу в этом особого смысла. Она выходит теперь отдельной книгой, потому что когда-то я, не подумав, дал согласие на ее издание и не привык брать свои слова назад. Меня угнетает мысль, что издателей интересуют не столько достоинства самого произведения, сколько имя его автора, который, к моему прискорбию, нынче в моде. К счастью, авторами некоторых книг бывают не те, кто их пишет, а те, кто их выстрадал, и перед вами — одно из таких произведений. А посему авторские права на него принадлежат тому, кто этого достоин: моему безвестному соотечественнику, которому пришлось десять дней промучиться на плоту без воды и пищи, дабы эта книга родилась на свет.

Барселона, февраль 1970 года.

Глава I

О МОИХ ТОВАРИЩАХ, ПОГИБШИХ В МОРЕ

22 февраля нам объявили, что мы возвращаемся в Колумбию. Мы уже восемь месяцев торчали в порту Мобил, в штате Алабама, где ремонтировалось электронное оборудование и обновлялось вооружение нашего эсминца «Кальдас». Пока корабль чинили, члены экипажа проходили специальную подготовку. В свободные же дни мы занимались тем, чем обычно занимаются на суше моряки: ходили с девушками в кино, а потом собирались в портовом кабачке «Джо Палука», пили виски и периодически устраивали потасовки.

Мою девушку звали Мэри Эдресс, меня познакомила с ней через два месяца после нашего прибытия в Мобил подружка другого моряка. Хотя испанский давался Мэри легко, она, по-моему, так и не уразумела, почему мои приятели называли ее Мария Дирексьон, то есть «адрес». Всякий раз, когда мне давали увольнитель-

ную, я приглашал ее в кино, хотя она больше любила мороженое. Мы объяснялись на ломаном английском и исковерканном испанском, но всегда друг друга понимали: и в кино, и в кафе-мороженом.

Только однажды я пошел в кино без Мэри — в тот вечер, когда мы смотрели «Бунт на Кайне». Моим товарищам кто-то сказал, что это отличный фильм о жизни моряков на тралере. Поэтому мы отправились его посмотреть. Но больше всего нам понравился не тралер, а шторм. Мы единодушно решили, что в такую бурю следует менять курс корабля, как и поступили мятежники. Когда мы, потрясенные фильмом, возвращались на судно, матрос Диего Веласкес сказал, имея в виду предстоящее плавание:

— А что, если и мы окажемся в такой переделке?

Признаюсь, я тоже был потрясен. За восемь месяцев, проведенных на суше, я отвык от моря. Бояться я не боялся, потому что инструктор научил нас, как надо себя вести во время кораблекрушения. И все же в тот вечер, когда мы смотрели «Бунт на Кайне», меня охватило странное беспокойство.

Я не хочу сказать, что уже с того момента начал предчувствовать катастрофу. Но если честно, то я впервые так тревожился перед выходом в море. Ребенком я любил разглядывать изображавшие море и корабли картинки в книжках, но мне ни разу не пришло в голову, что в море можно погибнуть. Наоборот, я испытывал к нему огромное доверие. И, став моряком, никогда не волновался во время плавания.

Но я не стыжусь признаться, что после «Бунта на Кайне» мной овладело чувство, весьма похожее на страх. Лежа на самой верхней койке, я думал о своих родных и о том, как мы поплывем в Картахену. Я не мог заснуть и, подложив руки под голову, прислушивался к тихому плеску воды о мол и к мерному дыханию сорока матросов, спавших в одном помещении. Лежавший на нижней койке, прямо подо мной, Луис Ренхифо храпел, как

тромбон. Понятия не имею, какие он видел сны, но наверняка бедняга спал бы не так сладко, если бы знал, что через восемь дней будет покоиться на дне морском.

Я не находил себе места целую неделю. День отплытия приближался с угрожающей быстротой, и я пытался обрести поддержку в разговорах с товарищами. Эсминец «Кальдас» был готов к отплытию. В эти дни мы все чаще говорили о наших родных, о Колумбии и о том, что будем делать после возвращения. Мало-помалу мы нагружали корабль подарками для близких: радиоприемниками, холодильниками, стиральными машинами и, главное, электроплитами. Я вез домой радиоприемник.

Перед отплытием, так и не сумев побороть тревогу, я дал себе слово уйти из флота сразу же, едва вернусь в Картахену. Хватит с меня опасных морских путешествий! Вечером, накануне отплытия, я пошел попрощаться с Мэри, собираясь рассказать ей о моих страхах и принятом решении. Но не рассказал, потому что обещал вернуться, а если бы она узнала, что я решил расстаться с морем, она бы мне не поверила. Единственный, с кем я поделился своими мыслями, был мой близкий друг, старший матрос Рамон Эррера, который признался в ответ, что и он намерен тотчас же по прибытии в Картахену бросить морскую службу. Делясь друг с другом опасениями, мы с Рамоном Эррерой и Диего Веласкесом отправились в кабачок «Джо Палука» пропустить на прощание по стаканчику виски.

Однако вместо стаканчика уговорили пять бутылок. Наши подружки, с которыми мы проводили почти каждый вечер, знали, что мы уезжаем, и решили проститься с нами, залить свое горе вином и в благодарность за все хорошее отметить наш отъезд. Руководитель оркестра, серьезный мужчина в очках, делавших его совершенно непохожим на музыканта, велел своим ребятам весь вечер исполнять в нашу честь танго и мамбу, отчего-то

считая их колумбийской музыкой. Наши подружки плакали и пили виски, по полтора доллара за бутылку.

В последнюю неделю нам трижды выдавали жалованье, и мы решили как следует кутнуть. Я хотел напиться, потому что на душе было тревожно, а Рамон Эррера потому, что ему, как всегда, было весело, и вдобавок он родился в Архоне, умел играть на барабанах и удивительно похоже подражал все модным певцам.

Мы уже собирались отчаливать, как вдруг к нашему столику подошел какой-то американский моряк и попросил у Рамона Эрреры разрешения пригласить на танец его девушку, гренадершу-блондинку, которая меньше всех пила и больше всех рыдала — причем искренне! Американец обратился к Рамону Эррере по-английски, а тот, грубо его отпихнув, проговорил по-испански:

— Ни черта не понимаю!

Драка, которая засим последовала, была — любодорого посмотреть: со стульями, которые ломались о головы противников, и вызовом по рации полицейских. Рамон Эррера, умудрившийся отвесить америкашке две шикарные оплеухи, вернулся на корабль в час ночи, распевая песни голосом Даниэля Сантоса. Он заявил, что это его последнее плавание. И действительно, так оно и вышло.

В три часа ночи 24 февраля эсминец покинул Мобил и взял курс на Картахену. Мы все были рады вернуться домой. Все везли подарки. Старшина Мигель Ортега казался самым веселым. По-моему, рассудительней моряка, чем Мигель Ортега, не было на всем белом свете. За восемь месяцев, проведенных в Мобиле, он не прокутил ни доллара. Все полученные деньги Мигель потратил на подарки жене, ждавшей его в Картахене. Ночью, когда мы отплывали, он стоял на палубе и рассказывал о своей жене и детях, что, впрочем, было вполне естественно, так как ни о чем другом он вообще не говорил. Мигель вез домой холодильник, стиральную машину-автомат и в придачу еще радиоприемник и электроплитку. Через

двенадцать часов старшине Мигелю Ортеге суждено было пластом лежать на койке, страдая от морской болезни. А через семьдесят два — покоиться на дне морском.

ГОСТИ СМЕРТИ

Когда судно снимается с якоря, то отдается приказ: «Все по местам!» И каждый остается на своем месте, пока корабль не покинет порт. Я молча стоял там, где мне полагалось: возле торпедных аппаратов, и глядел на меркнувшие в тумане огни Мобила. Но думал не о Мэри, а о море. Я знал, что завтра мы будем в Мексиканском заливе и что в это время года там плавать опасно. Капитан-лейтенанта Хайме Мартинеса Диего, который оказался единственным офицером, погибшим при катастрофе, я не видел до самого рассвета. Он был высоким, крепким, молчаливым мужчиной, которого я вообще видел считанное число раз. Я знал, что он родом из Толимы и очень славный человек.

Зато в то утро мне попался на глаза первый унтер-офицер, второй боцман Амадор Карабальо, рослый, статный... Он прошел мимо меня, поглядел на последние огоньки Мобила и отправился на свое место. Больше на корабле я с ним вроде бы не встречался.

Никто из членов экипажа «Кальдаса» не выражал своей радости по поводу возвращения столь бурно, как старший механик унтер-офицер Элиас Сабогаль. Это был настоящий морской волк: маленький, кряжистый, весь продубленный и очень говорливый. Ему скоро исполнилось бы сорок лет, и, вероятно, половину из них он проболтал.

Радовался унтер-офицер Сабогаль неспроста. В Картахене его ждали жена и шестеро детей. Но шестого он еще никогда не видел: малыш родился, пока мы торчали в Мобиле.

До рассвета все шло совершенно гладко. За какой-то час я вновь пообвыкся на корабле. Далекие огни Мобила терялись в дымке, предвещавшей спокойный день, а на востоке восходило солнце. Теперь я чувствовал не тревогу, а усталость. Я не спал всю ночь. И хотел пить. А о виски не желал даже вспоминать.

В шесть часов утра мы покинули гавань. После этого прозвучала команда: «Всеім отбой. Вахтенные — по местам!» Услышав приказ, я тут же отправился спать. Внизу, под моей койкой, сидел и тер глаза, пытаясь проснуться, Луис Ренхифо.

— Где мы сейчас? — спросил он.

Я сказал, что мы только-только вышли из порта. Потом забрался на койку и попробовал заснуть.

Луис Ренхифо был настоящим моряком. Он родился в Чоко, вдали от моря, но любовь к нему была у Луиса в крови. Когда «Кальдас» встал на ремонт в Мобиле, Луис Ренхифо еще не числился в составе команды. Он проходил в Вашингтоне курс оружейного дела. Луис отличался серьезностью, большим прилежанием и говорил по-английски так же хорошо, как и по-испански.

15 марта он получил диплом гражданского инженера. Там же, в Вашингтоне, он женился в 1952 году на доминиканке. Когда эсминец «Кальдас» отремонтировали, Луис Ренхифо приехал из Вашингтона в Мобил и устроился на корабль. За несколько дней до отплытия он сказал мне, что, вернувшись домой, прежде всего постарается перевезти в Картахену свою жену.

Поскольку Луис Ренхифо давно не плавал, я был уверен, что его укачает. В то первое утро, одеваясь, он спросил меня:

— Ну как, тебя еще не выворачивает?

Я ответил, что нет.

Тогда Ренхифо заявил:

— Через пару-тройку часов ты будешь валяться, высунав язык.

— Не я, а ты, — возразил я, а он парировал:

— Скорее море вывернет наизнанку, чем меня.

Лежа на койке и пытаюсь вздремнуть, я вновь вспомнил про бурю. И вновь ожили страхи, мучившие меня накануне. Опять забеспокоившись, я повернулся к уже одетому Луису Ренхифо и сказал:

— Смотри! Еще сглазишь!..

Глава 2

МОИ ПОСЛЕДНИЕ МГНОВЕНИЯ НА БОРТУ «ЗВЕРЯ, А НЕ КОРАБЛЯ»

— Мы уже в заливе, — сказал мне один из товарищей 26 февраля, когда я собирался на завтрак.

Накануне я немного беспокоился: какая нас ждет в заливе погода? Но, несмотря на незначительную качку, эсминец шел легко. Я с радостью подумал, что мои страхи оказались беспочвенными, и вышел на палубу. Берег уже скрылся из виду. Насколько хватало глаз, виднелись лишь синее небо да зеленое море. Вокруг была тишь да гладь. Однако на полубаке сидел бледный и осунувшийся Мигель Ортега, мучившийся морской болезнью. Началось это давно, когда еще вдали маячили огни Мобила, и уже целые сутки сержант Мигель Ортега не мог держаться на ногах, хотя плавать ему было не в новинку.

Он служил в Корее, на фрегате «Адмирал Падилья», много плавал и привык к морю. И все же, несмотря на штиль в заливе, он чувствовал себя прескверно. Казалось, Мигель вот-вот испустит дух. Его желудок не принимал никакой пищи, и мы, его товарищи по вахте, усаживали его на корме или на палубе, где он и сидел все время, пока не наступала пора вернуться в кубрик. Там он ложился на живот и лежал, повернув лицо к проходу между койками, в ожидании очередного приступа рвоты.

По-моему, именно Рамон Эррера сказал мне двадцать шестого вечером, что в Карибском море нам придется туго. По нашим расчетам, мы должны были выйти из Мексиканского залива после полуночи. Стоя на вахте у торпедных аппаратов, я предвкушал возвращение в Картану. Поступив во флот, я увлекся изучением карты звездного неба. А с той ночи, когда «Кальдас» спокойно плыл по Карибскому морю, начал находить в созерцании звезд особое удовольствие.

Пожалуй, старый моряк, избородивший все на свете океаны, способен по одной лишь манере движения корабля определить, в каком он сейчас море. Мой опыт, накопленный в Карибском море, где я получил свое первое «морское крещение», подсказал мне, что мы уже там. Я взглянул на часы. Было полтретьего ночи. Два часа тридцать одна минута, двадцать седьмое февраля... Даже если бы корабль не так качало, я бы все равно догадался, что мы в Карибском море. А корабль качало. И мне, никогда не страдавшему морской болезнью, вдруг стало не по себе. Меня кольнуло странное предчувствие. И сам не знаю почему, я вдруг вспомнил о старшине Мигеле Ортеге, который лежал в трюме на койке, заходясь в приступах рвоты.

В шесть часов утра эсминец болтало на волнах, как скорлупку. Луис Ренхифо не спал.

— Ну, толстый, тебя еще не укачало? — спросил он меня.

— Нет, — машинально ответил я, однако поделился с ним своими опасениями.

Тогда Ренхифо, который, как я уже говорил, был инженером, всю жизнь прилежно учился и хорошо разбирался в морском деле, перечислил мне причины, по которым с «Кальдасом» в Карибском море не могло случиться ничего плохого.

— Это зверь, а не корабль, — изрек он. И напомнил, что во время войны именно в этих водах колумбийский

эсминец потопил немецкую подводную лодку. — Это надежное судно, — авторитетно сказал Луис Ренхифо.

И, лежа без сна, не в силах отрешиться от качки на корабле, я бодрился, вспоминая его слова. Однако ветер задувал слева все сильнее, и я представил себе «Кальдас» со стороны — жалкое суденышко в грозном, вздыбленном море. В ту минуту мне вдруг пришел на память «Бунт на Кайне».

Но хотя погода в течение дня не улучшилась, плавание проходило нормально. Стоя на вахте, я думал о скором возвращении в Картахену и строил планы на будущее. Буду переписываться с Мэри. Я собирался писать ей два раза в неделю, ведь мне это никогда не казалось тягостной обязанностью. Поступив во флот, я писал домой каждую неделю. И друзьям, жившим со мной в одном районе Олайя, частенько сочинял длинные послания. «Так что будет о чем написать Мэри», — подумал я и подсчитал, сколько времени осталось плыть до Картахены. Получилось ровно двадцать четыре часа. Это была моя предпоследняя вахта.

Рамон Эррера помог мне дотащить до койки старшину Мигеля Ортегу. Ему становилось хуже и хуже. С самого отплытия из Мобила, то есть уже целых три дня, у него маковой росинки во рту не было. Он почти не мог говорить, позеленел и покрылся испариной.

ПЛЯСКА НАЧИНАЕТСЯ

Пляска началась в десять часов ночи. «Кальдас» начало целый день, но все это были цветочки по сравнению с тем, что началось вечером, когда я, лежа без сна на койке, с ужасом думал о вахтенных на палубе. Я знал, что никто из лежащих рядом со мной не в состоянии сомкнуть глаз. Незадолго до полуночи я спросил Луиса Ренхифо, моего соседа снизу:

— Ну, тебя еще не мутит?

Как я и предполагал, Луис Ренхифо тоже не мог заснуть. Но, несмотря на качку, он не потерял чувства юмора. А посему заявил:

— Сколько раз тебе повторять: скорее море вывернет наизнанку, чем меня!

Он часто изрекал эту фразу, но в ту ночь едва успел договорить ее до конца.

Я уже писал, что меня одолевала безотчетная тревога, даже страх. Но действительно перетрухнул я в полночь двадцать седьмого февраля, когда по репродуктору отдали приказ:

— Всем на левый борт!

Мне было прекрасно известно, что означает подобная команда. Корабль дал сильный крен на правый борт, и его пытались выровнять тяжестью наших тел. Впервые за два года моряцкой жизни я по-настоящему испугался моря. Там, наверху, на палубе, где тряслись от холода промокшие вахтенные, свистел ветер.

Услышав команду, я тут же вскочил. Луис Ренхифо, сохраняя полное спокойствие, встал и направился к койкам по левому борту, которые были не заняты, поскольку хозяева несли вахту. Я отправился за ним, держась за соседние койки, но внезапно вспомнил о Мигеле Ортеге.

Он лежал пластом. Услышав команду, Мигель попытался встать, но в изнеможении рухнул обратно, просто-таки загибаясь от приступа морской болезни. Я помог ему подняться и перетащил беднягу на койку по левому борту. Он сказал мне безжизненным тусклым голосом, что ему совсем плохо.

— Мы постараемся, чтобы тебя освободили от вахты, — пообещал я.

Можете считать это «черным юмором», но останься Мигель Ортега помирать на своей койке, он все-таки худо-бедно, но был бы сейчас жив!

В четыре часа утра двадцать восьмого числа, так и не сомкнув глаз, мы, то есть шестеро вахтенных, собрались на корме. Среди прочих был и Рамон Эррера, мой постоянный напарник. Из унтер-офицеров дежурил Гильермо Росо. Мне предстояло нести вахту в последний раз. Мне было известно, что в два часа мы должны прибыть в Картахену. Сдав вахту, я собирался тут же завалиться спать, чтобы вечером как следует поразвлечься, вернувшись на родину после восьмимесячного отсутствия. В полшестого утра я пошел с юнгой осмотреть днище корабля. В семь часов мы сменили своих товарищей, чтобы они смогли позавтракать. В восемь они сменили нас. В тот же час я сдал дежурство, которое прошло нормально, хотя ветер крепчал, а волны, вздымавшиеся все выше и выше, разбивались о мостик и заливали палубу.

Рамон Эррера стоял на корме. Там же в наушниках стоял Луис Ренхифо — он был дежурным спасателем. Старшина Мигель Ортега, которого совсем доконала его бесконечная морская болезнь, полулежал посреди палубы. Там меньше всего чувствовалась качка. Я перекинулся парой слов со вторым матросом Эдуардо Кастильо, нашим кладовщиком. Жены он не имел, жил в Боготе и держался очень замкнуто. О чем мы говорили, я не помню. Помню лишь, что увидел я его потом уже в море, когда он спустя несколько часов шел ко дну.

Рамон Эррера собирал листы картона, намереваясь прикрыться ими и попытаться уснуть. При такой качке находиться в трюме было невозможно. Волны, становившиеся все выше и сильнее, разбивались о палубу. Крепко привязавшись, чтобы нас не смыло волной, мы с Рамоном Эррерой улеглись между холодильников, стиральных машин и плит, хорошо укрепленных на корме. Лежа на спине, я глядел на небо. В таком положении я чувствовал себя спокойней и не сомневался, что всего через пару часов мы очутимся в бухте Картахе-

ны. Грозы не было, день выдался совершенно ясный, видимость — полная, а небо — голубое и бездонное. Даже сапоги мне уже не жали, потому что, сдав вахту, я их снял и надел ботинки на каучуковой подошве.

МИНУТА БЕЗМОЛВИЯ

Луис Ренхифо спросил у меня, сколько времени. Было полдвенадцатого. Час назад корабль начал накрениваться, прямо-таки заваливаться на левый борт. В репродукторах раздался тот же приказ, что и ночью: «Всем встать на бакборт!» Мы с Рамоном Эррерой не шелохнулись, поскольку именно там и находились.

Не успел я подумать о старшине Мигеле Ортеге, которого я только что видел на правом борту, как он вырос передо мной, шатаясь, перешел на нашу сторону и растянулся на палубе, совсем изнемогая от морской болезни. В этот момент корабль страшно накренился и ухнул вниз. У меня прервалось дыхание. Гигантская волна обрушилась на нас и окатила с головы до ног. Медленно-медленно, с превеликим трудом эсминец выправился на волнах. Несший вахту Луис Ренхифо был белее полотна. Он нервно произнес:

— Ну и дела! Посудина, чего доброго, перевернется!

Я впервые видел, как Луис Ренхифо нервничает. Промокший до нитки Рамон Эррера, который лежал рядом со мной, задумчиво молчал. Воцарилась глубокая тишина. Потом Рамон Эррера сказал:

— Если велют рубить канаты и сбрасывать груз за борт, я первым кинусь выполнять приказ.

Было без десяти двенадцать.

Я тоже думал, что вот-вот раздастся команда перерубить веревки. Как говорится, «сбрасывать балласт». Прозвучи приказ — и радиоприемники, холодильники и плиты тут же отправились бы в воду. Мне пришло на ум, что тогда надо будет лезть обратно в кубрик, ведь,

сбросив холодильники и плиты, мы лишимся надежно-го укрытия. Без них нас смыло бы волной.

Корабль продолжал бороться с волнами, но с каждым разом накреньялся все больше и больше. Рамон Эррера раскатал брезент и накрылся им. Новая волна, еще мощней предыдущей, ринулась на нас, но мы уже юркнули под навес. Пережидая волну, я закрыл голову руками. Наконец волна прошла, а еще через полминуты захрипели репродукторы.

— Сейчас прикажут сбрасывать груз, — решил я.

Однако команда оказалась иной — спокойный, уверенный голос произнес:

— Всем, кто на палубе, надеть спасательные пояса.

Луис Ренхифо, не торопясь, надевал пояс одной рукой, а в другой держал наушники. После удара каждой большой волны я чувствовал сперва какую-то страшную пустоту, а потом — бездонную тишину. Я поглядел на Луиса Ренхифо, который, надев спасательный пояс, поправлял наушники. Потом закрыл глаза и четко услышал тиканье моих часов.

Я слушал его примерно минуту. Рамон Эррера не шевелился. Я прикинул, что сейчас должно быть без четверти двенадцать. До Картахены два часа ходу. В следующую секунду корабль словно повис в воздухе. Я высвободил руку, чтобы посмотреть, сколько времени, но не увидел ни руки, ни часов. Впрочем, волны я тоже не увидел. Я лишь почувствовал, что корабль переворачивается и ящики, за которые я держался, разъезжаются во все стороны. В мгновение ока я вскочил на ноги, вода была мне по шею. Я увидел позеленевшего Луиса Ренхифо, который молча, выпучив глаза, пытался выбраться из воды. Наушники он держал в вытянутой руке. Тут волна накрыла его с головой, и я поплыл кверху.

Пытаясь вынырнуть, я плыл одну, две, три секунды... Плыл, плыл... Мне не хватало воздуха. Я задышался. Выплыв на поверхность, я увидел одно лишь море.

Через мгновение, примерно в ста метрах от меня, из волн вынырнул корабль, с которого, как с подводной лодки, потоками стекала вода. Только тут я наконец сообразил, что меня выбросило за борт.

Глава 3

У МЕНЯ НА ГЛАЗАХ ТОНУТ ЧЕТВЕРО МОИХ ТОВАРИЩЕЙ

Вначале мне показалось, что в воде я оказался один. Держась на плаву, я увидел, что на эсминец, который находился метрах в двухстах от меня, обрушилась новая волна, и он полетел в пропасть и скрылся из виду. Я решил, что он потонул. И тут же, словно подтверждая мои мысли, вокруг забултыхались бесчисленные ящики с товарами, которые загрузили на эсминец в Мобиле. Я барахтался среди коробок с одеждой, радиоприемников, холодильников и разной домашней утвари, среди ящиков, которые выныривали то там то сям, гонимые волнами. В тот момент я еще плохо понимал, что происходит. Не успев прийти в себя от потрясения, я схватился за один из ящиков и тупо воззрился на море. День был совершенно безоблачным. Только сильно вздымавшееся под ветром море да качавшиеся на волнах ящики наводили на мысль о катастрофе.

Внезапно поблизости послышались крики. В резком свисте ветра явственно различался голос Хулио Амадора Карабальо, высокого, статного второго боцмана, который кричал кому-то:

— Хватайте меня, хватайте меня за пояс!

И тут я словно очнулся от глубокого, хотя и минутного сна. До меня дошло, что я в море не один. Всего в нескольких метрах от меня перекликались мои товарищи. Я лихорадочно стал соображать, как быть. Никуда

плыть я не мог. Я знал, что мы почти в двухстах милях от Картахены, но потерял ориентировку. Страх я, однако же, не испытывал. На какой-то миг мне показалось, что, пока нас не спасут, я смогу продержаться на воде, ухватившись за ящики. Меня утешала мысль о том, что другие находятся в таком же положении, как и я. И вот тут-то я и увидел плот.

Вернее, два одинаковых плота, находившихся метрах в семи друг от друга. Они внезапно вынырнули на гребне волны с той стороны, откуда доносились крики моих товарищей. Мне показалось странным, что никто из моряков не доплыл до них. Вдруг один из плотов исчез. Я не знал, как поступить: то ли поплыть ко второму, то ли не рисковать и по-прежнему цепляться за ящик: мне это казалось надежным способом удержаться на воде. Я еще не успел принять никакого решения, но инстинкт самосохранения уже направил меня ко второму плоту, который с каждым мгновением все удалялся и удалялся. Я плыл примерно три минуты. В какой-то момент я потерял плот из виду, но старался придерживать взятого направления. И вдруг его прибило прямо ко мне — большой, белый, пустой плот! Я изо всех сил вцепился в пеньковую сеть и попытался на него забраться. Удалось мне это только с третьего раза. Уже на плоту, задыхаясь, не зная, куда деваться от хлещущего холодного и безжалостного ветра, я сделал над собой огромное усилие и встал. А встав, увидел неподалеку моих товарищей, которые старались доплыть до плота.

Я их тут же узнал. Кладовщик Эдуардо Кастильо цепко держал за шею Хулио Амадора Карабальо, на котором был спасательный пояс, потому что в момент катастрофы он нес вахту. Хулио Амадор кричал:

— Крепче держись, Кастильо!

Они барахтались среди покачивающихся на волнах ящиков метрах в десяти от меня.

С другой стороны находился Луис Ренхифо. За не-

сколько минут до того я видел его на эсминце, он пытался выбраться из воды, зажав в поднятой правой руке наушники, не потеряв своей всегдашней выдержки и уверенности, с которой он заявлял, что скорее море вернет наизнанку, чем его, он скинул рубашку, чтобы легче было передвигаться, но потерял спасательный пояс. Даже не видя его, я все равно узнал бы Луиса по голосу.

— Эй, толстый, гребни сюда! — крикнул он.

Я поспешно схватился за весла и попробовал подгребсти к товарищам. Хулио Амадор, которого крепко держал за шею Эдуардо Кастильо, приближался к плоту. За ним, далеко позади показалась маленькая фигурка четвертого моряка, Рамона Эрреры, который махал мне рукой, уцепившись за ящик.

ВСЕГО ТРИ МЕТРА!

Если бы меня заставили выбирать, я не знал бы, к кому из моих товарищей направить плот прежде всего. Однако, увидев Рамона Эрреру, зачинщика драки в Мобиле, весельчака из Архоны, который всего несколько минут тому назад лежал рядом со мной на корме, я изо всех сил погреб к нему. Но мой почти двухметровый плот оказался ужасно неповоротливым в разбушевавшемся море, и вдобавок мне пришлось гребсти против ветра. По-моему, я не смог продвинуться ни на йоту. В отчаянии я поглядел по сторонам и увидел, что Рамона Эрреры на воде уже нет. Только Луис Ренхифо уверенно плыл к плоту. Я не сомневался, что он доберется. Я помнил его оглушительный храп, похожий на звук тромбона, и был убежден, что сила его воли сильнее стихии.

Хулио Амадор все еще поддерживал Эдуардо Кастильо, не давая ему уйти под воду. До плота им оставалось меньше трех метров. Я подумал, что, если они подберутся чуть поближе, я смогу протянуть им весло. Но тут

гигантская волна подбросила плот в воздух и, взлетев на высоченном гребне, я увидел мачту нашего эсминца. Когда я очутился внизу, Хулио Амадор и цеплявшийся за его шею Эдуардо Кастильо исчезли. А Луис Ренхифо по-прежнему размеренно плыл к плоту, до которого ему оставалось всего два метра.

Не знаю, почему я совершил такую глупость: уверившись в бесплодности своих попыток продвинуться вперед, я воткнул весло в воду, словно стараясь удержать плот на одном месте, пригвоздить его к воде. Уставший Луис Ренхифо приостановился, поднял руку — как тогда, когда держал наушники, — и опять крикнул:

— Греби сюда, толстый!

Ветер не переменился. Я прокричал ему в ответ, что не могу грести против ветра, и попросил поднатужиться, сделать последний рывок, но, по-моему, он меня не услышал. Ящики с товарами остались позади, плот плясал из стороны в сторону на волнах. В мгновение ока я очутился в пяти с лишним метрах от Луиса Ренхифо и потерял его из виду. Но он подныривал под волны, чтобы они не относили его далеко от плота. Я стоял, держа наготове весло, и ждал, когда Луис Ренхифо подберется так близко, что сможет до него дотянуться. Но он уже утомился и начал отчаиваться. Потом, уже уходя под воду, Луис снова крикнул:

— Толстый!.. Толстый!..

Я заработал веслами, но опять безрезультатно. Сделал последнюю попытку дотянуться до Луиса, но его поднятая рука, которая совсем недавно спасала от воды наушники, теперь сама навсегда погрузилась в воду, в каких-нибудь двух метрах от весла.

Бог ведь сколько времени я стоял с поднятым веслом, балансируя на плоту. Стоял и пристально глядел на море. Ждал, что вот-вот кто-нибудь из моих друзей покажется над водой. Но в море было пусто, а крепчавший ветер рвал на мне рубашку, завывая, точно собака.

Ящики с товарами исчезли. Судя по неуклонно удалявшейся мачте корабля, эсминец не затонул, как мне показалось вначале. На душе полегчало: «За мной вот-вот приплывут», — подумал я. А еще я решил, что кто-нибудь из моих товарищей, наверно, добрался до второго плота. По идее, им ничто не могло помешать. Эти плоты, как и прочие на нашем эсминце, не были оснащены. Но их в общей сложности имелось шесть штук, не считая шлюпок и вельботов. Я не видел ничего удивительного в том, что мои товарищи добрались, подобно мне, до плотов, я думал, что эсминец нас уже разыскивает.

И тут я вдруг осознал, что на небе светит солнце. Знойное, раскаленное, словно металл, полуденное солнце. Я тупо, еще не до конца придя в себя, взглянул на часы. На них было ровно двенадцать.

ОДИН!

Когда Луис Ренхифо в последний раз спросил меня на эсминце, сколько времени, было полдвенадцатого. Без десяти я опять поглядел на часы, это произошло еще до катастрофы. Когда же я посмотрел на циферблат на плоту, стрелки показывали ровно двенадцать. Мне казалось, прошла целая вечность, а в действительности прошло всего десять минут с тех пор, как я в последний раз глядел на часы, находясь на борту эсминца, и за это время я успел доплыть до плота, пытался спасти товарищей, а потом стоял, как истукан, глядя на пустое море, слушая резкий вой ветра и думая, что мне придется минимум два, а то и три часа ждать, пока меня подберут.

— Два-три часа, — прикинул я.

И подумал, что это невероятный срок для человека, который остался в море один. Но я постарался смириться со своей участью. У меня не было ни пищи, ни воды, и я полагал, что к трем часам жажда станет невыноси-

мой. Солнце напекло мне голову, начинало жечь высохшую и задубевшую от соли кожу. Я потерял при падении фуражку и потому намочил голову водой, а затем сел на край плота и принялся ждать своих спасителей.

Только тогда я впервые ощутил боль в правом колене. Мои синие форменные брюки из грубой ткани промокли, так что я с превеликим трудом смог закатать их выше колен. А закатав, содрогнулся: под коленной чашечкой зияла глубокая рана, этакий полумесяц. То ли я поранился об обшивку корабля, то ли уже в воде порезал ногу... Но как бы там ни было, боль я ощутил лишь на плоту, и хотя рану немного жгло, она перестала кровоточить и подсохла — наверное, из-за морской соли. Не зная, чем себя занять, я произвел досмотр своих вещей. Мне хотелось выяснить, с чем я остался в открытом море. Оказалось, что с часами, которые продолжали идти как ни в чем не бывало и на которые меня так и подмывало посмотреть каждые две-три минуты. Кроме того, при мне было золотое кольцо, купленное в прошлом году в Картахене, цепочка с образком Девы Марии дель Кармен, приобретенная тоже в Картахене у одного моряка за тридцать пять песо... Из карманов я выудил лишь ключи от моего шкафчика на эсминце и три рекламные открытки, которые мне дали в мобильском магазине одним январским днем, когда я пошел за покупками с Мэри Эдресс. Делать мне было нечего, и я принялся читать надписи на открытках, пытаясь хоть как-то убить время, пока за мной не пришлют спасателей. Почему-то эти открытки показались мне своего рода шифрованными записками, которые потерпевшие кораблекрушение моряки кладут в бутылки. Наверное, окажись у меня в тот момент под рукой бутылка, я засунул бы в нее одну из этих открыток, чтобы поиграть в кораблекрушение, а вечером позабавить своим рассказом друзей в Картахене.

Глава 4

МОЯ ПЕРВАЯ ОДИНОКАЯ НОЧЬ
В КАРИБСКОМ МОРЕ

В четыре часа ветер унялся. Я не видел вокруг ничего, кроме моря, и не имел никаких ориентиров, а поэтому лишь через два с лишним часа понял, что плот движется вперед. На самом же деле, как только я на него взобрался, ветер погнал его по прямой на такой бешеной скорости, которую я, орудуя веслами, никогда в жизни не сумел бы развить. И все же я понятия не имел, где я и что со мной. Я не знал, куда несется плот: к берегу или в открытое море. Последнее казалось мне более вероятным, так как я всегда считал, что волны не могут прибить к берегу тяжелый предмет, находящийся в двухстах милях от суши, и уж тем более человека на плоту.

Первые два часа я мысленно прослеживал путь эсминца. Я подумал, что если с корабля телеграфировали в Картахену и точно указали место катастрофы, то самолеты и вертолеты тут же отправятся к нам на помощь. Я прикинул, что не пройдет и часа, как они прилетят сюда и начнут кружить у меня над головой.

В час дня я сел на плоту и принялся вглядываться в даль. Взял все три весла и положил их на дно плота, чтобы, как только появятся самолеты, начать грести в их сторону. Минуты тянулись томительно долго. Солнце жгло мне лицо и спину, а губы горели, потрескавшись от соли. Однако я не чувствовал ни голода, ни жажды. Я сосредоточился на одном — увидеть самолеты. Я разработал план: увидев спасателей, я погребу по направлению к ним, потом, когда они окажутся надо мной, встану на плоту во весь рост и буду махать рубашкой. Я решил приготовиться и не терять ни минуты, а потому расстегнул рубаху и, сидя на плоту, всматривался в

даль, озираясь по сторонам, — я ведь понятия не имел, откуда появятся спасатели.

Так я сидел до двух часов. Ветер по-прежнему завывал, и в его вое мне слышался голос Луиса Ренхифо:

— Толстый, гребь сюда!

Я слышал его совершенно отчетливо, словно Луис был рядом, в двух метрах от плота, и пытался ухватиться за весло. Но я знал, что когда в море воет ветер и волны бьются о подводные скалы, человеку чудятся знакомые голоса. Они звучат не умолкая, доводя до безумия:

— Эй, толстый! Гребь сюда!

В три часа я начал отчаиваться. Эсминец наверняка уже пришвартовался в Картахене. Через несколько минут мои товарищи радостно разойдутся по городу кто куда. У меня возникло чувство, что все они сейчас думают обо мне, и, ободренный этой мыслью, я решил набраться терпения и подождать до четырех часов.

Пусть даже никакой телеграммы не было, пусть даже на эсминце не поняли, что мы свалились в воду, все равно это вскрыется, когда вся команда выстроится на палубе в момент швартовки. Значит, об этом узнают самое позднее в три часа и тут же сообщат спасателям. Какими бы долгими ни были сборы, самолеты от силы через тридцать минут вылетят на место происшествия. Так что в четыре, максимум в половину пятого они появятся тут. Я не отрывал глаз от горизонта, пока ветер не стих, сменившись глухим безбрежным рокотом моря. Только тогда в ушах у меня смолкли крики Луиса Ренхифо.

БЕСКРАЙНЯЯ НОЧЬ

Вначале мне показалось, что провести в одиночестве три часа в открытом море невозможно. Однако, когда прошло уже восемь часов с того момента, как я оказался в воде, я подумал, что еще часик, пожалуй, продержусь.

Солнце садилось. На закате оно стало большим и красным, и только тогда я начал как-то ориентироваться. Теперь я знал, откуда появятся самолеты: я повернулся к солнцу левым боком и уставился прямо перед собой, не шевелясь, не отводя взгляда ни на мгновение, даже боясь моргнуть. Я смотрел туда, где, по моим расчетам, находилась Картахена. В шесть часов у меня заболели глаза. Но я все равно смотрел. Даже после наступления сумерек смотрел терпеливо, упорно, наперекор всему. Я понимал, что самих самолетов мне уже не различить, я увижу лишь летящие по небу зеленые и красные огоньки и услышу шум моторов. Я мечтал увидеть эти огни, не задумываясь о том, что в темноте меня с самолетов не заметят. Неожиданно небо зарделось, а я по-прежнему всматривался в даль. Потом оно стало темно-фиолетовым, а я все не отрывал глаз от горизонта. Сбоку, над плотом, подобно желтому бриллианту, на темном, точно красное вино, небе загорелась первая яркая звезда. Это как будто послужило своеобразным сигналом. В следующий миг на море упала тяжелая, плотная завеса ночи.

Погрузившись во тьму, в которой не видно было ни зги, я сначала не мог побороть страх. Судя по плеску воды о борт, плот медленно, но неуклонно продвигался вперед. Теперь, когда море окутал мрак, я осознал, что днем мне было не так уж и одиноко. Гораздо хуже оказалось сидеть в потемках на плоту, которого я не видел, а лишь чувствовал у себя под ногами и который бесшумно скользил по черному-пречерному морю, населенному неведомыми существами. Чтобы скрасить одиночество, я принялся смотреть на квадратный циферблат часов. Было без десяти семь. Не скоро, ох как не скоро — часа через два, а то и через три, стало без пяти семь. Когда минутная стрелка подползла к двенадцати, часы показали ровно семь, и небо усеяли мириады звезд. Но у меня было ощущение, что прошла целая вечность

и вот-вот начнет светать. Я по-прежнему упорно ждал самолетов.

Стало зябко. Находясь на плоту, нельзя не промокнуть. Даже если сесть на борт, ноги все равно окажутся в воде, потому что сетчатое днище провисает под водой, словно корзина, на полметра с лишним. В восемь вечера в воде было темнее, чем на воздухе. Я знал, что на дне плота мне не страшны морские животные, потому что сеть, прикрепленная внизу, не дает им возможности проникнуть внутрь. Но одно дело учить и верить тому, что учишь на занятиях, когда инструктор демонстрирует тебе устройство плота на маленьком макете и ты сидишь на скамье, а рядом сидят еще сорок твоих товарищей, и дело происходит в два часа дня. А вот когда в восемь вечера ты в море один и надеяться тебе не на что, начинаешь думать, что слова инструктора абсолютно бессмысленны. Главное, что полтела было у меня в воде, в мире, где хозяйничали не люди, а морские гады, и хотя ледяной ветер рвал на мне рубашку, я не отважился слезть с борта. По словам инструктора, это самое опасное место на плоту. И все же только там я чувствовал себя хоть немного защищенным от морских существ, огромных, неведомых тварей, которые, судя по таинственным звукам, проплывали мимо плота.

Этой ночью я с трудом разглядел в запутанной и бескрайней паутине звезд Малую Медведицу. Никогда я не видел столь звездного неба. На нем почти не было свободного места. А разглядев Малую Медведицу, я уже боялся оторвать от нее взгляд. Не знаю почему, но, глядя на нее, я чувствовал себя не таким одиноким. В Картахене, когда нам давали увольнительную, мы встречали рассвет на мосту Манга; Рамон Эррера пел, подражая Даниэлю Сантосу, а кто-нибудь аккомпанировал ему на гитаре. Сидя на каменном парапете, я всегда видел Малую Медведицу над склоном горы Серро-де-ла-Попа. Этой ночью на плоту я вдруг на мгновение почувствовал себя на мосту Манга, и мне показалось, что рядом

поет под гитару Рамон Эррера, а Малая Медведица сияет не в открытом море, за двести миль от суши, а над горой Серро-де-ла-Попа. Я думал, что, наверное, сейчас кто-то смотрит на Малую Медведицу в Картахене, и мне становилось не так одиноко.

Моя первая ночь в море длилась особенно долго из-за полного отсутствия событий. Невозможно описать ночь на плоту, когда ничего не происходит и ты безумно боишься морских существ, а на руке у тебя фосфоресцируют часы, которые поминутно притягивают твой взгляд. Двадцать восьмого февраля, в ту ночь, которая положила начало моим скитаниям по морю, я смотрел на часы каждую минуту. Это было сущей пыткой. В отчаянии я решил их снять и сунуть в карман, чтобы не зависеть от времени. Когда я больше не мог бороться с собой и снова достал их, стрелки показывали без двадцати девять. Есть и пить еще не хотелось. Я не сомневался, что продержусь до завтра, пока не прилетят самолеты. Но я боялся, что часы сведут меня с ума. В тоске я снял их с запястья, собираясь опять положить в карман... потом подумал, что лучше бы бросить их в море... Я заколебался, не зная, как поступить. Но затем испугался: мне пришла в голову мысль, что без часов мое одиночество станет невыносимым. Я вновь нацепил их на руку и продолжал то и дело глядеть на циферблат так же упорно, как днем глядел на горизонт в ожидании самолетов, — пока не заболели глаза.

После полуночи мне захотелось заплакать. Я ни на мгновение не сомкнул глаз, но заснуть даже не пытался. С той же надеждой, с какой днем ждал появления самолетов, теперь, на рассвете, я пытался различить огни кораблей.

Я битый час пожирал глазами море, спокойное, бескрайнее, молчаливое... Однако никаких огней, кроме, так сказать, небесных «ламп», не увидел. На рассвете заметно похолодало, и мне мерещилось, что тело мое излучает сияние, поскольку накопившаяся во мне за

день солнечная энергия вырывается наружу. На холоде обожженная кожа горела еще больше. После двенадцати у меня опять заболело правое колено, и я физически ощущал, что промок до костей. Но все эти ощущения были притупленными. Я думал не столько о себе, сколько о кораблях. А еще я думал, что стоит мне в этом безбрежном царстве одиночества, в этом глухо рокочущем море увидеть хоть один огонек корабля, как я издам вопль, который будет слышен за тридевять земель.

СВЕТ НАШ НАСУЩНЫЙ

Рассвело гораздо быстрее, чем это бывает на суше. Небо побледнело, звезды понемногу растаяли, а я все переводил глаза с часов на горизонт. Обрисовались контуры моря. Прошло двенадцать часов, но мне как-то не верилось. Не верилось, что ночь равна дню. Проведите ночь в море, сидя на плоту и поминутно глядя на часы, и вы поймете, что ночь неизмеримо длиннее дня. А когда наконец начнет светать, вы настолько измотаетесь, что даже не заметите рассвета.

Именно это произошло со мной в первую ночь на плоту. Когда забрезжил рассвет, мне уже на все было наплевать. Я не думал ни о воде, ни о пище. Не думал ни о чем, пока ветер не потеплел, а море не стало шелковым и золотистым. За всю ночь я ни на миг не сомкнул глаз, но тут как бы внезапно проснулся. Когда я лег, растянувшись на плоту, кости у меня ломило. Кожа горела. Но день был теплый и ясный, и на ярком свету, под шелест поднимавшегося ветра я ощутил прилив новых сил. Я снова мог ждать. У меня возникло чувство, что я совсем не одинок, и впервые за двадцать лет своей жизни я почувствовал себя счастливым.

Плот, как и прежде, плыл куда-то вперед. Впрочем, я не мог определить, насколько он продвинулся за ночь, ведь панорама вокруг не менялась, словно плот болтал-

ся на одном месте. В семь часов утра я вспомнил про эс-минец. Там в это время завтракали. Я представлял, как мои товарищи сидят за столом и едят яблоки. Потом им подадут яйца. Потом мясо. Потом хлеб и кофе с молоком. У меня потекли слюнки и живот подвело. Чтобы отогнать мысли о еде, я по самую шею залез в воду на дне плота. Она холодила обожженную солнцем спину, и я почувствовал прилив сил и бодрости. Я сидел так долго и все спрашивал себя: зачем вместо того, чтобы лежать на койке, я потащился на корму с Рамоном Эррерой? Я подробно воссоздал в памяти случившуюся трагедию и пришел к выводу, что вел себя как последний остолоп. Я стал жертвой катастрофы чисто случайно, ведь я не нес вахту и не обязан был торчать на палубе. Я подумал, что мне просто крупно повезло, и я опять почувствовал легкий укол совести. Но, взглянув на часы, успокоился. День проходил быстро: уже было полдвенадцатого.

ЧЕРНОЕ ПЯТНЫШКО НА ГОРИЗОНТЕ

Дело близилось к полудню, и поэтому я вновь вспомнил Картахену. Не может быть, чтобы на корабле не заметили моего исчезновения! В какой-то момент я даже пожалел, что залез на плот: я вообразил, что моих товарищей давно спасли и только меня не смогли найти, поскольку ветер отнес плот в сторону. Я даже посетовал за этот плот на судьбу.

Но не успел я как следует обмозговать эту мысль, как на горизонте мне померещилось черное пятнышко. Впившись в него глазами, я сел на плоту. Было без десяти двенадцать. Я так пристально смотрел на небо, что от напряжения у меня перед глазами заплясали десятки радужных пятен. Однако то черное пятнышко по-прежнему несло вперед, прямо к плоту. Через две минуты я уже прекрасно различал его очертания. Летя по лучезар-

ному голубому небу, оно бросало на море ослепительные металлические отсветы. Мало-помалу оно выдвинулось среди радужных пятен. У меня болели шея и глаза, и я больше не мог смотреть на сверкающее небо. Но все-таки смотрел: пятнышко было ярким, быстрым и несло прямо к плоту. Счастья я в тот момент не испытывал. И никаких других бурных эмоций тоже. Стоя на плоту и глядя на приближающийся самолет, я рассуждал крайне здраво и был необычайно хладнокровен. Я спокойно снял рубаху. Я был уверен, что знаю, в какой именно момент надо подать летчику знак. Я стоял одну, две, три минуты, держа рубаху в руке и ожидая, когда самолет подлетит поближе. Он несся прямо на плот. Я поднял руку и замахал рубахой, прекрасно слыша гул моторов: он нарастал, вибрировал и заглушал рокот волн.

Глава 5

У МЕНЯ НА ПЛОТУ ПОЯВЛЯЕТСЯ ТОВАРИЩ

Я отчаянно махал рубахой по меньшей мере пять минут. Но вскоре понял, что ошибся: самолет летел вовсе не к плоту. Когда я увидел растущую черную точку, мне показалось, что она пролетит у меня над головой. Но она пролетела очень далеко и так высоко, что заметить меня с самолета было невозможно. Потом самолет описал широкий круг, развернулся и полетел обратно. Стоя под палящим солнцем, я глядел на черную точку, глядел бездумно, пока она полностью не слилась с горизонтом. Тогда я опять сел. Я чувствовал себя несчастным, но еще не потерял надежды и решил подумать, как спастись от солнца. Прежде всего я должен был защититься от солнечных лучей спину. Было двенадцать часов дня. Я провел на плоту ровно сутки. Я лег навзничь на край плота и положил на лицо мокрую рубашку. Я не хотел

засыпать, зная, как опасно задремать на борту плота. Я стал думать о самолете: может быть, он вовсе и не разыскивал меня? Я ведь не смог определить, что это за самолет.

Лежа на борту плота, я впервые испытал муки жажды. Рот мой переполнился густой слюной, а в горле пересохло. Меня так и подмывало напиться морской воды, но я знал, что будет еще хуже. Потом, попозже, можно будет выпить, но капельку. Внезапно я забыл о жажде. Прямо над головой раздался рокот второго самолета, перекрывавший рокот волн.

Я взволновался и привстал. Самолет приближался оттуда же, откуда прилетел первый, но теперь направлялся прямо к плоту. Когда он пронесся надо мной, я замахал рубашкой, но он летел слишком высоко. Он промчался мимо и скрылся вдали. Потом вернулся, и его силуэт возник на горизонте: самолет улетал обратно.

— Меня ищут, — сказал я себе и в ожидании застыл на борту, держа рубашку наготове.

Кое-что стало проясняться; самолеты появлялись и исчезали в одной и той же стороне. Следовательно, там земля. Теперь я знал, куда надо держать курс. Но как приблизиться к земле? Даже если за ночь плот сильно продвинулся, все равно до суши еще плыть и плыть... Я знал, в каком направлении ее искать, но понятия не имел, как долго придется грести, изнемогая под палящими лучами солнца и мучаясь голодными спазмами. А главное, умирая от жажды! Мне становилось все труднее дышать...

В 12 часов 35 минут в небе появился огромный черный гидросамолет и, рыча, пронесся у меня над головой. Сердце мое чуть не выпрыгнуло наружу. Все было видно как на ладони. Солнце светило ярко, так что я отчетливо различал голову человека, высунувшегося из кабины и пристально глядевшего на море в бинокль. Он пролетел так низко, так близко от меня, что плот обдало жарким дыханием моторов. Я опознал самолет по зна-

кам на крыльях: он принадлежал береговой охране зоны Панамского канала.

Когда он, сотрясаясь, направился в глубь Карибского моря, я был абсолютно уверен, что человек с биноклем меня заметил.

— Меня нашли! — ошалев от радости, воскликнул я, все еще размахивая рубашкой.

И, счастливый, запрыгал, заскакал по плоту...

МЕНЯ УВИДЕЛИ

Не прошло и пяти минут, как черный гидросамолет вернулся и пролетел в противоположном направлении на той же высоте. Он летел, накренившись влево, и сбоку в иллюминаторе я вновь отчетливо различил человека, который рассматривал море в бинокль. Я снова замахал рубашкой. Теперь я махал не суматошно, а плавно, словно молил не о помощи, а прочувствованно и благодарно приветствовал моих избавителей.

Гидросамолет несся вперед, и мне казалось, что он постепенно сбавляет высоту. В какой-то момент он двигался по прямой, почти над поверхностью воды. Я подумал, что он приводняется, и приготовился грести к нему, но через мгновение гидросамолет вновь взмыл ввысь, развернулся и в третий раз пролетел над моей макушкой. Теперь уж я не стал отчаянно размахивать рубахой. Я подождал, пока он оказался непосредственно над плотом, тогда подал сигнал и стал ждать, когда же самолет пролетит снова, постепенно снижаясь. Но произошло прямо противоположное: гидросамолет стремительно набрал высоту и исчез там, откуда появился. Однако повода для тревоги не было. Меня наверняка увидели. Не может быть, чтобы летчик меня не заметил, ведь его машина летела так низко и, главное, над самым плотом! Спокойный и уверенный в скором спасении, я сел и принялся ждать.

Я прождал час. Мне удалось сделать очень важный вывод: первые два самолета прилетели, несомненно, из Картахены. Черный же скрылся в направлении Панамы. Я рассчитал, что, гребя по прямой и чуть отклоняясь от направления ветра, я могу выбраться на сушу где-то в районе курорта Толу. Он находился примерно посередине между двумя отправными точками самолетов.

По моим расчетам, меня должны были спасти через час. Однако час прошел, а в синем, чистом и абсолютно безмятежном море было все так же пустынно. Миновало еще два часа. И еще час, и еще, и за все время я ни разу не сдвинулся с борта. Я сидел, напрягшись, и, не мигая, глядел вдаль. В пять солнце начало опускаться к линии горизонта. Я еще не потерял надежды, но забеспокоился. Я был уверен, что с самолета меня заметили, но не мог понять, почему прошло столько времени, а никто не подоспел ко мне на помощь. В горле пересохло. Дышать становилось с каждой минутой все труднее. Я откровенно всматривался в даль, но вдруг, неожиданно для самого себя, подпрыгнул и упал на дно плота. Медленно, словно подстерегая жертву, мимо борта проскользнул плавник акулы.

АКУЛЫ ПРИПЛЫВАЮТ РОВНО В ПЯТЬ

Это было первое живое существо, которое я увидел за время моего пребывания на плоту, почти за тридцать часов. Плавник акулы внушает ужас, потому что нам известна кровожадность этой твари. Однако на вид он совершенно безобиден. Он вообще не ассоциируется с образом животного и тем более хищника. Акулий плавник бурый и шероховатый, точно древесная кора. Когда я увидел, как он рассекает воду возле плота, у меня возникло ощущение, что на вкус он прохладный и горьковатый, словно древесный сок. Часы показывали уже пять. На закате море было спокойным. К плоту неторопливо

подплыло еще несколько акул, и они шныряли взад и вперед до наступления полной темноты. Свет померк, но я чувствовал, что акулы и в темноте снуют вокруг плота, рассекая спокойную гладь воды лезвиями плавников.

С того дня я остерегался садиться на край плота после пяти. На следующий день, еще через день, и еще, и еще я смог убедиться, что акулы крайне пунктуальны: они приплывали в пять часов и исчезали с наступлением темноты.

На закате прозрачное море представляет собой восхитительное зрелище. Рыбы всевозможных размеров и расцветок подплывали к плоту. Громадные желто-зеленые рыбины; полосатые, круглые и крошечные красносиние рыбешки плыли за плотом до самых сумерек. Время от времени мелькала стальная молния, через борт перелетала струя окровавленной воды, и на поверхности, возле плота, на мгновение появлялись куски рыбы, растерзанной акулами. И тут бесчисленное множество мелких рыбешек набрасывалось на ее останки. В этот момент я продал бы душу дьяволу даже за самый крохотный кусочек с пиршественного стола акулы.

Шла моя вторая ночь в море. Ночь голода, жажды и одиночества. Раньше я упорно надеялся на самолеты, теперь же чувствовал себя всеми покинутым. В ту ночь я впервые осознал, что надеяться надо только на свою волю и оставшиеся силы.

Одно было удивительно: я ослабел, но не обессилел. Я провел почти сорок часов без воды и пищи и не спал двое суток, поскольку всю ночь перед катастрофой не сомкнул глаз. И тем не менее вполне мог грести.

Я вновь разыскал на небе Малую Медведицу. Впился в нее глазами и взмахнул веслами. Ветер, однако, дул в другом направлении, не в том, в котором требовалось, ведь мне нужно было плыть прямо на Малую Медведицу. Я закрепил на борту два весла и в десять часов начал грести. Поначалу я судорожно махал веслами. Потом

стал грести размеренной, пристально глядя на Малую Медведицу, которая, по моим расчетам, светила прямо над Серро-де-ла-Попа.

По плеску воды я понимал, что продвигаюсь вперед. Устав, я откладывал весла и опускал голову, чтобы отдохнуть. Потом хватался за них с новыми силами и возродившейся надеждой. В двенадцать часов ночи я все еще орудовал веслами.

ТОВАРИЩ НА ПЛОТУ

Около двух я окончательно выдохся, скрестил весла и попытался заснуть. Жажда усилилась. Голод же меня не мучил. Меня терзала жажда. Я настолько устал, что положил голову на весло и задремал. И вдруг я увидел сидевшего на палубе эсминца Хайме Манхарреса, который указывал мне пальцем в сторону порта. Боготинец Хайме Манхаррес — один из моих старых флотских друзей. Я часто думал о товарищах, которые пытались достичь плота. Мне хотелось узнать, какова их судьба: добрались ли они до другого плота, подобрал ли их эсминец или же спасли летчики. Но о Хайме Манхарресе я не думал никогда. И все же стоило мне закрыть глаза, как передо мной появлялся улыбающийся Хайме. Сначала он показал мне, где находится порт, а потом я увидел его в столовой: он сидел напротив меня, и перед ним стояла тарелка с фруктами и яичница.

Вначале это был сон. Я закрывал глаза, на несколько коротких мгновений засыпал, и передо мной неизменно появлялся Хайме Манхаррес, причем в одной и той же обстановке. В конце концов я решил с ним заговорить. О чем я его тогда спросил, не помню. И что он мне ответил — тоже. Помню лишь, что мы с ним разговаривали на палубе и что внезапно нас накрыло волной, той роковой волной, которая обрушилась на корабль в 11 часов 55 минут, и я в ужасе проснулся, изо всех сил

вцепившись в веревочную сеть, чтобы не свалиться в море.

Но перед рассветом небо потемнело. Мне не спалось; я был настолько измотан, что никак не мог заснуть. Противоположный конец плота потонул в сумерках, но я все равно смотрел в темноту, стараясь хоть что-нибудь разглядеть. И вот тогда-то я отчетливо увидел притулившегося на краешке борта Хайме Манхарреса. Он был в рабочей одежде: синих брюках и рубашке, а фуражку, на которой даже в темноте четко читалось «Кальдас», нацепил слегка набекрень.

— Привет! — сказал я, ничуть не испугавшись. Ей-богу, передо мной был Хайме Манхаррес. Ей-богу, он был тут всегда!

Если бы я увидел его во сне, об этом не стоило бы даже упоминать. Но дело в том, что сна у меня не было ни в одном глазу. Я был абсолютно в здравом уме и слышал, как над головой свистит ветер, а вокруг шумит море. Мне хотелось есть и пить. И я ничуть не сомневался, что Хайме Манхаррес плывет вместе со мной.

— Почему ты не запасся водой на корабле? — спросил он.

— Потому что мы уже подплывали к Картахене, — ответил я. — Мы лежали на корме с Рамоном Эррерой.

Передо мной был не призрак, а живой человек. И я его не боялся, а, наоборот, подумал, до чего же глупо было терзаться одиночеством, когда на плоту со мной еще один моряк!

— Почему ты не поел? — спросил Хайме Манхаррес. И я отчетливо помню, что ответил:

— Потому что меня не захотели покормить. Я попросил яблок и мороженого, а мне не дали. Не знаю, куда они их спрятали.

Хайме помолчал. А потом снова указал мне, в каком направлении искать Картахену. Я посмотрел туда и увидел огни порта и пляшущие на воде буйки.

— Мы уже подплываем, — я сказал это, глядя на портовые огни; сказал безо всякой радости, словно после обычного плавания. Затем предложил Хайме немного погрести вместе. Но его уже не было. Он ушел.

Я сидел на плоту один, и огни порта оказались первыми лучами солнца. Первыми лучами моего третьего дня одиночества в море.

Глава 6

СПАСАТЕЛЬНОЕ СУДНО И ОСТРОВ ЛЮДОЕДОВ

Вначале каждый день связывался в моей памяти с каким-либо событием. Первый, двадцать восьмое февраля, — с катастрофой. Второй — с самолетами. Третий же был самым ужасным: в тот день не случилось ничего особенного. Плот неся, подгоняемый ветром. Сил грести у меня не было. Небо затянули тучи, я замерз и, не видя солнца, перестал ориентироваться в море. В то утро я не знал, откуда ждать самолета. У плота нет ни носа, ни кормы. Он квадратный и порою движется боком, постоянно вертясь волчком, и когда ориентироваться не по чему, то невозможно понять, куда ты плывешь: вперед или назад. Ведь море везде одинаковое. Бывало, я ложился и клал на лицо рубашку. А когда вставал, задняя часть оказывалась передней, и я не мог определить: то ли плот стал двигаться в другом направлении, то ли он просто повернулся вокруг своей оси. Нечто подобное случилось на третий день и со временем.

В полдень я решил сделать две вещи: во-первых, закрепить весло на одном из концов плота, чтобы иметь представление о его движении. А во-вторых, нацарапал ключами на борту несколько черточек, по одной на каждый прошедший день, и подписал под ними даты. Провел первую черточку и накорябал цифру восемь.

Прочертил вторую и написал вторую цифру — двадцать девять. Возле же третьей черточкой, обозначающей третий день, я поставил цифру тридцать. Так возникла еще одна путаница. Я считал, что дело происходит тридцатого февраля, а было второе марта. Я заметил свою оплошность лишь на четвертый день, когда принялся размышлять, сколько в этом месяце дней: тридцать или тридцать один. Только тогда мне вдруг пришло в голову, что катастрофа произошла в феврале, и — глупость, конечно! — из-за этой ошибки я перестал ориентироваться во времени. На четвертый день я уже не был уверен в том, что правильно вел счет дням своего пребывания на плоту. Сколько их было? Три? Четыре? Пять? Если судить по царапинам — неважно, к февралю или марту они относились, — то я пробыл на плоту три дня. Но я не был в этом полностью уверен, равно как и не мог сказать наверняка, куда движется плот: вперед или назад. Я предпочел пустить все на самотек, чтобы не породить еще большей путаницы, и окончательно уверился в том, что меня спасут.

Я еще ничего не ел и не пил. Мне уже не хотелось думать, я с трудом мог мыслить связно. Опаленная солнцем кожа страшно горела и пошла волдырями. На военно-морской базе инструктор предупреждал, что ни в коем случае нельзя подставлять солнцу спину, это небезопасно для легких. И меня, помимо всего прочего, беспокоило и это обстоятельство. Я снял не просыхавшую рубашку и повязал ее на поясе, потому что она натирала мне кожу. Так как я уже четыре дня ничего не пил и буквально задыхался, а вдобавок у меня сильно болело горло, грудь и под ключицами, то на четвертый день я выпил немного морской воды. Жажды она не утоляет, но все-таки освежает. А терпел я так долго, поскольку считал, что в следующий раз можно будет выпить еще меньше, и то лишь спустя много времени.

Акулы каждый день появлялись ровно в пять, я по-

ражался их точности. И возле плота начинался настоящий пир. Громадные рыбыны выпрыгивали из воды, а через пару минут их уже раздирали в клочья. Обезумевшие акулы стремительно прорезали окровавленную воду. Пока что они не пытались атаковать плот, но он притягивал их, так как был белого цвета. Общеизвестно, что акулы в основном кидаются на предметы белого цвета. Акула видит плохо и замечает лишь белые или блестящие предметы. По этому поводу инструктор дал нам еще один совет:

— Надо прятать всякие яркие вещи, чтобы не привлекать внимания акул.

Ярких вещей у меня не было. Даже циферблат моих часов темный. Но я чувствовал бы себя гораздо спокойней, если бы в случае нападения акул мог бросить подальше от плота что-нибудь белое. На всякий случай, начиная с четвертого дня, я с пяти часов постоянно держал наготове весло, чтобы обороняться от акул.

Я ВИЖУ КОРАБЛЬ!

Ночью я клал весло поперек плота и пытался уснуть. Не знаю, только ли во сне или наяву тоже, но каждую ночь я видел Хайме Манхарреса. Мы немного болтали о пустяках, и он исчезал. Я уже привык к его визитам. Когда всходило солнце, его приход казался мне галлюцинацией. Однако ночью я был совершенно уверен, что на краю плота сидит и разговаривает со мной настоящий Манхаррес. На рассвете пятого дня он тоже пытался заснуть. Хайме клевал носом, опершись о второе весло, но вдруг пристально поглядел на море и сказал:

— Смотри!

Я поднял глаза. Километрах в тридцати от плота я увидел огоньки: они плыли, как бы гонимые ветром, и мерцали, однако сомнений быть не могло — это огни корабля!

У меня уже несколько часов не было сил грести. Но увидев огни, я сел, крепко сжал весла и попытался подплыть к кораблю. Он двигался медленно, и в какой-то момент я различил не только огни мачты, но и ее тень, скользившую навстречу восходившему солнцу.

Мне сильно мешал ветер. И хотя я отчаянно работал веслами — ума не приложу, откуда у меня взялись силы после четырехдневной голодовки, — плот не отклонился от направления движения ветра ни на один метр.

Огни все отдалялись и отдалялись. Я вспотел. Силы меня покидали. Через двадцать минут они исчезли совсем. Звезды стали гаснуть, и небо приобрело сизый оттенок. Оставшись один, я поднялся под секущим, ледяным утренним ветром и некоторое время стоял, крича, как ненормальный.

Когда взошло солнце, я опять полулежал, прислонившись к веслу. Я был на последнем издыхании. Теперь мне стало понятно, что спасения ждать неоткуда, и я захотел умереть. Однако странное дело: стоило подумать о смерти, и в голову начинали лезть мысли об опасности. И эти мысли придавали мне сил.

Утром пятого дня я решил во что бы то ни стало изменить курс плота. Мне вдруг взбрело в голову, что, если я буду по-прежнему плыть по ветру, я попаду на остров к людоедам. В Мобиле я читал в каком-то, не помню точно в каком, журнале рассказ про человека, который потерпел кораблекрушение. Его потом сожрали каннибалы. Но я о том рассказе не думал. Я думал о книге «Моряк-отступник», которую прочел в Боготе два года назад. Это история про моряка. Во время войны, после того, как его корабль подорвался на mine, он умудрился доплыть до ближайшего острова. Там он провел сутки, питаясь дикими плодами, а затем его увидели каннибалы, бросили в котел с кипящей водой и сварили заживо. Этот остров тут же всплыл в моей памяти. И теперь побережье ассоциировалось для меня исключительно с

людоедами. Впервые за пять дней одиночества мои страхи направились в другое русло: теперь я боялся не столько моря, сколько земли.

В полдень, совершенно обессиленный, я лежал на плоту; от солнца, голода и жажды я впал в какое-то летаргическое состояние. Я ни о чем не думал. Потерял ощущение времени и пространства. А когда попытался встать на ноги и понять, сколько у меня осталось сил, то осознал, что тело мне уже неподвластно.

«Пора», — подумал я. И действительно, мне показалось, что наступил самый страшный момент, о котором предупреждал инструктор: пора привязываться к плоту. Наступает такой момент, когда ты уже не ощущаешь ни голода, ни жажды. Когда покрытая волдырями кожа становится нечувствительной к укусам беспощадного солнца. Ты еще можешь прибегнуть к последнему средству — высвободить концы веревочной сетки и привязаться к плоту. Во время войны часто находили полуразложившиеся, ислеканные птицами, но крепко привязанные к плотам трупы.

Однако я решил, что пока привязываться незачем, у меня хватит сил продержаться до ночи. Я скатился на дно плота, залез в воду по шею, вытянул ноги и просидел там несколько часов. Солнце припекало рану на колене, и она начала болеть.

Внезапно я будто проснулся. Боль как бы снова пробудила меня к жизни. Мало-помалу прохладная вода придала мне сил. И тут в животе у меня начались резкие колики, а потом разразился настоящий бунт. Я попытался сдержаться, но не мог.

Тогда я с превеликим трудом выпрямился, распустил пояс, расстегнул брюки, и, справив большую нужду, испытал огромное облегчение. За пять дней это произошло впервые. И впервые рыбы отчаянно заколотились о борт плота, стараясь прорвать крепкую веревочную сетку.

СЕМЬ ЧАЕК

Глядя на спящих совсем близко блестящих рыб, я вновь ощутил прилив голода. Вот когда я действительно впал в отчаяние. Но теперь хотя бы была надежда. Я забыл про усталость, схватил весло и собрался из последних сил врезать по голове какой-нибудь рыбине из тех, что металась возле плота, выскакивали из воды и бились о борт. Я чувствовал, что каждый раз попадаю в цель, но тщетно пытался разглядеть жертву. Это было жуткое пиршество рыб, которые пожирали друг друга, а акула плавала кверху брюхом, выхватывая из бурлящей воды лакомые кусочки.

Увидев акулу, я отказался от своих намерений, раздосадованный, бросил весло и улегся на борт. Но через несколько минут меня обуяла радость: над плотом кружило семь чаек!

Для изголодавшегося, затерянного в море матроса чайка — это весточка надежды. Обычно стая чаек отправляется из порта вслед за кораблем, но на второй день плавания отстает. Семь чаек, паривших над плотом, означали, что земля неподалеку.

Будь у меня силы, я бы принялся грести. Но я был совершенно изнурен. Меня почти не держали ноги. Считая, что не пройдет и двух дней, как я выберусь на сушу, я зачерпнул пригоршню воды, выпил и опять улегся на спину, чтобы уберечь ее от солнца. Я не стал закрывать лицо рубашкой, потому что хотел следить за чайками, которые медленно летели острым клинышком в открытое море. Был час дня, шли пятые сутки моего пребывания в море.

Не знаю, когда она прилетела. Время близилось к пяти, я лежал на борту и собирался до появления акул окунуться в воду. Но вдруг увидел чайку, маленькую, не больше моей ладони. Она кружила над плотом, ненадолго опускаясь на его противоположный край.

Рот у меня наполнился вязкой слюной. Мне нечем было поймать эту птицу. У меня не было ничего, кроме рук и подогреваемой голодом смекалки. Остальные чайки исчезли. Оставалась только эта коричневая малютка с блестящими перышками, скакавшая по плоту.

Я лежал совершенно неподвижно. Мне уже мерещился острый плавник точной, как часы, акулы, которая с пяти ноль-ноль должна была рыскать возле плота, но я решил рискнуть. Я боялся даже посмотреть на чайку, чтобы не испугнуть ее поворотом головы. Она пролетела как раз надо мной, низко-низко. Потом умчалась вдаль и пропала в небе. Но я не потерял надежды. Я не задавался вопросом, как я буду ее разделявать и потрошить. Я знал только, что мне хочется есть и что если я буду лежать совершенно неподвижно, чайка подберется ко мне и я ее схвачу.

Я ждал, по-моему, больше полчаса. Чайка то появлялась, то исчезала. В какой-то момент по воде, прямо возле моей головы, ударил плавник акулы, которая терзала рыбу. Но вместо страха я почувствовал новый прилив голода. Чайка скакала по борту. Кончался пятый день моего пребывания в море. Пять дней я ничего не ел. И хотя страшно волновался, хотя сердце мое бешено колотилось, я лежал неподвижно, словно мертвый. И чувствовал, что чайка подбирается ко мне все ближе и ближе.

Я лежал на борту, вытянув руки вдоль туловища. Ей-богу, за целые полчаса я даже ни разу не моргнул. Небо светилось все ослепительней, и свет резал мне глаза, но я боялся закрыть их в столь напряженный момент. Чайка уже клевала мои ботинки.

Томительно, напряженно прошли полчаса, и вдруг птица села ко мне на ногу и слегка ткнулась клювом в штанину брюк. Я по-прежнему лежал не шевелясь, но тут она резко и сильно клюнула меня в раненое колено. Я чуть не подскочил от боли, но сдержался. Потом чайка

перебралась повыше и замерла в пяти-шести сантиметрах от моей руки. Тогда я затаил дыхание и незаметно, весь собравшись в комок, начал протягивать к ней руку.

Глава 7

ГОЛОД НЕ ТЕТКА

Если вы уляжетесь на городской площади в надежде поймать чайку, то будьте уверены, что вам в жизни этого не удастся. А вот в ста милях от берега — совсем другое дело. На суше у чаек обостряется инстинкт самосохранения. В море же они становятся доверчивыми.

Я лежал так спокойно, что, наверное, маленькая игрунья, усевшаяся мне на ногу, решила, что я мертв. Я ее прекрасно видел. Она хватала меня клювом за брюки, но не причиняла боли. Моя рука миллиметр за миллиметром двигалась по направлению к ней. И в тот самый момент, когда птица почуяла опасность и хотела упорхнуть, я схватил ее за крыло и прыгнул на дно плота, намереваясь тут же растерзать свою жертву.

Ожидая, когда же птица сядет ко мне на ногу, я был уверен, что, изловив чайку, съем ее живьем, даже не ощипывая. Я изголодался, и при одной только мысли о крови животного мне хотелось пить. Но когда чайка попалась, когда у меня в руках затрепыхалось ее теплое тельце и я увидел круглые и блестящие карие глаза, я заколебался.

Однажды, стоя на палубе с ружьем, я пробовал подстрелить чайку, летевшую за кораблем. Один офицер, опытный моряк, сказал мне:

— Не делай этого. Для моряка увидеть чайку все равно что увидеть землю. Охотиться на чаек — недостойное занятие.

И теперь, на плоту, держа в руках пойманную птичку, собираясь ее убить и разорвать на куски, я вспомнил

его слова. И хотя я пять дней ничего не ел, слова эти явно звучали у меня в ушах. Однако голод в тот момент пересилил все на свете. Я крепко сжал голову птице, намереваясь свернуть ей шею, как курице.

Шейка оказалась слишком хрупкой. Стоило чуть нажать, и позвонки сломались. Я нажал еще и почувствовал, как по пальцам заструилась горячая, яркая кровь. Мне стало жаль птицу. Это смахивало на убийство. Голова чайки отделилась от тела и задержалась у меня на ладони.

Кровь, пролившаяся на плот, взбудоражила рыб. За борт слегка задело белое, блестящее брюхо проплывавшей мимо акулы. В такой момент, обезумев от запаха крови, акула способна одним махом перекусить стальную пластину. Из-за своеобразного расположения челюстей акула должна перевернуться на спину, чтобы схватить жертву. Но поскольку она подслеповата и прожорлива, то, перевернувшись на живот, она все равно пытается сожрать все, что ни попадется на ее пути. Помоему, в тот момент акула сделала попытку атаковать плот. Я в ужасе выкинул голову чайки, и в нескольких сантиметрах от борта началась борьба рыбин за птичью голову, которая была меньше куриного яйца.

Перво-наперво я попытался ощипать птицу. Она оказалась поразительно легкой, а кости — такими хрупкими, что их можно было переломать двумя пальцами. Я попробовал выдернуть перья, но белая кожа под ними была настолько нежной, что окровавленные перья выдирались вместе с мясом. Вид черного месива, налипшего мне на пальцы, вызвал у меня омерзение.

Легко сказать: мол, поголодав пять дней, можно съесть что угодно! Но даже самому изголодавшемуся человеку покажется отвратительным комок перьев, измазанных теплой кровью и воняющих сырой рыбой.

Вначале я пытался аккуратно ощипать чайку. Но кожа у нее была чересчур нежной. Она буквально расплзлась у меня под руками. Я помыл чайку в воде. Потом

одним махом разорвал ее пополам, и при виде розовоголубых внутренностей меня затошнило. Я поднес ко рту верхнюю часть ножи, но не смог проглотить ни кусочка. И ничего удивительного! Мне почудилось, что я жую лягушку. С нескрываемым отвращением я выплюнул кусок, который держал во рту, и долго сидел не шевелясь, зажав в кулаке гадкий комок окровавленных костей и перьев.

Потом мне пришло в голову, что раз уж я не могу ее съесть, то пусть она послужит мне наживкой. Однако у меня не было рыболовных снастей. Эх, найти бы хотя бы булавку или кусок проволоки! Но при мне были лишь ключи, часы, кольцо и три рекламных открытки из мобильского магазина.

Я вспомнил про ремень. Наверно, из пряжки можно соорудить крючок. Но усилия пропали даром. Никакого крючка соорудить не удалось. Смеркалось, и ошалевшие от запаха крови рыбы прыгали вокруг плота. Когда окончательно стемнело, я выбросил в воду остатки чайки и лег умирать. Укладываясь на весло, я слышал глухую возню рыб, сражавшихся за косточки чайки, которые я так и не смог обглодать.

Пожалуй, я действительно умер бы этой ночью от усталости и отчаяния. Сразу, едва стемнело, поднялся сильный ветер. Плот швыряло из стороны в сторону, а я лежал без сил в воде, высунув наружу лишь ноги и голову и даже не подумав привязаться веревками.

Но после полуночи погода переменилась: выглянула луна. Это была первая лунная ночь после катастрофы. В серебристом свете морские просторы казались прозрачными. Той ночью Хайме Манхаррес не пришел. Я, одинокий, ни на что уже не надеявшийся человек, был брошен на произвол судьбы.

Однако всякий раз, когда я падал духом, что-нибудь вновь вселяло в меня надежду. Той ночью это были отблески луны на волнах. Море штормило, и на каждой волне мне чудился огонек корабля. Две ночи назад я по-

терял надежду на то, что меня спасет какое-нибудь судно. И тем не менее всю ту ясную лунную ночь, мою шестую ночь в море, я, как одержимый, вперял взор вдаль, вглядываясь почти с таким же упорством и верой, как сразу же после катастрофы. Окажись я теперь в подобной ситуации, я бы умер от отчаяния — ведь теперь мне известно, что ни один корабль не плавает в тех водах, где дрейфовал мой плот.

Я БЫЛ ПОКОЙНИКОМ

Как рассвело на шестой день, я не помню. Смутно припоминаю лишь то, что все утро я лежал в прострации на дне плота, находясь между жизнью и смертью. В те минуты я думал о своих родных, и, как мне потом рассказали, представлял все совершенно правильно, именно так и обстояли дела в дни моего отсутствия. Меня не удивило известие о том, что мне отдали последние почести. В то шестое утро одиночества в море я думал, что меня наверняка сейчас хоронят. Родным, конечно, сообщили о моем исчезновении. А раз самолеты не вернулись, значит, поиски прекращены и я объявлен погибшим.

И в известной мере это было правдой. Все пять дней я непрерывно боролся за жизнь. Я всегда находил какую-то возможность выстоять, цепляясь буквально за соломинку и вновь обретая надежду. Но на шестой день мои надежды иссякли. Я был покойником на плоту.

На закате, подумав, что скоро пять часов и, стало быть, вновь пожалуют акулы, я сделал над собой сверхъестественное усилие, чтобы сесть и привязаться к борту. Два года назад я видел на пляже в Картахене останки человека, растерзанного акулой. Я не хотел умереть подобной смертью. Не хотел, чтобы меня растерзала на куски стая ненасытных рыб.

Дело близилось к пяти. Как всегда пунктуальные,

акулы были тут как тут, рыскали вокруг плота. Я с трудом сел и стал развязывать концы веревочной сети. Вечер был свеж. Море спокойно. Я слегка приободрился и внезапно увидел семь вчерашних чаек, а увидев их, снова захотел жить.

В тот момент я съел бы что угодно. Меня мучил голод. Но еще мучительней была боль в пересохшем горле и сведенных челюстях, которые уже отвыкли двигаться. Мне нужно было что-нибудь пожевать. Я попытался отодрать полоску резины от ботинок, но отрезать ее было нечем. Вот тогда я и вспомнил о рекламных открытках.

Они лежали в кармане брюк и от сырости почти совсем расплзлись. Я разорвал их на кусочки, положил в рот и начал жевать. И — о чудо! Горло немножко отпустило, а рот наполнился слюной. Я медленно продолжал двигать челюстями, словно во рту была жевательная резинка. Вначале челюсти ныли. Но постепенно, жуя открытку, которую я бог знает почему хранил в кармане с того дня, как мы пошли за покупками с Мэри Эдресс, я приободрился и повеселел. Я собирался жевать открытки постоянно, чтобы разработать челюсти. Но выплевывать их в море показалось мне кошунством. Я ощутил, как крошечный комочек жеваного картона проваливается в мой желудок, и мне вдруг показалось, что я спасусь, что акулы меня не растерзают.

КАКИЕ НА ВКУС БОТИНКИ?

После истории с карточками, которые принесли мне такое облегчение, воображение мое разыгралось, и я стал думать: что бы еще съесть? Если бы у меня была бритва, я бы искромсал башмаки и съел бы каучуковые подошвы. Ничего более аппетитного в моем распоряжении не было. Я попытался отодрать подошву, используя вместо бритвы ключи. Но тщетно. Оторвать резину, прочно приплавленную к ткани, оказалось невозможно.

В отчаянии я впился зубами в ремень и кусал его до тех пор, пока не заболели зубы. Но вырвать не смог ни кусочка. Должно быть, я походил на дикого зверя, когда пытался грызть кусок ботинка, ремня или рубашки. А на закате я снял промокшую одежду и остался в одних трусах. Не знаю, карточки подействовали или еще что-нибудь, но меня почти тут же сморил сон. В эту седьмую ночь, то ли уже привыкнув к неудобному плоту, то ли совершенно выбившись из сил после семи бессонных ночей, я спал как сурок. Порою меня будили волны, я пугался и подпрыгивал, чувствуя, что вот-вот шлепнусь в воду. Но тут же снова засыпал.

Наконец настал седьмой день моего пребывания в море. Почему-то я был уверен, что он не окажется последним. Море было спокойным и туманным, и когда, часов около восьми, взошло солнце, я хорошо выспался и чувствовал себя бодрым и отдохнувшим. Над плотом по низкому свинцовому небу в который раз пролетели семь чаек.

Два дня назад я им бурно радовался. Но теперь, видя их на третий день подряд, перетрухнул. «Это заблудившиеся чайки, — подумал я. — Каждый моряк знает, что иногда стая чаек теряется в море и некоторое время летит наобум, пока не наткнется на корабль, который укажет им дорогу в порт». Наверное, я три дня подряд видел одних и тех же заблудившихся в море чаек. А это означало, что мой плот относилло все дальше и дальше от суши.

Глава 8

Я ВОЮЮ С АКУЛАМИ ИЗ-ЗА РЫБЫ

Мысль о том, что я не приближаюсь к берегу, а удаляюсь в открытое море, сломила мою волю к борьбе. Но когда человек оказывается на краю гибели, у него сра-

батывает инстинкт самосохранения. Рядом обстоятельств тот день, седьмой день моих скитаний, отличался от предыдущих: море было спокойным и темным, солнце не палило, а грело и ласкало, постоянно дувший ветерок мягко толкал плот и слегка утихомиривал боль от ожогов.

Рыбы тоже вели себя иначе. Они спозаранку плыли за плотом, причем держались почти на поверхности воды. Я их прекрасно видел. Они были голубые, коричневые, красные. Всевозможных расцветок, форм и размеров. Мой плот, казалось, попал в аквариум.

Не знаю, может быть, после семидневной голодовки, дрейфуя в море, человек привыкает к такой жизни. Думаю — да. Отчаяние, в котором я пребывал предыдущие дни, сменилось тупой, бессмысленной покорностью. Я был убежден, что все переменялось, что море и небо перестали быть моими врагами и что плывущие за плотом рыбы — мои друзья. Мои старые знакомые, которых я знаю целых семь дней.

В то утро я не надеялся куда-нибудь приплыть. Я был уверен, что плот занесло в такие места, где не плавают корабли и где теряются даже чайки.

И все же я думал, что, проболтавшись так семь дней, я привыкну к морю, привыкну влачить это жалкое существование и мне не нужно будет изощряться, пытаюсь выжить. В конце концов, продержался же я целую неделю наперекор всему! Отчего бы мне не прожить на плоту всю жизнь? Рыбы плавали на поверхности, море было прозрачным и тихим. Вода вокруг плота кишела симпатичными, аппетитными морскими обитателями, и мне казалось, что их можно поймать голыми руками. Ни одной акулы видно не было. Я доверчиво опустил руку в воду и попытался ухватить блестящую голубую рыбку, сантиметров в двадцать, не больше. Все рыбы торопливо нырнули вглубь. Вода на мгновение забурилась, и морские обитатели исчезли. Потом мало-помалу вновь вынырнули на поверхность.

Я решил, что ловить рыбу голыми руками надо с умом. В воде руки теряют свою силу и ловкость. Я нацеливался на какую-нибудь рыбешку. Пытался ее поймать. И ловил, но она с ошеломляющей быстротой и проворством проскальзывала у меня между пальцами. Я набрался терпения и долго сидел, пытаюсь выловить рыбу. Я не думал, что, возможно, внизу, на дне, притаилась акула и поджидает, когда я опущу руку по локоть, чтобы откусить ее одни махом. До начала одиннадцатого я пытался поймать рыбу. Но — увы! Рыбки покусывали мне пальцы, сначала легонько, как будто беря наживку. Потом сильнее. Полуметровая рыба, гладкая и серебристая, мелкими острыми зубами содрала мне кожу на большом пальце. И тут я заметил, что укусы других рыбешек совсем не безобидны. Мои пальцы сплошь покрыты маленькими кровотокащими ссадинами.

АКУЛА НА ПЛОТУ!

Не знаю, то ли кровь моя их привлекла, то ли еще что-то, но в ту же минуту вокруг плота началась настоящая акулья оргия. Я в жизни не видел столько этих тварей. И вдобавок таких кровожадных. Они прыгали, словно дельфины, преследуя и пожирая рыб возле плота. Я в ужасе забился на дно и оттуда глядел на эту расправу.

Все произошло так внезапно, что я не заметил, в какой именно момент акула выскочила из воды, сильно ударила хвостом, и плот закачался и потонул в искрящейся пене. В сверкающей волне, ударившей о борт плота, блеснула этакая стальная молния. Я инстинктивно схватился за весло и приготовился нанести сокрушительный удар, но заметив возле борта выступающий из воды огромный плавник, понял, что произошло. Спасаясь от акулы, на плот запрыгнула полуметровая рыба, блестящая и зеленая. Я собрал все силы и обрушил на ее голову первый удар весла.

Убить рыбу на плоту оказалось не так-то просто. От каждого удара плот накренился, угрожая сделать сальто-мортале. Момент был крайне напряженный. От меня требовалось максимум силы и сообразительности. От неудачного удара плот мог перевернуться, и я упал бы в воду, кишевшую голодными акулами. Но и не бить было нельзя — добыча могла ускользнуть. Я балансировал на грани жизни и смерти. Либо я попадаю в пасть к акулам, либо приобретаю четыре фунта свежей рыбы, которой смогу утолить недельный голод.

Я крепко оперся о борт и ударил во второй раз. Я почувствовал, как весло проламывает кости на голове рыбы. Плот задрожал. Под ним закопошились акулы, но я крепко опирался о борт. Когда плот вновь выровнялся, я увидел, что лежавшая среди него рыба все еще жива. В предсмертной агонии рыба подскакивает невероятно высоко и далеко. Я знал, что третий удар должен сразить ее или я навсегда упусти добычу.

Я уселся на дно плота, так мне было сподручнее ловить рыбу. Если бы понадобилось, я бы схватил ее руками, ногами или зубами. Я уселся поудобнее. Пытаясь не промахнуться, не сомневаясь, что от этого удара зависит моя жизнь, я со всей силы обрушил весло на голову рыбы. Она неподвижно застыла, и струйка темной крови окрасила воду на дне плота.

Но не только я почувствовал запах крови. Его почуяли акулы. Такого смертельного страха, как в тот момент, когда мне удалось заполучить четыре фунта рыбы, я еще не испытывал. Осатанев от запаха крови, акулы с размаху бросались на сетку. Плот угрожающе сотрясался. Я понимал, что в любой момент он может перевернуться. Все произошло бы мгновенно. Вмиг стальные акулы зубы — а их у нее сверху и снизу по три ряда — растерзали бы меня на части.

Однако голод заглушал остальные чувства. Я зажал рыбу ногами и, балансируя, пытался после каждой атаки хищников выровнять плот. Это длилось несколько ми-

нут. Каждый раз, когда плот приходил в равновесие, я выплескивал за борт окровавленную воду. Постепенно вода очистилась от крови, и акулы утихомирились. Но надо было держать ухо востро: из воды торчал на метр с лишним чудовищный плавник. Ничего подобного мне еще видеть не доводилось. Акула плавала спокойно, но я знал, что стоит ей опять почуять запах крови, и она играючи перевернет плот. С массой предосторожностей я приступил к разделке рыбы.

Тело такой крупной рыбы защищено толстой чешуей. Попробуйте выдернуть чешуйки, и вы убедитесь, что они, как стальные пластины, впаяны в мясо. А никакого режущего инструмента у меня при себе не было. Я попробовал счистить чешую ключами, но чешуйки сидели, как влитые. Между тем я с удивлением разглядывал эту невиданную рыбу — ярко-зеленую, в плотной броне чешуи. С детства зеленый цвет ассоциируется для меня с ядом. Вы не поверите, но хотя в животе у меня начались колики при одной только мысли о куске свежей рыбы, в какой-то момент я чуть не выбросил ее за борт, вообразив, что она ядовита.

МОЕ БЕДНОЕ ТЕЛО

Однако терпеть голод можно лишь тогда, когда надежды найти пропитание нет. Когда же я, сидя на дне плота, пытался разделать ключами зеленую, блестящую рыбку, голод стал совершенно нестерпимым.

Через пару минут я убедился, что если я намерен съесть добычу, то должен действовать более решительно. Я поднялся на ноги, наступил рыбе на хвост и засунул ей под жабры конец весла. Они были защищены толстыми, прочными пластинами. Орудия веслом, я в конце концов порвал жабры. Рыба, как я заметил, была еще жива. Я снова ударил ее по голове. Потом попытался вырвать твердые пластинки, защищавшие жабры, и не смог

разобрать, чья кровь струится у меня по пальцам: рыба или моя собственная. Руки у меня были изранены, а кожа на кончиках пальцев содрана до мяса.

Кровь снова возбудила у акул аппетит. Трудно поверить, но в тот момент, когда вокруг бушевали голодные чудовища, а я не мог преодолеть отвращения при виде окровавленной рыбы, я чуть было не швырнул ее акулам, как раньше поступил с чайкой. Я был в отчаянии, ощущая свое полное бессилие перед стальной, закованной в броню рыбой.

Я внимательно ее осмотрел, ища хоть какое-то уязвимое место. Наконец обнаружил под жабрами щель и начал пальцем выковыривать потроха. Рыбьи потроха мягкие и бесформенные. Говорят, если акулу сильно тряхнуть за хвост, из ее пасти вывалятся желудок и внутренности. В Картахене я видел подвешенных за хвост акул, из пасти которых свисал огромный комок темных липких внутренностей.

К счастью, потроха моей рыбы были такие же мягкие, как у акулы. Я вытащил их за две секунды. Это оказалась самка: среди потрохов я обнаружил гирлянду икринок. Хорошенько вычистив рыбу, я впился в нее зубами. С первого раза прокусить чешую не удалось. Но я предпринял вторую попытку и с новыми силами отчаянно вгрызался в свою добычу, пока у меня не заболели челюсти. В результате мне удалось отгрызть первый кусок, и я принялся пережевывать жесткое мясо.

Я жевал с отвращением. Мне всегда был омерзителен запах сырой рыбы. На вкус он оказался еще гаже. Рыба отдаленно напоминала сырые плоды пальмы чонтаду-ро, однако была более пресной и крепкой. Я никогда не ел живую рыбу, но жуя первый кусок, попавший ко мне в рот за семь дней, я впервые испытал отвратительное ощущение, будто я ем рыбу живьем.

После первого же куска мне полегчало. Я откусил еще немного и вновь заработал челюстями. Минуту назад я считал, что могу съесть целую акулу. Но после второго

куска рыбы почувствовал, что насытился. Мой зверский семидневный голод был утолен в мгновение ока. Я снова стал силен, как в первый день моих злоключений.

Теперь я знаю, что сырая рыба утоляет жажду. Тогда я об этом не подозревал, однако заметил, что не только голод, но и жажда куда-то делись. Я был доволен и настроен оптимистически. Пищей я запасаюсь надолго, ведь я откусил от полуметровой рыбины всего каких-то два кусочка.

Я решил завернуть ее в рубаху и положить на дно плота, чтобы она не протухла. Но сначала предстояло ее помыть. Я рассеянно взял рыбу за хвост и опустил в воду за бортом. Между чешуйками запеклась кровь, и ее надо было смыть. Я опять опрометчиво сунул рыбу в воду. И вдруг ощутил рывок, а потом услышал свирепый хруст акульих челюстей. Я изо всех сил вцепился в рыбий хвост. От рывка акулы я потерял равновесие. Однако, и ударившись о борт, не выпустил добычу из рук. Я сражался за нее, как зверь. В кратчайшие доли секунды я не успел подумать о том, что во второй раз акула может отхватить мне руку по самое плечо. Я опять изо всех сил потянул рыбу на себя, но в руках у меня уже ничего не было. Акула утащила мой улов.

Обезумев от отчаяния и ярости, я в дикой злобе схватил весло и, когда акула снова проплыла мимо борта, шарахнул ее по голове что было мочи. Эта тварь подпрыгнула, рывком перевернулась и одним махом, резко и свирепо щелкнув челюстями, откусила половину весла и проглотила его.

Глава 9

ЦВЕТ ВОДЫ НАЧИНАЕТ МЕНЯТЬСЯ

В бессильной злобе я продолжал молотить сломанным веслом по воде. Мне нужно было отомстить акулам за то, что они выхватили у меня из рук мою единствен-

ную пищу. Было около пяти дня, шли седьмые сутки моих злоключений. С минуты на минуту должна была явиться целая свора акул. Съев два куска рыбы, я чувствовал себя силачом, а ярость из-за потери добычи странным образом укрепила мою волю к борьбе. На плоту оставалось еще два весла. Я хотел было взять вместо обломка целое и продолжать сражаться, но инстинкт самосохранения превозмог ярость: я подумал, что, пожалуй, потеряю и эти весла, а они в любой момент могли пригодиться.

Закат был такой же, как и в предыдущие дни, однако ночь выдалась более темная. Море бурлило. Собирался дождь. Рассчитывая на то, что с минуты на минуту у меня будет питьевая вода, я скинул рубашку и башмаки, приспособив их под тару для воды. Когда такая погода бывает на суше, мы говорим: «Собачья погода». На море же ей больше подошло бы название «акуля».

Около девяти задул ледяной ветер. Я попытался укрыться на дне плота, но не смог. Холод продирает меня до костей. Мне пришлось надеть снова рубашку и ботинки, смирившись с мыслью, что дождь застигнет меня врасплох и набрать воды будет не во что. Волны вздымались выше, чем двадцать восьмого вечером, перед катастрофой. Плот казался жалкой скорлупкой во вздыбленном, взбаламученном море. Заснуть я не мог. Я залез в воду по шею, потому что на воздухе с каждой минутой холодало. Меня бил озноб. В какой-то момент я совсем ооченел и начал энергично двигаться, чтобы согреться. Но ничего не получилось. Я слишком ослаб. Мне пришлось крепко уцепиться за борт, иначе меня смыло бы водой. Голова моя покоилась на сломанном весле. Два других лежали на дне плота.

Незадолго до полуночи ветер усилился, тучи сгустились и стали свинцовыми, воздух увлажнился, однако с неба не упало ни капли. В самом начале первого огромная волна — такая же, как та, что окатила палубу эсмин-

ца, — приподняла плот, словно кожуру банана, подбросила его вверх, и не успел я и глазом моргнуть, как плот перевернулся.

Я это осознал уже под водой, выбираясь на поверхность, точь-в-точь как в момент катастрофы. Я отчаянно боролся с волнами, вынырнул и обмер: плота не было! Вокруг меня перекатывались гигантские волны, и я вспомнил Луиса Ренхифо, могучего, не обессилевшего от голода мужчину и отличного пловца, который так и не сумел добраться до плота, находившегося от него всего в двух метрах. Я плохо соображал, что к чему, и искал плот совсем в другой стороне. Внезапно он вынырнул сзади, примерно в метре от меня, и, легкий, как пушинка, закачался на волнах. Два взмаха рук — и я уже был на плоту. Два взмаха — значит, две секунды, но мне эти секунды показались вечностью. Я был настолько перепуган, что одним прыжком сиганул через борт и, мокрый, запыхавшийся, забился на дно плота. Сердце бешено колотилось в груди, я не мог дышать.

МОЯ СЧАСТЛИВАЯ ЗВЕЗДА

Мне было грех роптать на судьбу. Если бы плот перевернулся в пять часов дня, акулы растерзали бы меня в клочки. Но в двенадцать ночи они утихомириваются. А особенно когда море штормит.

Оказавшись вновь на плоту, я вдруг осознал, что стискиваю в руках весло, перекушенное акулой. Все произошло так стремительно, что я действовал чисто инстинктивно. Позднее я вспомнил, что весло, упав в воду, стукнуло меня по голове, и я схватил его, когда шел ко дну. Это весло оказалось единственным, которое уцелело. Два других остались в море.

Чтобы не лишиться хотя бы этой сломанной деревяшки, я надежно прикрепил ее к веревочной сетке одним

из свободных концов. Море все бушевало. На первый раз мне повезло, но если плот перевернется снова, я могу до него и не добраться. Подумав так, я высунул из брюк ремень и крепко пристегнул себя к сетке.

Волны по-прежнему бились о борт. Плот плясал в сердитом, мутном море, но мне ничто не угрожало, я был привязан ремнем к сетке. Весло тоже было в сохранности. Стараясь не дать плоту перевернуться, я думал, что чуть не потерял рубашку и ботинки. Не замерзни я и не надень их, они валялись бы на дне плота и, когда тот перекувырнулся, ушли бы на дно вместе с веслами.

В том, что плот переворачивается во время шторма, нет ничего страшного. Он сделан из пробки и обтянут непромокаемой, покрашенной в белый цвет тканью. Однако днище закреплено не жестко, а свисает с пробкового каркаса, как корзина. Плот может перевернуться, но его дно тут же приходит в нормальное положение. Единственная опасность состоит в том, что плот может далеко отнести волнами. Поэтому я решил, что, привязавшись к сетке, я не рискую потерять плот, даже если он перевернется тысячу раз.

Так-то оно так. Но я не учел одного обстоятельства. Через четверть часа плот опять, причем весьма эффективно, сделал сальто-мортале. Сперва я повис в ледяном влажном воздухе, под секущим ветром. Потом увидел перед собой пропасть и понял, в какую сторону сейчас перевернется моя посудина. Я рванулся к другому боку, чтобы выправить плот, но прочный кожаный ремень, которым я пристегнулся к сетке, не пустил меня. Я мгновенно сообразил, что происходит: плот перевернулся вверх дном. Я оказался под водой и был крепко привязан к борту. Я задыхался, а мои пальцы тщетно пытались нащупать пряжку ремня.

Стараясь не впадать в панику, я заметался, пробуя отстегнуться. Я знал, что времени в обрез: когда я в хорошей форме, то выдерживаю под водой чуть больше

восьмидесяти секунд. Я затаил дыхание в тот самый момент, как очутился под плотом. Это было минимум пять секунд тому назад. Я провел рукой по талии и, по-моему, меньше чем за секунду нащупал ремень. В следующую секунду обнаружил пряжку, схватившись другой рукой за плот, чтобы ослабить натяжение. Я долго искал, как бы получше за него уцепиться. Потом наконец повис на левой руке. Правой же нащупал пряжку, быстро сориентировался и отстегнулся. Не защелкивая пряжки и по-прежнему держась за борт, я перевалился на дно плота и мгновенно отцепился от сетки. Легкие у меня разрывались. Из последних сил я схватился двумя руками за сетку и, все еще не дыша, начал подтягиваться.

Под моей тяжестью плот сам собой опять перевернулся. А я вновь оказался под ним.

Я захлебывался. Истерзанное жаждой горло страшно болело, но я этого почти не замечал. Главное было не отпустить плот. Наконец я умудрился высунуть из воды голову. Перевел дыхание. Я был совершенно измучен. Мне казалось, влезть на борт у меня не хватит сил. Но в то же время я боялся оставаться в воде, в которой всего несколько часов назад кишели акулы. Не сомневаясь в том, что это последний рывок в моей жизни, я собрал оставшиеся силы, подтянулся на руках и в изнеможении упал на дно плота.

Не знаю, сколько времени я пролежал неподвижно. Горло болело, а содранные до крови кончики пальцев дергало. Я знаю лишь, что меня тогда волновали две проблемы: как бы дать легким передышку, а плоту не позволить перевернуться.

РАССВЕТНОЕ СОЛНЦЕ

Так начался восьмой день пребывания в море. Утро выдалось ненастное. Если бы пошел дождь, у меня не хватило бы сил набрать воды. Но ливень меня бы осве-

жил. Однако, несмотря на повышенную влажность воздуха, предвещавшую, казалось бы, неизбежный дождь, с неба не упало ни капли. На рассвете море по-прежнему штормило. Успокоилось оно только после восьми утра. Но потом выглянуло солнце, и небо вновь стало ярко-голубым.

Совершенно измученный, я перегнулся через борт и выпил несколько глотков морской воды. Теперь-то я знаю, что она не вредна для организма. Но тогда не знал этого и пил только в тех случаях, когда боль делалась невыносимой. После того как пробудешь без воды семь дней, муки жажды ощущаются по-иному, не так, как вначале: возникает боль где-то глубоко в горле, в груди и, главное, под ключицами. И мучает удушье. Морская вода немного снимала боль...

После шторма рассветное море бывает голубым, как на картинках. Возле берега кротко плещутся на воде стволы и корни деревьев, вырванных бурей. Чайки кружат над морем. Этим утром, когда ветер стих, поверхность воды стала как гладкий лист железа, и плот легко понесся вперед. Теплый ветер приободрил меня и физически, и душевно.

Крупная темная старая чайка пролетела низко над моим плотом. У меня не осталось сомнений: земля близко! Чайка, которую я поймал несколько дней назад, была молоденькой. В этом возрасте они могут летать удивительно далеко. Но такие старые, крупные и тяжелые птицы, как та, что кружила над моим плотом на восьмой день, не улетают за сто миль от берега. У меня опять появились силы бороться. Как и в первые дни, я начал пристально всматриваться в даль. Со всех сторон к плоту летели большие стаи чаек.

Я уже не чувствовал себя одиноким и повеселел. Есть не хотелось. Я чаще, чем раньше, пил морскую воду. Мне не было одиноко в этой большой компании чаек, круживших у меня над головой. Я вспомнил Мэри Эдресс.

«Как она там?» — спрашивал я себя и, вспоминая ее голос, вновь слышал, как она помогает мне переводить диалоги из кинофильмов. Именно в тот день, когда я единственный раз вспомнил о Мэри ни с того ни с сего, просто потому, что небо вдруг заполнили чайки, она была в мобильской католической церкви на мессе, которую заказывала за упокой моей души. Эту мессу, потом написала мне Мэри в Картахену, отслужили на восьмой день после моего исчезновения. Мэри просила бога даровать моей душе покой. И не только душе, думаю я теперь, но и телу, ибо в то утро, когда я вспоминал Мэри Эдресс, а она молилась обо мне в Мобиле, я сидел на плоту и, глядя на чаек, возвещавших о близости земли, чувствовал себя совершенно счастливым.

Почти целый день я просидел на борту, глядя вдаль. Погода выдалась удивительно ясная. Я не сомневался, что землю можно будет различить за целых пятьдесят миль. Плот двигался с такой скоростью, которую не развили бы и два гребца с четырьмя веслами. Он несся вперед по голубой глади воды, словно моторная лодка.

Пробыв семь дней на плоту, начинаешь подмечать самые незначительные изменения оттенка воды. Седьмого марта в три часа тридцать минут пополудни я заметил, что вода вокруг плота становится не синей, а темно-зеленой. В какой-то момент я даже увидел границу между двумя цветовыми зонами: по одну сторону плота вода была синей, как и все предыдущие семь дней, а по другую — зеленой; очевидно, она обладала повышенной плотностью. В небе, очень низко, летали тучи чаек. Я слышал над головой громкое хлопанье крыльев. Приметы были верные; перемена цвета воды и обилие чаек говорили о том, что сегодня ночью надо бодрствовать, дабы не пропустить первые береговые огни.

Глава 10

НАДЕЖДЫ КОНЧИЛИСЬ...
ДО СВИДАНИЯ В ЛУЧШЕМ МИРЕ!

Мне не пришлось этой ночью заставлять себя заснуть. Старушка-чайка в девять часов уселась на борт и всю ночь напролет просидела на плоту. Я улегся на единственное оставшееся весло — изуродованную акулой палку. Ночь была тихой, и плот все время плыл вперед в одном и том же направлении.

«Интересно, куда я причалю?» — подумал я, не сомневаясь, что завтра буду уже на суше, ведь изменение цвета воды и появление старой чайки указывали на близость земли. Я не имел ни малейшего представления, куда ветер гонит мой плот.

Я не был уверен, что за эти дни плот не изменил направления. Если он плывет в ту сторону, откуда появились самолеты, то, вероятно, причалит в Колумбии. Но без компаса я не мог быть в этом уверен. Если бы я неуклонно плыл на юг, то наверняка причалил бы к карибскому побережью Колумбии. Но не исключено, что я плыл на север. А в таком случае совершенно непонятно, где я нахожусь.

Незадолго до полуночи, когда сон меня почти уже сморил, старая чайка подскочила ко мне и начала постукивать клювом по моей голове. Она стучала не больно, а тихонько, не повреждая кожу под волосами. Казалось, она меня ласкала. Я вспомнил офицера, который сказал мне, что убивать чайку подлю, и почувствовал угрызения совести. Зря я убил ту малышку!

Я глядел вдаль до самого рассвета, но никаких огней не видел. Землей и не пахло. Плот несся по спокойному прозрачному морю под звездным небом. Ночь была не холодной. Когда я не двигался, чайка, похоже, засыпала. Я опускал голову на грудь, и птица подолгу сидела не

шелохнувшись. Но стоило мне пошевелиться, как она подпрыгивала и начинала клевать мою голову.

На рассвете я переменял положение. Чайка оказалась у меня в ногах. Я почувствовал, как она клюет мои ботинки. Потом она двинулась по борту ко мне. Я не двигался. Чайка застыла как вкопанная, потом подпорхнула к моей макушке и опять замерла. Но едва я повернул голову, она опять принялась поклевывать мои волосы, как бы лаская меня. Это превращалось в игру. Я несколько раз менял положение, и чайка неизменно подскакивала к моей голове. А на рассвете, уже совсем не таясь, я протянул руку и схватил ее за шею.

Я не собирался ее убивать. История с первой чайкой научила меня, что это бессмысленная жестокость. Я хотел есть, но не собирался утолять голод за счет милой птички, которая всю ночь путешествовала вместе со мной, не причиняя мне вреда. Когда я схватил ее, она раскинула крылья, затрепыхалась и попыталась вырваться. Я быстро сложил ей крылья над головой, чтобы сковать ее движения. Тогда она подняла голову, и в первых лучах солнца я увидел ее ясные, испуганные глаза. Даже если бы — не дай бог — мне взбрело в голову съесть эту чайку, то при виде ее огромных грустных глаз я бы отказался от своего намерения.

Солнце взошло рано и так припекало, что воздух накалился уже с семи часов. Я лежал на плоту, стискивая в руках чайку. Море было по-прежнему густо-зеленым, но никаких признаков земли не наблюдалось. Стояла духота. Я отпустил мою пленницу, она тряхнула головой и пулей взвилась вверх. Через мгновение она уже присоединилась к стае.

В то утро — мое девятое утро в море — солнце палило, как никогда. Хотя я постоянно старался уберечь от него спину, она все равно покрылась волдырями. Мне пришлось убрать весло, к которому я прислонялся, и залезть в воду, поскольку спина терлась о деревяшку и болела невыносимо. Плечи и руки тоже сильно обгорели.

Я не мог дотронуться до кожи даже пальцем, он казался мне раскаленным докрасна углем. Глаза воспалились. Я был не в состоянии смотреть в одну точку, потому что перед глазами у меня тут же плыли яркие, ослепительные круги. До сего дня я не подозревал, в каком я плачевном состоянии. Я буквально разваливался на части, из-за морской соли и солнечных ожогов весь покрылся язвами. Стоило мне чуть-чуть потянуть — и кожа слезла длинными хлопьями. Под ними оставались красные голые проплешины. А еще через секунду ободранные места начинали болезненно саднить, и сквозь поры выступала кровь.

Я и не заметил, как у меня выросла борода. Я не брился одиннадцать дней. Борода была густой и окладистой, но потрогать я ее не мог, потому что воспаленная кожа сильно болела. Представив себе свое изможденное лицо и покрытое волдырями тело, я вспомнил, сколько мне пришлось выстрадать в эти дни одиночества и отчаяния. И вновь пал духом. Признаков близкой земли не было. Перевалило за полдень, и я снова потерял надежду оказаться на суше. Раз земли до сих пор не видно, значит, плыви плот — не плыви, а засветло до берега все равно не добаться.

Я ХОЧУ УМЕРЕТЬ

Радость, обуревавшая меня в течение двенадцати часов, бесследно улетучилась в одну минуту. Силы мои иссякли. Мне уже на все было наплевать. Впервые за девять дней я лег на живот, подставив солнцу обожженную спину. Я уже не заботился о своем здоровье, хотя мне было известно, что, пролежав так до заката, я загоню легкие.

Наступает момент, когда ты уже не ощущаешь боли. Чувствительность притупляется, и сознание меркнет настолько, что утрачивается ощущение времени и про-

странства. Лежа на животе, опершись локтями о борт, а подбородком — о руки, я сначала чувствовал, что солнце яростно впивалось в мою спину. Несколько часов перед глазами у меня плясали бесчисленные сверкающие точки. Наконец, измучившись, я прикрыл веки и перестал реагировать даже на солнце. Не чувствовал ничего, кроме полного безразличия к жизни и смерти. Я решил, что умираю, и эта мысль пробудила во мне странную, смутную надежду.

Открыв глаза, я вновь очутился в Мобиле. Стояла удушливая жара, и мы с ребятами с нашего эсминца и евреем Моисеем Нассером, продавцом из магазина, в котором моряки покупали одежду, собрались в кафе под открытым небом. Именно Моисей Нассер когда-то дал мне те рекламные открытки. Все восемь месяцев, пока корабль стоял на ремонте, Моисей Нассер обслуживал колумбийских моряков, а мы, в знак благодарности, отоваривались только в его магазине. Он хорошо говорил по-испански, хотя уверял, что никогда не был ни в одной испаноязычной стране.

И вот теперь мы, как почти каждую субботу, сидели в кафе, куда заходили только евреи и колумбийские моряки. На деревянном помосте танцевала все та же женщина, что плясала тут по субботам. Живот у нее был оголен, а лицо закрыто куском прозрачной ткани, как у арабских танцовщиц в кино. Мы аплодировали и пили баночное пиво. Больше всех веселился Моисей Нассер, работавший в одном из мобильских магазинов и продававший морякам хорошую и дешевую одежду.

Трудно сказать, как долго я лежал в прострации, бредя пирушкой в Мобиле. Помню лишь, что затем я вдруг подскочил, как ужаленный, и увидел, что смеркается. И тут метрах в пяти от плота показалась громадная желтая черепаха с пятнистой, словно у ягуара, головой и жутким взглядом застывших, невыразительных глаз, похожих на стеклянные шары. Она пристально глядела на меня. Сперва я принял ее еще за одну галлюцинацию

и в ужасе приподнялся. Стоило мне пошевелиться, как это четырехметровое чудовище нырнуло на дно, оставив за собой полоску вспенившейся воды. Я не знал, реальность это или видение. И до сих пор не могу определить, сон это был или явь, не могу, хотя я собственными глазами видел, как гигантская желтая черепаха некоторое время плыла перед плотом, высунув из воды свою жуткую пятнистую голову, которая привидится только в ночном кошмаре. Определенно я могу сказать только одно: если бы это чудовище — реальное или фантастическое, неважно — прикоснулось к плоту, он наверняка бы перевернулся, и не один раз.

Ужасное видение вновь пробудило во мне страх. И страх в тот момент придал мне сил. Я схватил обломок весла, сел и приготовился сразиться с этим или с каким-нибудь другим чудовищем, которое попытается перевернуть плот. Время близилось к пяти. Отличавшиеся неизменной точностью акулы уже чертили своими плавниками поверхность моря. Посмотрев на край плота, где я отмечал дни, я насчитал восемь черточек. Я сделал ключами новую царапину, в полной уверенности, что она окажется последней, и меня охватили отчаяние и злоба при мысли о том, что умереть труднее, чем жить. В это утро я сделал выбор между жизнью и смертью. Я предпочел смерть, однако был по-прежнему жив, держал в руках обломок весла и собирался опять бороться за жизнь. За то единственное, что мне уже было недорого.

ТАИНСТВЕННЫЙ КОРЕНЬ

И вот, страдая от палящего солнца, от отчаяния и жажды, которая впервые за время моих скитаний стала совершенно нестерпимой, я вдруг не поверил своим глазам: в середине плота лежал запутавшийся в концах сетки красный корешок, похожий на корень, который

идет в Бойаке на изготовление красок и название которого я не помню. Бог знает, когда он попал на плот. За девять дней, проведенных в море, я ни разу не видел в воде никакой растительности. И тем не менее корень таинственным образом запутался в сетке и был еще одним признаком земли, которая все не показывалась и не показывалась.

В длину он составлял сантиметров тридцать. Изглодавшись, но уже не в силах думать о голоде, я позабыл про осторожность и откусил кусочек. У корня был вкус крови. Из него выделялся густой и сладковатый маслянистый сок, который освежал горло. Я решил, что он, наверное, ядовит, но продолжал есть, жадно глотая корешок, пока не справился с ним.

Доев его, я, однако же, не испытал облегчения. Я вспомнил Священное Писание, и мне пришло в голову, что это своего рода оливковая ветвь, ведь когда Ной выпустил из ковчега голубку, она вернулась с оливковой ветвью, и это означало, что вода схлынула. Мне показалось, что корешок, которым я пытался заглушить девятидневный голод, подобен той оливковой ветви.

Можно было прождать в море целый год, но наступает такой день, когда вы больше не в силах выдержать ни часа. Накануне я надеялся встретить рассвет на суше. Миновали сутки, а вокруг по-прежнему простиралась водная гладь. Надежды мои растаяли. Шла девятая ночь моего пребывания в море.

«Девять ночей бдения по усопшему», — с содроганием подумал я, уверенный в том, что сейчас у нас дома, в Боготе, в районе Олайя, собрались все друзья моей семьи. Сегодня последняя ночь оплакивания покойника. Завтра разберут домашний алтарь и потихоньку начнут свыкаться с моей смертью.

До этой ночи во мне еще теплилась смутная надежда. Но, сообразив, что мои родные считают эту ночь девятой после моей смерти, последней ночью бдения по

покойнику, я почувствовал себя всеми покинутым. Я подумал, что самым разумным было бы сейчас лечь и умереть. Я лег на дно плота и собрался было сказать вслух:

— Больше не встану!

Но слова застряли у меня в горле. Я вспомнил школу. Поднес к губам образок Девы Марии дель Кармен и начал мысленно читать молитвы, как, по всей вероятности, делали сейчас дома мои родные. И мне стало хорошо, ибо я понял, что умираю.

Глава 11

НА ДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ ЕЩЕ ОДНА ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ — ЗЕМЛЯ

Девятая ночь оказалась самой длинной из всех. Я лежал на плоту, и волны мягко плескались о борт. Я был не в себе. И каждая волна, стукавшаяся о плот возле моей головы, напоминала мне о катастрофе. Об умирающих говорят, что они «заново проживают свою жизнь». Нечто подобное случилось и со мной в ту ночь. Я снова лежал вместе с Рамоном Эррерой на корме эсминца, между холодильниками и электроплитами, и, заново проживая в бреду полдень двадцать восьмого февраля, видел Луиса Ренхифо, стоявшего на вахте. Всякий раз, когда волна плескалась о плот, я чувствовал, что коробки и ящики расползаются в стороны, я иду ко дну, а потом барахтаюсь, пытаюсь выплыть на поверхность.

А после, минута за минутой, повторились дни тоски и одиночества, страданий от голода и жажды. Они мелькали отчетливо, как на киноэкране. Сначала я падаю. Потом мои товарищи кричат, барахтаются возле плота. Потом голод, жажда, акулы и мобильские воспоминания — все проходило длинной вереницей образов. Я пытался удержаться на палубе. Вновь оказывался на эсминце и привязывался, чтобы меня не смыло волной.

Я привязывался так крепко, что у меня болели запястья, щиколотки и особенно правое колено. Но как бы крепко ни были затянуты веревки, набегавшая волна все равно утаскивала меня на дно моря. Очнувшись, я понимал, что выплываю на поверхность. Плыву, задыхаясь.

Два дня назад я раздумывал: не привязаться ли мне к плоту? Теперь это было необходимо, но я не мог найти в себе силы встать и нашарить концы веревочной сети. Я был невменяем. Впервые за девять дней я не осознавал своего положения. Если представить мое тогдашнее состояние, то надо считать просто чудом, что в ту ночь меня не смыло волной. Перевернись плот, и я, пожалуй, счел бы это очередной галлюцинацией. Решил бы, как неоднократно делал в ту ночь, что я вновь падаю с корабля, и моментально пошел бы на дно кормить акул, которые девять дней терпеливо дожидались за бортом своего часа.

Но в ту ночь меня опять хранила судьба. Я лежал в бреду, вспоминая минуту за минутой девять дней моего одиночества, но — как я теперь понимаю — рисковал не больше, чем если бы успел привязаться к плоту.

На рассвете подул холодный ветер. У меня поднялась температура. Я весь горел и дрожал, меня бил сильный озноб. Правое колено начало болеть. Из-за морской соли рана не кровоточила, но и не заживала, оставаясь такой же, как в первый день. Я все время старался не травмировать колено, но той ночью я пролежал на животе, и колено, упиравшееся в дно плота, болезненно пульсировало. Теперь я уверен, что эта рана спасла мне жизнь. Поначалу боль была смутной и не встревожила меня. Потом постепенно пришло ощущение собственного тела. Я почувствовал, что холодный ветер обдувает мое разгоряченное жаром лицо. Сейчас я понимаю, что в течение нескольких часов нес какую-то ахинею, разговаривал с друзьями, ел мороженое с Мэри Эдресс в кафе, где оглушительно гремела музыка...

Прошло бог знает сколько времени, и я почувствовал, что голова у меня раскалывается. В висках стучало, кости ломило. К опухшему, ноющему колену невозможно было прикоснуться. Казалось, что оно болит у меня больше, гораздо больше всего остального тела.

Я осознал, что нахожусь на плоту, уже на рассвете. Но сообразить, сколько времени я провалялся в бреду, не смог. Поднатужившись, я вспомнил, что на борту нацарапано девять черточек. Но когда я провел последнюю? Забыл... Мне казалось, что с той минуты, как я съел корешок, запутавшийся в сетке, прошла целая вечность. А может, корень мне приснился? Во рту у меня еще оставался его сладкий привкус, но, пытаюсь вспомнить, что я ел за последние дни, я напрочь забывал про этот корень. Он не пошел мне впрок, я съел его целиком, но в желудке все равно было пусто.

Сколько дней прошло с тех пор? Я понимал, что сейчас утро, но не мог понять, сколько ночей пролежал пластом на дне плота, ожидая смерти, которая казалась мне еще более недостижимой, чем земля. Небо заалело, словно на закате. И тут я вконец запутался. Я уже не понимал, утро сейчас или вечер.

ЗЕМЛЯ!

Изнемогая от боли в колене, я попробовал изменить позу. Хотел перевернуться, но не смог. Я настолько обессилел, что мне казалось нереальным встать на ноги. Тогда я подтянул больную ногу, уперся руками в дно плота и, перевернувшись, плюхнулся на спину и положил голову на борт. Судя по всему, светало. Я взглянул на часы. Было четыре утра. В это время я обычно сидел на корме, вглядываясь в даль. Но теперь я потерял надежду увидеть землю. Я продолжал смотреть в небо, которое из ярко-красного становилось бледно-голубым. Воздух по-прежнему был холодным, меня знобило, а

больное колено сильно дергало. Я чувствовал себя отвратительно оттого, что не смог умереть. Я обессилел, но был, вне всякого сомнения, жив. И при мысли об этом мне стало безумно тоскливо. Я считал, что мне не пережить ту ночь. И, однако, все осталось по-прежнему! Я по-прежнему мучился на плоту и встречал новый день, очередной пустой день, не суливший ничего, кроме адского пекла и стаи акул, которая с пяти часов будет дежурить у плота.

Когда небо на горизонте заголубело, я огляделся. Со всех сторон меня окружало спокойное зеленое море, но впереди, в утренней дымке, я увидел длинную темную тень. На фоне прозрачного неба вырисовывались очертания кокосовых пальм.

Меня обуяла ярость. Накануне я был на пирушке в Мобиле. Потом видел гигантскую желтую черепаху, а ночью переносился из отчего дома в Боготе в колледж Ла Салье де Вильявисенсио, а оттуда — к товарищам по эсминцу. Теперь же я видел землю! Испытай я что-то подобное дня четыре-пять назад, я бы сошел с ума от радости. Я послал бы плот к чертовой матери и бросился бы в воду, мечтая побыстрее добраться до берега.

Но в таком состоянии, в каком я был теперь, человек не поддается галлюцинациям. Кокосовые пальмы виднелись слишком отчетливо для реальности. И вдобавок они все время перемещались. То возникали прямо возле плота, то отдалялись на два-три километра. Вот почему я не обрадовался. Вот почему я еще больше укрепился в своем желании умереть, не дожидаясь, пока галлюцинации доведут меня до безумия. Я вновь поглядел на небо. Теперь оно было высоким и безоблачным, лазурным.

В четыре часа сорок пять минут на горизонте показались первые отблески солнца. До сих пор я боялся ночи, теперь же солнце зарождавшегося дня показалось мне лютым врагом. Громадным, беспощадным врагом, который опять будет терзать мою изъеденную язвами

кожу и заставлять меня сходить с ума от голода и жажды. Я проклял солнце. Проклял день. Проклял судьбу, которая позволила мне девять дней оставаться целым и невредимым вместо того, чтобы погибнуть от голода или акульих зубов.

Мне опять стало неудобно лежать, и я пошарил по плоту, ища обломок весла, чтобы подложить его под голову. Раньше я никогда не мог уснуть на слишком жесткой подушке. Но теперь страстно желал найти обломок весла, изуродованного акулой, и подложить его под голову.

Весло оказалось на дне; оно было по-прежнему привязано к сетке. Я отвязал его. Аккуратно подсунул под большую спину, а голову положил на борт. И вот тут-то я отчетливо увидел в алых лучах восходящего солнца длинную и зеленую полосу берега.

Дело близилось к пяти. Утро было совершенно прозрачным. В реальности земли не возникало ни малейшего сомнения. И когда я ее увидел, все обманутые восторги предыдущих дней, восторги по поводу самолетов, корабельных огней, чаек и перемены цвета воды внезапно вспыхнули вновь.

Если бы тогда я проглотил яичницу из двух яиц, кусок мяса, булку и кофе с молоком, то есть полный завтрак, который нам давали на эсминце, я и то вряд ли почувствовал бы такой прилив сил, как тогда, когда увидел землю и поверил в ее реальность. Одним прыжком я вскочил на ноги. Впереди четко виднелись очертания берега и силуэты кокосовых пальм. Огней не было заметно, а справа от меня километрах в десяти первые лучи солнца бросали металлические отсветы на крутые скалы. Обезумев от радости, я схватил обломок весла и попытался направить плот прямо к побережью. Я прикинул, что от плота до суши около двух километров. Вместо рук у меня было кровавое месиво, а спина при каждом движении болела. Но я не для того выстоял девять дней — а считая тот, так десять! — чтобы сдать

теперь, очутившись рядом с берегом. Я вспотел. Холодный рассветный ветер высушивал пот и пробирал меня до костей, однако я не переставал грести.

НО... ГДЕ ЖЕ ЗЕМЛЯ?

Мое так называемое весло было просто курам на смех. Какой-то обломок палки. Оно даже багром не могло служить, если бы мне пришло в голову определить глубину моря. В первый момент, от волнения почувствовав необыкновенный прилив сил, я немного продвинулся вперед. Но потом выдохся, на мгновение замер, поднял весло и принялся разглядывать буйную растительность на берегу. Неожиданно я заметил, что параллельное берегу течение несет мой плот на скалы.

Я пожалел, что потерял весла. Будь у меня хоть одно целое весло, а не этот акулий объедок, я бы с течением справился. У меня мелькнула мысль: а может, набраться терпения и подождать, пока плот прибьется к скалам? Они посверкивали в первых лучах утреннего солнца, будто лес стальных игл. К счастью, я так рвался ощутить под ногами землю, что решил не затягивать ожидания. Впоследствии я узнал, что это были скалы Карибского мыса и что, отдайся я на волю волн, я бы разбился в лепешку.

Я попытался оценить свои силы. До берега оставалось два километра. В нормальном состоянии я могу проплыть два километра быстрее чем за час. Однако насколько меня хватит теперь, я не знал, ведь я десять дней ничего не ел, кроме кусочка рыбы и корешка; тело у меня было обожжено, а колено поранено. И все же это был мой единственный шанс. Я не успел все как следует взвесить, даже об акулах подумать не успел. Я выпустил весло из рук, закрыл глаза и бросился в воду.

Холодная вода меня приободрила. Берег скрылся из виду. Нырнув в море, я тут же сообразил, что совершил

две ошибки: не снял рубашку и не завязал потуже шнурки на ботинках. Я попытался удержаться на воде и перво-наперво занялся тем, что снял рубашку и крепко завязал ее узлом на поясе. Потом потуже затянул шнурки на ботинках. А тогда уж поплыл. Сначала не щадя сил. Затем спокойней, чувствуя, что я с каждым взмахом рук слабею, а земли не видно.

Я не проплыл и пяти метров, как у меня порвалась цепочка с образком Девы Марии дель Кармен. Я остановился. Мне удалось в последний момент выудить ее из зеленого водоворота. Прятать образок в карман было некогда, поэтому я сунул цепочку в рот, сжал ее зубами и поплыл дальше.

Я уже обессилел, однако суша все не показывалась. Тут меня опять объял страх: наверное, даже наверняка, земля была галлюцинацией! В холодной воде мне полегчало, я пришел в себя и теперь плыл из последних сил к призрачному берегу. А проплыл уже много. Возвращаться на поиски плота было уже бесполезно.

Глава 12

Я ВОСКРЕСАЮ В НЕВЕДОМЫХ КРАЯХ

Только через пятнадцать минут безумного напряжения я продвинулся настолько, что начал различать землю. До нее оставалось еще больше километра. Но теперь я хотя бы не сомневался в ее реальности. Солнце золотило верхушки кокосовых пальм. На берегу не горело ни огонька. Я не видел ни селений, ни даже отдельных домишек. Но это была земля!

Через двадцать минут я уже вымотался, но не сомневался, что доплыву. Я плыл обнадеженный и старался не потерять самообладание под натиском обуревавших меня чувств. Я провел в воде полжизни, однако именно тогда, утром девятого марта, по-настоящему понял и

оценил, как важно быть хорошим пловцом. И по мере моего приближения к берегу силуэты кокосовых пальм становились все более отчетливыми.

Когда я решил, что, пожалуй, можно достать до дна, уже взошло солнце. Я попытался встать на ноги, но оказалось еще слишком глубоко. Судя по всему, склон был тут обрывистый. Даже возле самого берега было все еще глубоко, так что мне пришлось по-прежнему добираться вплавь. Точно сказать, сколько времени я плыл, не могу. Помню только, что солнце припекало все сильнее. Однако не жгло кожу, а, наоборот, бодрило меня. Очувтившись в холодной воде, я сначала опасался судорог, но быстро разогрелся. Ближе к берегу вода потеплела, а я плыл с трудом, как в тумане, и все же воодушевление и вера помогли мне побороть голод и жажду.

Отчетливо видя в свете утреннего теплого солнца буйные заросли, я попытался достать до дна во второй раз. И почувствовал под ногами землю. Странное испытываешь ощущение, когда после десяти дней морских скитаний вдруг ступаешь на землю...

Однако очень скоро я убедился, что худшее еще впереди. Я совершенно изнемог, ноги не держали меня. А прибой упорно пытался утащить меня обратно. В зубах я сжимал образок Девы Марии. Одежда и каучуковые ботинки весили целую тонну. Но даже в такой кошмарной ситуации я не позабыл про стыд. Ведь вполне могло статься, что через пару минут мне повстречались бы люди! Поэтому я продолжал бороться с прибоем, не снимая одежды, хотя она мешала мне двигаться и я чувствовал, что вот-вот лишусь сознания от усталости.

Вода достигала мне выше пояса. Я сделал еще один отчаянный рывок, и она стала мне почти до колен. Тогда я решил двигаться ползком. Встал на четвереньки и пополз вперед. Но тщетно! Волны оттаскивали меня назад. Мелкий, колкий песок ободрал мое больное колено. Я знал, что оно опять закровоточило, но в тот момент не ощущал боли. Кожа на подушечках пальцев была

у меня содрана. Однако, хотя песок забивался под ногти и причинял боль, я впивался в него пальцами и полз вперед. Внезапно меня вновь объял ужас: берег и позолоченные солнцем кокосовые пальмы поплыли у меня перед глазами. Я решил, что попал в зыбучие пески и они вот-вот поглотят меня.

На самом же деле у меня от слабости закружилась голова. При ужасной мысли о гибели в зыбучих песках я ощутил невероятный прилив мужества и, преодолевая боль, не щадя ободранной руки, пополз наперекор волнам. А десять минут спустя все испытанные мной страдания, голод и жажда разом дали о себе знать. На последнем издыхании я рухнул на твердый влажный песок и лежал, не думая ни о чем, никого не благодаря и даже не радуясь тому, что моя воля, надежда и неистребимая жажда жизни привели меня на этот тихий маленький пляж.

СЛЕДЫ ЧЕЛОВЕКА

Тишина — вот что поражает прежде всего, когда ступаешь на землю. Еще не разобравшись, что к чему, ты оказываешься в царстве тишины. Потом, через мгновение, до тебя доносится далекий и грустный рокот прибоя. А еще немного погодя шепот ветра в кронах кокосовых пальм вселяет в тебя уверенность в том, что ты на суше. И что ты спасен, пусть даже не знаешь, в каком уголке земного шара оказался.

Придя в себя, я огляделся, все еще не поднимаясь на ноги. Природа была дикой. Я инстинктивно принялся искать следы пребывания человека. Метрах в двадцати от меня возвышалась изгородь из колючей проволоки. Еще я заметил узкую, извилистую дорожку, испещренную следами животных, — очевидно, по ней перегоняли домашний скот. А рядом валялась скорлупа расколотых кокосовых орехов. В тот момент малейшее доказа-

тельство присутствия человека было для меня истинным откровением. Безмерно счастливый, я прижался щекой к влажному песку и стал ждать.

Я лежал неподвижно примерно десять минут. Мало-помалу ко мне возвращались силы. Перевалило за пять, и уже совсем рассвело. Возле тропинки, среди расколотых, пустых орехов я увидел несколько целых. Я подполз к ним, сел, привалившись к стволу дерева, и зажал между коленями гладкий непроницаемый плод. Так же, как пять дней назад я искал «уязвимые места» у рыбы, теперь я пытался найти их у кокоса. Я вертел его в руках и слышал, как внутри плещется молоко. Это тихое бульканье вызвало у меня новый приступ жажды. Желудок болел, рана на колене кровоточила, а ободранные пальцы сильно ныли. За все десять дней, проведенные в море, у меня ни разу не возникало ощущения, что я сейчас сойду с ума. Впервые оно зародилось этим утром, когда я вертел кокос, пытаясь его расколоть, и чувствовал, как под руками плещется живительная и недосыгаемая жидкость.

Наверху у кокоса есть три глазка, расположенных в виде треугольника. Но для того, чтобы их обнаружить, нужно мачете. А у меня были только ключи. Я несколько раз тщетно попытался разрезать твердую шероховатую кожуру. Но в конце концов сдался и с яростью отшвырнул кокос, слыша, как внутри него булькает молоко.

Я возлагал последние надежды на дорогу. Валяющиеся там куски скорлупы доказывали, что кто-то приходил сюда сбивать орехи. Кто-то приходил сюда каждый день, забирался на пальму, а потом очищал ядра от скорлупы. Следовательно, поблизости есть жилье, не будут же люди таскаться за кокосами за тридевять земель!

Я думал об этом, привалившись к дереву, и вдруг услышал вдалеке собачий лай. Я встрепенулся. Насторожился. И через секунду отчетливо различил металлическое позвякивание: кто-то шел по дороге в мою сторону.

Это оказалась молодая негритянка, невероятно худая, одетая во все белое. В руке она держала алюминиевую

кастрюлю с плохо прилегающей крышкой, которая звякала на каждом шагу.

«В какой я стране?» — пронеслась в голове мысль, пока я смотрел на приближавшуюся по дороге женщину, похожую на обитательниц Ямайки.

Я подумал об островах Сан-Андрес и Провиденсия. И о других Антильских островах. Эта негритянка была моим первым шансом, но вполне могло стать, что и последним.

«Интересно, она понимает по-испански?» — спросил я себя, пытаясь отгадать это по лицу женщины, которая рассеянно, еще не замечая меня, шаркала по дороге пыльными кожаными шлепанцами. Я настолько боялся упустить свой шанс, что у меня мелькнула нелепая мысль: если я заговорю по-испански, она меня не поймет и уйдет, и я опять останусь в одиночестве.

— Hello, hello¹, — с мольбой воскликнул я.

Негритянка нерешительно оглянулась и в испуге кинулась наутек.

МУЖЧИНА, ОСЕЛ И СОБАКА

Я почувствовал, что сейчас умру от горя. Был момент, когда я даже увидел себя со стороны: лежу мертвый, и ястребы клюют мое тело. Но потом опять услышал собачий лай, все ближе и ближе. Чем громче лаяла собака, тем неистовей стучало у меня сердце. Я оперся ладонями о землю и привстал. Поднял голову. Подождал. Минуту... Две. Лай приближался. Потом внезапно воцарилась тишина. Потом через минуту — самую долгую в моей жизни — появился тощий-претоший пес, а за ним осел с двумя корзинами на спине. Позади шел мужчина, светлокожий, бледный, в сомбреро из тростника и закатанных до колен штанах. За спиной у него болталось ружье.

¹ Привет (англ.).

Вынырнув из-за поворота, он с удивлением воззрился на меня и замер. Собака, подняв хвост торчком, подошла и обнюхала меня. Мужчина стоял молча, неподвижно. Потом снял ружье, уперся прикладом в землю и продолжал меня разглядывать.

Не знаю почему, но мне не приходило в голову, что я мог попасть в Колумбию. Я был не очень уверен, что он меня поймет, и все же решил говорить по-испански.

— Сеньор, помогите мне! — воскликнул я.

Мужчина ответил не сразу. Он еще долго и загадочно смотрел на меня, не мигая и опираясь на ружье.

«Не хватало только, чтобы он меня пристрелил», — отрешенно подумал я.

Собака лизала мое лицо, но у меня уже не было сил отогнать ее.

— Помогите! — в отчаянии повторил я, думая, что мужчина меня не понимает.

— А что с вами? — вежливо поинтересовался он.

Услышав его голос, я понял, что сильнее жажды, голода и отчаяния меня мучает желание рассказать о своих злоключениях. Давясь словами, я выпалил:

— Я Луис Алехандро Веласко, один из тех моряков, кто двадцать восьмого февраля упал за борт эсминца «Кальдас».

Я считал, что об этом должен знать весь мир. Думал, что стоит назвать мое имя, и мужчина тут же кинется мне на помощь. Однако он не шелохнулся, а стоял на прежнем месте и смотрел на меня, даже не пытаясь остановить собаку, которая лизала мое больное колено.

— Вы с куровозки? — спросил он меня, подразумевая, очевидно, каботажные суда, перевозящие свиней и домашнюю птицу.

— Нет. Я с военного корабля.

Только тогда мужчина пошевелился. Он вновь закинул ружье за спину, сдвинул сомбреро на затылок и сказал:

— Я сейчас отвезу на пристань проволоку и вернусь за вами.

Я почувствовал, что упускаю и этот, второй шанс.

— А вы точно вернетесь? — умоляюще спросил я.

Мужчина ответил:

— Да.

Потом он приветливо улыбнулся и опять отправился за ослом по дороге. Собака же осталась меня нюхать. Когда я сообразил спросить, мужчина уже отошел далеко, и мне пришлось почти прокричать ему вслед:

— Какая это страна?

И он совершенно непринужденно произнес то единственное слово, которое я никак не ожидал услышать:

— Колумбия.

Глава 13

ШЕСТЬСОТ МУЖЧИН ПРОВОЖАЮТ МЕНЯ В САН-ХУАН

Он вернулся, как и обещал. Я еще не потерял терпения — ведь не прошло и пятнадцати минут, — а он уже возвратился вместе со своим ослом, порожними корзинами и молоденькой негритянской. Как впоследствии выяснилось, негритянка была его женой. Пес все это время от меня не отходил. Он уже перестал лизать мне лицо и раны. И обнюхивать меня ему тоже надоело. Он улегся рядом и лежал не шевелясь: дремал, пока не заметил приближавшегося осла. А как только заметил — вскочил и начал вилять хвостом.

— Вы можете идти? — спросил мужчина.

— Сейчас посмотрим, — сказал я. Попытался встать, но ноги подкосились.

— Не может, — откликнулся мужчина, не давая мне упасть.

Они с женой посадили меня на осла. И, поддержи-

вая под руки, пошли, подгоняя его. Собака вприпрыжку бежала за нами.

По обе стороны дороги росли кокосовые пальмы. В море я еще кое-как терпел жажду. Но тут, проезжая верхом на осле по узкой извилистой дороге, усаженной кокосовыми пальмами, я почувствовал, что не могу больше вынести ни минуты. Я попросил кокосового молока.

— У меня нет мачете, — ответил мужчина.

Он говорил неправду. Мачете висело у него за поясом. Если бы в тот момент я мог за себя постоять, я бы силой отобрал у него мачете, очистил бы кокосовый орех и съел его целиком.

Позже я узнал, почему мужчина отказался дать мне кокосового молока. Он пошел в хижину, расположенную в двух километрах от того места, где лежал я, поговорил с людьми, и они предупредили его, чтобы он ничего не давал мне есть, пока меня не осмотрит врач. А ближайший врач жил в двух днях пути, в Сан-Хуан-де-Ураба.

Не прошло и получаса, как мы добрались до их дома, стоявшего у дороги. Там оказалось трое мужчин и две женщины. Они сообща помогли мне слезть с осла, отвели в комнату и положили на кровать. Одна из женщин пошла на кухню, принесла кастрюльку с настоем корицы и, сев на край кровати, принялась поить меня с ложечки. Первую ложку я проглотил с трудом, но после второй немного приободрился. Пить мне больше не хотелось, а хотелось рассказывать о том, что со мной приключилось.

О происшествии на эсминце тут никто ничего не ведал. Я попытался объяснить им, рассказать во всех подробностях, чтобы они поняли, как мне удалось спастись. Я считал, что весь мир знает о катастрофе. Но меня постигло разочарование... А женщина все поила меня с ложечки, словно больного ребенка.

Я несколько раз заговаривал о своих приключениях. Четверо мужчин и две женщины невозмутимо смотрели на меня, стоя в ногах кровати. Это напоминало какую-

то ритуальную церемонию. Не будь я так рад своему спасению от акулы и от бесчисленных опасностей, десять дней подстерегавших меня в море, я бы решил, что эти мужчины и женщины — инопланетяне.

МНЕ НЕ ДАЮТ ВЫГОВОРИТЬСЯ

Женщина, которая поила меня, была воплощенной любезностью. Стоило мне заикнуться о моих скитаниях, как она говорила:

— Помолчите пока. Расскажете потом.

Я съел бы все, что попало под руку. Из кухни в комнату долетали аппетитные запахи готовящейся пищи. Но все мои мольбы оказались напрасными.

— Мы дадим вам поесть, когда вас осмотрит врач, — раздавалось в ответ.

Но врач все не приходил. Каждые десять минут мне давали с ложечки подслащенную воду. Самая молоденькая из женщин, совсем еще девочка, обмыла мне раны тряпицами, намоченными в теплой воде, и мало-помалу мне становилось легче. Я был уверен, что нахожусь среди друзей. Ими руководили добрые намерения. Если бы вместо подслащенной воды они дали мне поесть, мой организм не вынес бы такой нагрузки.

Мужчину, который нашел меня на дороге, звали Дамасо Имитела. В десять часов утра девятого марта — то есть в тот же день, когда я выбрался на берег, — он отправился в соседнее селение Мулатос и вернулся домой с полицейскими. Они тоже не слышали о разыгравшейся на «Кальдасе» трагедии. В Мулатосе о ней не знал никто. Газеты туда не доходят. В одной из лавчонок установлен электрогенератор, который питает холодильник и радиоприемник, однако новостей там не слушают. Как потом выяснилось, когда Дамасо Имитела сообщил инспектору, что нашел меня полумертвого на берегу и что якобы я утверждаю, будто я — с эсминца

«Кальдас», полицейские запустили электрогенератор и весь день просидели перед радиоприемником, слушая новости из Картахены. Но о катастрофе к тому времени говорить уже прекратили. Только ранним вечером мелькнуло короткое сообщение.

Тогда инспектор, все полицейские и шестьсот жителей Мулатоса поспешили мне на помощь. Вскоре после полуночи они нагрянули в дом Дамасо и разбудили меня своими громкими голосами. А мне впервые за двенадцать дней удалось забыться спокойным сном. Под утро дом был набит битком. Весь Мулатос — мужчины, женщины, дети — явился поглазеть на меня. Это было мое первое столкновение с толпой зевак, которые потом частенько ходили за мной по пятам. Жители Мулатос явились с керосиновыми лампами и электрическими фонариками. Когда инспектор и его добровольные помощники кинулись вытаскивать меня из кровати, я почувствовал, что моя опаленная солнцем кожа буквально лопается. Они устроили у моей постели настоящую давку.

Дышать было нечем. Я задыхался в переполненной людьми комнате. Когда я появился на пороге, в лицо мне ударил свет множества ламп и фонарей, и я на мгновение ослеп. Зеваки оживленно обсуждали происходящее, а инспектор полиции громко отдавал приказания. Упав за борт эсминца, я только и делал, что двигался в неизвестном направлении. В то утро я тоже отправился бог знает куда, не имея ни малейшего понятия о том, какую участь мне уготовила эта толпа доброжелателей.

КАК Я БЫЛ ФАКИРОМ

Дорога от того места, где меня нашли, до Мулатоса долгая и трудная. Меня уложили в гамак, прикрепленный к двум палкам. За каждый конец взялось по двое мужчин, и они понесли меня по длинной, узкой дороге,

освещаемой керосиновыми лампами. Мы шли под открытым небом, но жара стояла такая, словно мы сидели в наглухо закрытом помещении.

Каждые полчаса мои восемь носильщиков менялись. Тогда мне давали глоток воды и кусочек содового печенья. Мне хотелось выяснить, куда и зачем меня несут, но мне никак это не удавалось. Казалось, что молчал только я, голоса окружавших меня людей сливались в неумолчный гул. Инспектор, возглавлявший процессию, не подпускал ко мне никого. Вдалеке слышались крики, приказания, разные возгласы. Когда мы добрались до длинной улочки в Мулатосе, толпа разрослась настолько, что полицейские уже не могли ее сдержать. Было около восьми утра.

Мулатос — это небольшой рыбацкий поселок, почты там нет. Ближайший населенный пункт — Сан-Хуан-де-Ураба, куда дважды в неделю прилетает маленький самолетик из Монтериа. Когда мы добрались до Мулатоса, я решил, что мы у цели. Мне так хотелось связаться со своими близкими... Но Мулатос оказался лишь перевалочным пунктом, меньше чем на полпути до Сан-Хуана.

Меня поместили в какой-то дом, и народ становился в очередь, чтобы на меня поглазеть. Я невольно вспомнил факира, на которого за пятьдесят сентаво ходил посмотреть два года тому назад в Боготе. Желаящие на него взглянуть должны были отстоять несколько часов в огромной очереди. За пятнадцать минут она продвигалась вперед всего на каких-то полметра. Когда любопытный доходил до комнаты, где в стеклянном ящике сидел факир, ему уже было не до факира. Больше всего ему хотелось пробкой вылететь из комнаты, размять ноги и вдохнуть свежего воздуха.

Единственная разница между факиром и мной заключалась в том, что факир сидел в стеклянном ящике. Факир не ел девять дней, я же провел десять голодных дней в море и еще один провалялся на кровати в Мула-

тосе. Передо мной мелькали разные лица — белые и черные, бесконечная вереница лиц. Жара стояла жуткая. Ну а я уже оправился настолько, что у меня даже появилось некое подобие чувства юмора, и я подумал, что в дверях вполне можно было бы продавать билеты желающим поглазеть на жертву кораблекрушения.

В том же самом гамаке, в котором меня принесли в Мулатос, я двинулся дальше в Сан-Хуан-де-Ураба, но теперь мой эскорт увеличился. Теперь процессию составляли не меньше шестисот мужчин. А кроме них, еще женщины, дети и животные. Кое-кто отправился в путь верхом на осле, но большинство шагало пешком. Переход занял почти весь день. Путешествуя на плечах мужчин, которые несли гамак по очереди, я постепенно восстанавливал силы. Мулатос, как я подозреваю, в те дни опустел. Спозаранку включили электрогенератор и радио, и музыка гремела на всю округу. Все происходящее напоминало ярмарку. А я, виновник торжества, возлежал на ложе, мимо которого продефилировал, глядя на меня, весь поселок. Вот эти-то люди и не захотели отпускать меня в путь одного, а отправились со мной в Сан-Хуан-де-Ураба огромным караваном, заполонившим всю узкую извилистую дорогу.

Во время путешествия я постоянно мучился от голода и жажды. Кусочки содового печенья и малюсенькие глоточки воды слегка поддерживали меня, но аппетит мой только разыгрался. Въезд в Сан-Хуан напомнил мне народные празднества. Все жители маленького и живописного поселка, продуваемого морскими ветрами, вышли мне навстречу. На этот раз уже были приняты меры, чтобы оградить меня от назойливых зевак. Полиции удалось сдержать толпу, запрудившую улицы.

Так окончилось мое путешествие. Доктор Умберто Гомес первый врач, который, после моих скитаний в море, сообщил мне приятную новость. Он приберег ее напоследок, поскольку сначала хотел убедиться, что я в

состоянии ее вынести. Потрепав меня по щеке и приветливо улыбнувшись, он сказал:

— Вы сейчас отправитесь на самолете в Картахену. Там вас ждут родные.

Глава 14

МОЙ ГЕРОИЗМ ПРОЯВИЛСЯ В ТОМ, ЧТО Я НЕ УМЕР

Я никогда не думал, что можно стать героем только потому, что пробудешь десять дней на плоту и выдержишь муки голода и жажды. У меня не было иного выхода. Окажись на плоту запас воды, галеты, компас и рыболовные снасти, я наверняка тоже был бы сейчас жив, однако меня не считали бы героем. Так что мой героизм проявился исключительно в том, что я за десять дней не умер от голода и жажды.

Я совершенно не стремился стать героем. Я старался лишь спасти свою жизнь. Но коли судьба подсунула мне этакую конфетку с сюрпризом, окружив мое спасение ореолом героизма, мне приходится с этим стоически мириться.

Меня спрашивают, как чувствуют себя герои. Я совершенно не знаю, что отвечать на подобные вопросы. Я лично чувствую себя так же, как и раньше. Я не изменился ни внешне, ни внутренне. Солнечные ожоги прошли, шрам на колене зарубцевался. Я прежний Луис Алехандро Веласко и на большее не претендую.

А вот люди вокруг — те изменились. Мои друзья полюбили меня еще сильнее. А враги, наверно, еще сильнее возненавидели, хотя, по-моему, у меня нет врагов. Когда меня узнают на улице, то глазают, как на диковинную зверушку. Поэтому я решил ходить в штатском — пока люди не позабудут обо всей этой истории.

Первое, что ощущаешь, став важной персоной, —

это что люди обожают слушать твою историю, когда бы и где бы ты ее ни рассказывал. Я понял это в военноморском госпитале в Картахене, где ко мне приставили охранника, чтобы оградить меня от назойливых посетителей. Я знал, что когда выйду из больницы, то должен буду бесконечно рассказывать о случившемся, ведь, как мне сообщили охранники, в город со всей страны съехались журналисты, жаждавшие обо всем написать и поместить мои фотографии. Один из газетчиков, обладатель шикарных двадцатисантиметровых усов, сфотографировал меня пятьдесят с лишним раз, но задать мне вопросы ему не позволили.

Другой, оказавшийся побойчее, переделся врачом, обманул охранника и проник ко мне в палату. Он добился шумного и вполне заслуженного успеха, но ему пришлось за это порядком натерпеться.

ИСТОРИЯ ОДНОГО РЕПОРТАЖА

Ко мне в палату пускали только моего отца, охранников, врачей и санитаров военного госпиталя. Однажды появился врач, которого я прежде ни разу не видел. Совсем юный, в белом халате, очках и с фонендоскопом на шее. Он буквально ворвался в палату, не произнеся ни слова.

Дежурный унтер-офицер растерянно уставился на него и попросил документы. Молодой врач пошарил по карманам и сказал, что он их забыл. Тогда унтер-офицер сообщил, что без специального разрешения директора госпиталя разговаривать со мной запрещено. А посему они отправились к директору. Через десять минут оба вернулись.

Охранник вошел первым и предупредил меня:

— Доктору позволили осмотреть вас в течение пятнадцати минут. Это психиатр из Боготы, но, по-моему, он переодетый репортер, — добавил унтер-офицер.

— Почему вы так считаете? — спросил я.

— Потому что он очень напуган. И потом, психиатрам фонендоскоп ни к чему.

Тем не менее посетитель довольно долго беседовал с директором госпиталя. Разговор шел о медицине, о психиатрии. Они сыпали всякими мудреными медицинскими терминами и очень быстро нашли общий язык. Поэтому молодому человеку разрешили поговорить со мной четверть часа.

Не знаю, может, на меня так подействовало предупреждение унтер-офицера, но когда молодой человек вновь вошел в мою палату, мне уже показалось, что он на врача не похож. На репортера он тоже не был похож, хотя до этого я никогда не видел репортеров. Молодой человек скорее смахивал на священника, переодетого врачом. Я решил, что он не знает, с чего начать. На самом же деле он раздумывал, как бы удалить из палаты дежурного унтер-офицера.

— Пожалуйста, достаньте мне где-нибудь несколько листков бумаги, — попросил врач.

Он, видимо, рассчитывал, что охранник отправится за ней в контору, но тому приказали не оставлять меня одного. Поэтому за бумагой он не пошел, а, выглянув в коридор, крикнул:

— Эй, принесите-ка писчей бумаги, живо!

Бумагу моментально доставили в палату. Прошло уже более пяти минут, а врач не задал мне еще ни одного вопроса. Только получив бумагу, он приступил к делу. Протянул мне листок и попросил нарисовать корабль. Я нарисовал. Потом он попросил меня поставить под рисунком подпись, и я поставил. Затем надо было нарисовать деревенский дом. Я постарался нарисовать как можно лучше, а рядом изобразил банановое дерево. Он опять попросил подписаться. Теперь я окончательно убедился, что передо мной переодетый репортер, а никакой не врач.

Когда я закончил рисовать, молодой человек по-

смотрел на листки, что-то проямлил и начал расспрашивать меня о моих приключениях. Дежурный унтер-офицер перебил его и напомнил, что такие вопросы задавать не положено. Тогда врач осмотрел меня, как обычно осматривают больных. Руки у него были ледяные. Если бы дежурный их потрогал, он бы вышвырнул самозванца вон. Но я промолчал: очень уж меня подкупило волнение этого юнца и то, что он решился на такое. Пятнадцать минут, отведенные для разговора, еще не истекли, а мнимый доктор пулей вылетел из палаты, прихватив с собой рисунки.

Ну и переполох поднялся на следующий день! Рисунки, снабженные стрелками и подписями, появились на первой полосе газеты «Эль Тьемпо».

«Я стоял здесь», — гласила надпись, а стрелка указывала на корабельный мостик. Это было неправильно, потому что я стоял не на мостике, а на корме. Но рисунки были мои.

Мне советовали написать опровержение, потребовать, чтобы правда была восстановлена, но мне это показалось нелепым. Я был восхищен репортером, который переоделся врачом, чтобы проникнуть в военный госпиталь. Поведай он мне тогда, кто он такой, я бы придумал, как отослать из палаты дежурного унтер-офицера. Потому что, если честно, то мне в этот день уже разрешили рассказать мою историю.

Эпизод с репортером, переодевшимся врачом, весьма наглядно продемонстрировал мне, насколько остро история моего десятидневного пребывания в море интересовала газеты. Она интересовала буквально всех. Мои друзья — и те часто просили рассказать ее. Когда, почти совсем уже окрепнув, я прилетел в Боготу, то понял, что жизнь моя изменилась. На аэродроме меня встретили с почестями. Президент республики вручил мне орден и похвалил за героизм. В тот же день я узнал, что остаюсь на военной службе, но теперь меня повысят в звании.

Кроме того, меня ждал сюрприз: предложения нескольких рекламных агентств. Я был очень доволен своими часами, которые верой и правдой служили мне во время моих странствий. Но я не думал, что фирме, изготовившей их, будет от этого какой-то прок. Однако они дали мне пятьсот долларов и новые часы. За то, что я пожевал резинку определенной компании и разрекламировал ее, мне заплатили тысячу долларов. От фирмы, изготовившей мои ботинки, я получил за рекламу ее товара две тысячи. Разрешение передавать мою историю по радио принесло мне еще пять тысяч. Вот уж не подозревал, что десять дней голодных мук в море могут принести такой доход. И все же факт остается фактом: за все это время я получил почти десять тысяч песо. Однако повторить свои приключения я бы не согласился даже за миллион.

Жизнь ваш герой ведет самую обычную. Я встаю в десять утра. Иду в кафе поболтать с друзьями или в какое-нибудь агентство, изобретающее рекламные объявления на основе моей одиссеи. Почти каждый день я хожу в кино, и всегда не один. Но имя моей спутницы сообщать не могу, это единственное, что остается за рамками рассказа, поскольку к делу не относится.

Я все время получаю письма из самых разных мест. Мне пишут незнакомые люди. Из Перейры пришла длинная поэма о плотках и чайках с инициалами «Х.В.К.» вместо подписи. Мэри Эдресс, заказавшая мессу за упокой моей души в то время, как я дрейфовал в Карибском море, пишет мне очень часто. Она прислала мне фотографию с дарственной надписью, читатели ее уже видели.

Я рассказывал свою историю по радио и телевидению. Рассказывал друзьям. Еще поведал одной старушке-вдове, у которой есть пухлый альбом с фотографиями, она позвала меня в гости. Кое-кто говорит, что я все это выдумал. А я таких людей спрашиваю:

— Тогда что же, по-вашему, я делал десять дней в море?



**ДИАЛОГ О РОМАНЕ
В ЛАТИНСКОЙ
АМЕРИКЕ**

Перевод Т. Коробкиной

ДИАЛОГ О РОМАНЕ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ

Марио Варгас Льюса: С писателями случается то, чего, как мне кажется, никогда не случается с инженерами и архитекторами. Часто люди себя спрашивают: «Для чего нужны писатели?» Все знают, для чего нужен архитектор, для чего нужен инженер, для чего нужен врач, но, когда речь заходит о писателе, возникают сомнения. Есть люди, которые согласны с тем, что писатель для чего-то нужен, но вот для чего именно, они не знают. У меня на этот счет тоже имеются свои сомнения. Поэтому вот первый вопрос, который я хочу задать Габриэлю: скажи, зачем ты как писатель нужен, как ты думаешь?

Габриэль Гарсиа Маркес: У меня такое впечатление, что я стал писателем после того, как понял: ни на что другое я не гожусь. У моего отца была аптека, и, естественно, он хотел, чтобы я стал фармацевтом и со временем его заменил. А у меня было совершенно иное призвание: я хотел стать адвокатом, потому что в кино адвокаты всегда побеждают, выигрывая в суде самые безнадежные дела. Тем не менее уже в университете, куда я поступил, преодолев многие трудности, я понял, что не гожусь и в адвокаты.

Я начал писать рассказы и в тот момент действительно не имел понятия о том, для чего это нужно. Вначале мне нравилось писать, потому что меня публиковали, и я понял то, о чем не раз заявлял впоследствии: я пишу, чтобы меня больше любили мои друзья, это сущая

правда. А потом, размышляя над писательским ремеслом и над творчеством других писателей, я решил, что, без сомнения, литература, роман в особенности, имеет свои функции...

Одно верно: писательство — это призвание, от которого не уйти, и тот, у кого оно есть, должен писать, потому что только так он сможет одолеть головную боль и скверное пищеварение...

Если я сажусь писать книгу — значит, мне хочется рассказать какую-нибудь историю. Историю, которая бы понравилась. Дело в том, что я тоже имею идейную подготовку; я думаю, что всякий писатель имеет ее, и если она основательна, а писатель искренен в тот момент, когда он рассказывает свою историю, будь то сказка о Красной Шапочке или повесть о партизанах; повторяю, если писатель стоит на прочных идейных позициях, эти идейные позиции отразятся в его истории, то есть будут питать его историю. Это неизбежно, хотя и непредумышленно.

М. В. Л.: Значит, чисто рациональный фактор не является преобладающим в литературном творчестве. Какие же факторы будут преобладающими? Какие элементы определяют качество литературного произведения?

Г. Г. М.: Единственное, что меня интересует в момент написания истории, это — понравится ли ее замысел читателю и полностью ли я согласен с нею сам. Я бы не мог написать историю, которая не основана исключительно на личном опыте. Как раз теперь я разрабатываю историю вымышленного диктатора, то есть диктатора, который, предположительно, латиноамериканец. Этому диктатору сто восемьдесят два года от роду, и он столько времени находится у власти, что уже не помнит, когда он к ней пришел; этот диктатор совершенно одинок в огромном дворце, по залам которого гуляют коровы и пожирают портреты, большие, написанные маслом портреты архиепископов и т. п. И вот что

любопытно: каким-то образом эта история основана на моем личном опыте. То есть поэтическая переработка собственного опыта дает мне возможность изобразить то, что я в данном случае хочу изобразить, а именно безмерное одиночество власти. Мне кажется, чтобы передать одиночество власти, нет прототипа лучше, чем латиноамериканский диктатор, который представляет собою великое мифологическое чудовище нашей эпохи.

М. В. Л.: Я хотел бы задать тебе скорее личный вопрос. Когда ты говорил об одиночестве, я подумал, что это постоянная тема всех твоих книг. Одна даже называется «Сто лет одиночества», и это интересно, потому что твои книги всегда густо населены, они многолюдны, просто кишат людьми; однако некоторым образом сокровенная материя твоих книг — это одиночество. Я обратил внимание, что во многих интервью ты упоминаешь одного родственника, который часто рассказывал тебе разные истории, когда ты был ребенком. Помнится, однажды ты сказал, что смерть этого родственника — тебе тогда было восемь лет — стала последним важным событием в твоей жизни. Скажи, в какой мере рассказы этого человека послужили тебе стимулом, стали материалом для твоих книг? Прежде всего, кто этот человек?

Г. Г. М.: Начну издалека. Я не знаю никого, кто в той или иной мере не чувствовал бы себя одиноким. Одиночество — вот что меня интересует. Боюсь, это прозвучит метафизически и реакционно и покажется полной противоположностью тому, что я есть, тому, чем хочу быть на самом деле, но я думаю, что человек совершенно одинок.

М. В. Л.: Ты полагаешь, что человеку свойственно одиночество?

Г. Г. М.: Я полагаю, что это существенная часть человеческой натуры.

М. В. Л.: Но я читал в одной очень длинной статье, опубликованной в парижском журнале, что это самое

одинокость, являющееся основным содержанием романа «Сто лет одиночества» и предшествующих твоих книг, — характерная особенность человека в Америке. Там говорилось, что ты показываешь глубокое отчуждение американского человека, отсутствие взаимопонимания между людьми. Этот человек терпит разного рода тяготы и лишения, иными словами, он обречен на разлад с реальностью, и это заставляет его ощущать себя неудачником, калекой, отшельником. Что ты об этом думаешь?

Г. Г. М.: Не знаю. Все это возникло помимо меня. Кроме того, я думаю, что ступаю на опасную почву, пытаясь объяснить себе самому одиночество, которое выражаю в своем творчестве и которое, в разных его проявлениях, стараюсь отыскать. Уверен, в тот день, когда этот процесс станет у меня сознательным, когда я буду точно знать, откуда все это берется, я потеряю к этой теме всякий интерес.

К примеру, в Колумбии есть один критик, который очень подробно описал мои книги. Он заявил, что, по его наблюдениям, изображенные у меня женщины — это надежность, это здравый смысл; они поддерживают семейные устои и порядок, в то время как мужчины совершают всякого рода авантюры, отправляются на войну, основывают селения и при этом всегда кончают впечатляющим провалом. И только благодаря женщине, которая сидела дома, охраняя, так сказать, традиции, изначальные ценности, мужчины могли вести войны, могли основывать селения, могли осуществлять великую колонизацию Америки.

Когда я это прочел, то просмотрел свои ранние книги и понял, что так оно и есть. Я думаю, что этот критик нанес мне большой ущерб, потому что свое открытие он сделал как раз тогда, когда я писал «Сто лет одиночества», роман, который, похоже, представляет собой апофеоз всего, о чем писал тот критик. В романе есть героиня по имени Урсула, которая живет на свете сто семь-

десять лет, и она в самом деле «держит на себе» роман. Работая над ее образом, который был у меня полностью продуман, полностью спланирован, я уже не знал, пишу ли я искренне или стараюсь угодить моему критику.

Боюсь, то же самое случится у меня и с темой одиночества. Если я смогу в точности объяснить, в чем тут дело, тогда, пожалуй, это станет совершенно рациональным, совершенно сознательным и вовсе перестанет меня интересовать. Только что ты подкинул мне идею, которая меня немного напугала. Я считал, что одиночество — это всеобщее свойство человеческой натуры, но теперь начинаю думать, что, возможно, это результат отчуждения латиноамериканского человека, и в этом случае я выступаю уже с социальных, даже политических позиций в гораздо большей степени, чем предполагал. Если это верно — не такой уж я метафизик, как опасался; я хотел быть искренним любимыми средствами и боялся, что мои размышления об одиночестве могут оказаться реакционными.

М. В. Л.: Ладно, не будем говорить об одиночестве, раз это такая «опасная» тема. Однако меня очень интересуется твой родственник, который часто упоминался в интервью и которому, по твоим словам, ты многим обязан.

Г. Г. М.: Это мой дед. Заметь, этого сеньора я обнаружил потом в своем романе. Когда-то, еще в молодости, он вынужден был убить человека. Похоже, все селение стало на сторону деда: один из братьев убитого даже провел ночь на пороге дома моего деда, чтобы помешать семье покойного за него отомстить. Но дед не вынес постоянной угрозы мести и уехал, не перебрался в другое селение, а уехал с семьей далеко-далеко и основал новый поселок.

М. В. Л.: Это напоминает начало романа «Сто лет одиночества»: когда первый Хосе Аркадио убивает человека, его терзают ужасные угрызения совести, на душе у него тяжкий груз, и это заставляет его покинуть свой

дом, пересечь горы и основать мифическое селение Ма-кондо.

Г. Г. М.: Да, он уехал и основал селение, и больше всего мне запомнилось, как мой дед повторял: «Ты представить себе не можешь, сколько «весит» мертвый». Есть еще одна вещь, о которой я никогда не забываю, которая имеет прямое отношение ко мне как к писателю. Однажды вечером дед повел меня в цирк, и мы увидели там дромадера; когда мы пришли домой, он открыл словарь и сказал мне: «Это — дромадер, вот чем дромадер отличается от слона, а вот чем — от двугорбого верблюда» — и он преподавал мне целый урок зоологии. Так я приучился пользоваться словарем.

М. В. Л.: Этот человек имел на тебя огромное влияние, судя по тому, что его драма частично перенесена в твой роман. Но мне хотелось бы знать, в какой момент ты решил превратить в литературу истории, которые тебе рассказывал дед? В какой момент ты задумал использовать все эти воспоминания, этот личный опыт для создания рассказов и романов?

Г. Г. М.: Лишь написав две или три книги, я осознал, что использую этот опыт. По правде сказать, я вспоминал не только деда, но и наш дом в этом селении, которое он основал, огромный дом, где все по-настоящему было покрыто тайной. В этом доме была пустующая комната, в которой умерла тетя Петра. Там была пустующая комната, где умер дядя Ласаро. И ночью по этому дому нельзя было ходить, потому что мертвых в нем было больше, чем живых. В шесть часов вечера меня сажали в углу и говорили: «Не сходи с этого места, потому что, если ты сойдешь, придет тетя Петра из своей комнаты или дядя Ласаро из своей». И я сидел... В моей первой книге — «Палаая листва» — есть один персонаж, мальчик лет семи, который на протяжении всего повествования сидит на стульчике. Теперь я понимаю, что этот мальчик — отчасти я сам, сидящий на стульчике в доме, полным страхов. Есть еще один эпизод, который я помню и

который хорошо передает атмосферу этого дома. У меня была тетя...

М. В. Л.: Прости, что я тебя перебиваю... Это происходило в селении, где ты родился, в Аракатаке?

Г. Г. М.: Да, в Аракатаке, селении, где я родился, которое теперь отождествляется с Макондо, где происходят все эти истории. Так вот, у меня была тетя, которую те, кто читал «Сто лет одиночества», могут легко опознать. Это была женщина очень энергичная, целый день она что-то делала по дому, а однажды уселась ткать саван. Я ее спросил: «Зачем ты ткешь саван?» — «Да потому, что я скоро умру, сынок», — ответила она. Тетя доткала свой саван, легла и умерла. Ее завернули в этот саван.

Это была необыкновенная женщина. Она же — прототип героини другой странной истории. Однажды она вышивала на галерее, и тут пришла девушка с очень необычным куриным яйцом, на котором был нарост. Уж не знаю почему, этот дом был в селении своего рода консультацией по всем загадочным делам. Всякий раз, когда случалось что-то, чего никто не мог объяснить, шли к нам и спрашивали, и, как правило, у тети всегда находился ответ. Меня восхищала та естественность, с которой она решала подобные проблемы. Возвращаясь к девушке с яйцом, которая спросила: «Посмотрите, отчего у этого яйца такой нарост?» Тогда тетя взглянула на нее и ответила: «Потому что это яйцо василиска. Разведите во дворе костер». Костер развели и сожгли это яйцо. Думаю, эта естественность дала мне ключ к роману «Сто лет одиночества», где рассказываются вещи самые ужасающие, самые необыкновенные с тем же каменным выражением лица, с каким тетя приказала сжечь во дворе яйцо василиска, которого она себе не могла даже вообразить.

М. В. Л.: Этот рассказ в какой-то степени подтверждает твои слова о том, что писатель всегда исходит из своего личного опыта. Но те, кто не читал «Сто лет одиночества», могут подумать, что ты пишешь автобиогра-

фические книги. А в этом твоём романе, помимо историй, которые случились с дедом Габриэлю и о которых дед рассказывал Габриэлю, когда тот был ребенком, происходят самые удивительные вещи: тут есть летающие ковры, которые катают девочек над городом; есть женщина, которая возносится на небо; здесь случается тысяча чудесных, удивительных, невероятных вещей. Несомненно, часть материала для книги писателю дает его личный опыт. Но есть другая часть, которая идет от воображения, и другой элемент — так сказать, культурный. Хотелось бы, чтобы ты сказал о нем. Иными словами, чтение каких книг особенно на тебя повлияло при создании романов?

Г. Г. М.: Я хорошо знаю Варгаса Льосу и догадываюсь, к чему он клонит. Он хочет, чтобы я сказал, что все это идет от рыцарского романа. До какой-то степени он прав, потому что одна из моих любимых книг, которую я перечитываю и которой бесконечно восхищаюсь, — это «Амадис Гальский». Я думаю, что это одна из самых великих книг в истории человечества, хотя Марио Варгас Льоса предпочитает «Тиранта Белого». Но не будем спорить. Если ты помнишь, в рыцарском романе, как мы однажды говорили, рыцарю отрезают голову столько раз, сколько это нужно для повествования. Скажем, в третьей главе идет великая битва и нужно, чтобы рыцарю отрубили голову, и ее отрубает, а в четвертой главе он снова появляется с головой на плечах, и, если будет нужно, в другом бою ее опять отрубят. Вся эта свобода повествования исчезла вместе с рыцарским романом, в котором встречались такие же удивительные вещи, как и те, что каждодневно можно встретить в Латинской Америке.

М. В. Л.: Читая «Сто лет одиночества», я натолкнулся в одной главе на слово, которое показалось мне ключевым, которое ты специально использовал, как и имена героев, взятых у других писателей — твоих друзей или авторов, которыми ты восхищаешься, которых ты как

бы скрыто чувствовал в своей книге. Читая главу о тридцати двух войнах полковника Аурелиано Буэндиа, я натолкнулся на эпизод, где полковник подписывает капитуляцию в месте под названием Неерландия, и мне показалось, что это слово рождает ассоциации с рыцарским романом. Я даже думаю, что это слово обозначает город или какое-то местечко в «Амадисе». И я решил, что это дань уважения, напоминание об этой книге, которую так оклеветали.

Г. Г. М.: Нет, речь может идти только о сходстве, то есть о том, что связи между латиноамериканской действительностью и рыцарским романом настолько велики, что можно легко впасть в такое заблуждение; на самом деле гражданские войны в Колумбии действительно завершились Неерландской капитуляцией. Есть и еще один пример. Кто читал мои книги, тот знает, что герцог Мальборо проиграл гражданскую войну в Колумбии, состоя адъютантом у полковника Аурелиано Буэндиа. А в действительности дело обстояло так: когда я был мальчишкой, я распевал вместе с другими детьми песню «Мальбрук в поход собрался». Я спросил у бабушки, кто такой Мальбрук и на какую войну он собрался, и бабушка, которая, несомненно, не имела об этом ни малейшего представления, ответила, что этот сеньор воевал вместе с моим дедом... Позднее, когда я узнал, что Мальбрук — это герцог Мальборо, мне показалось, что лучше оставить все в том виде, как было у бабушки, и я так и сделал...

М. В. Л.: Быть может, стоит поговорить о реализме в литературе. Ведется много споров о том, что такое реализм, каковы его границы, и когда перед нами книга вроде твоей, где рядом с очень реальными, очень правдоподобными событиями происходят вещи на первый взгляд нереальные, вроде случая с девушкой, которая возносится на небо, или человека, который развязал тридцать две войны, во всех его разгромили, а он остался невредим... Словом, можно сказать, что в твоей книге

есть ряд эпизодов, которые маловероятны. Это скорее поэтические, фантастические эпизоды, но не знаю, дает ли это мне право назвать твою книгу фантастической, нереалистической. Считаешь ли ты себя писателем-реалистом или писателем-фантастом, а может, ты считаешь, что такого разграничения делать не нужно?

Г. Г. М.: Я считаю, что в романе «Сто лет одиночества» более, чем в каком другом, я выступаю как писатель-реалист, потому что, как мне думается, в Латинской Америке все возможно, все реально. Это уже вопрос техники — в какой мере писателю удастся перенести в книгу реальные события, происходящие в Латинской Америке; может случиться, что, когда они станут эпизодами книги, читатели в них не поверят. Дело в том, что мы, латиноамериканские писатели, зачастую не понимаем, какой великолепный вымысел содержится в бабушкиных сказках, а дети верят в этот вымысел. Именно детям рассказывают эти небылицы, и дети как бы помогают их созданию, и это великолепно, как в «Тысяче и одной ночи».

Нас окружают необыкновенные, фантастические вещи, а писатели упорно рассказывают нам о маловажных, повседневных событиях. Я думаю, нам нужно работать над языком и средствами выразительности, с тем чтобы фантастическая латиноамериканская реальность стала частью наших книг и чтобы латиноамериканская литература на самом деле соответствовала латиноамериканской жизни, в которой изо дня в день случаются самые невероятные вещи. Например, существуют полковники, развязавшие тридцать две гражданские войны и все их проигравшие, или, скажем, в Сальвадоре диктатор, имени которого я не помню, изобретает маятник, который показывает, есть ли в еде яд, и ставит его в суп, на мясо, на рыбу. Если маятник отклонялся влево, он не ел, если вправо — смело принимался за еду. Так вот, этот диктатор был большой мудрец: когда в стране началась эпидемия оспы и министр здравоохранения с

помощниками спросили, как быть, он ответил: «Я знаю, что надо сделать, — обернуть красной бумагой все лампы в общественных местах по всей стране». И было время, когда по всей стране все фонари обернули красной бумагой.

Такие вещи происходят в Латинской Америке ежедневно, а мы, латиноамериканские писатели, садясь за стол, чтобы их описать, вместо того чтобы воспринимать их как реальность, впадаем в полемику, рассуждая примерно так: «Это невозможно, просто он был сумасшедший», и тому подобное. Мы начинаем приводить разумные объяснения, которые искажают латиноамериканскую действительность. Я считаю, что надо открыто ее принять, ибо это такая реальность, которая может дать нечто новое мировой литературе.

М. В. Л.: Таким образом, перед нами уже два элемента фундамента, на котором стоит писатель: личный опыт и опыт культуры, то есть чтения. Но в твоих книгах, помимо большой фантазии, помимо безудержного воображения и, конечно, владения техникой романа, есть еще два фактора, которые произвели на меня большое впечатление: рядом с этой немного фантастической реальностью и реальностью повседневной, бытовой в романе «Сто лет одиночества» есть также и реальность социально-историческая. А именно: войны полковника Аурелиано Буэндиа каким-то образом представляют или отражают некий период истории Колумбии. Речь идет уже не о чисто вымышленном мире, а о связях с очень конкретной реальностью.

В жизни Макондо, где происходят все эти необычайные события, отразились латиноамериканские проблемы. Макондо — это селение с банановыми плантациями, которые привлекают сюда сначала авантюристов, потом иностранную компанию. В романе есть глава, в которой ты с большим мастерством описал колониальную эксплуатацию Латинской Америки. Пожа-

луй, это новый элемент в твоём творчестве. Не мог бы ты о нём рассказать?

Г. Г. М.: Эта история о банановых плантациях абсолютно реальна. Похоже, таков уж странный удел Латинской Америки, что реальные события тут постоянно оборачиваются фантасмагорией, как это случилось в истории с банановыми плантациями, такой тягостной и жестокой.

После основания в селении банановой компании сюда стали прибывать люди со всего света, и был, как ни странно, момент, когда в этом маленьком селении на атлантическом побережье Колумбии говорили на всех языках. Люди не понимали друг друга, но началось такое процветание — точнее, так называемое процветание, — что, отплясывая кумбию, люди сжигали банкноты. Кумбия танцуется со свечой, и простые поденщики и рабочие с банановых плантаций зажигали вместо свеч купюры — это потому, что поденщик зарабатывал на плантациях двести песо в месяц, а алькальд и муниципальный судья — всего шестьдесят. Поэтому не существовало подлинной власти, власть была продажной, и банановая компания могла её покупать за любую подачку и сама распоряжалась правосудием и всеми органами власти.

Но наступил момент, когда люди стали обретать сознание, профессиональное сознание. Рабочие начали с требования самых элементарных вещей, ибо медицинское обслуживание сводилось к голубой пилюле, которая выдавалась любому, кто жаловался на болезнь. Больных ставили в ряд, и медсестра клала им всем в рот по голубой пилюльке. И это стало таким привычным делом, что дети становились в очередь, потом вынимали пилюльку изо рта и помечали ею номера на лотерейных билетах...

Было и ещё одно: пароходы банановой компании приходили в Санта-Марту, нагружались бананами и везли их в Новый Орлеан, а на обратном пути шли по-

рожняком. Компания долго не могла придумать, как ей оправдать обратный рейс. Решили возить товары для магазинов, принадлежавших компании, а рабочим платить не деньгами, а чеками, на которые они бы покупали в этих магазинах.

Им выдавали боны, которыми они расплачивались в лавках банановой компании, где продавались только товары, ввозившиеся компанией, на ее же судах. Рабочие же потребовали, чтобы им платили деньгами. Началась забастовка, парализовавшая все вокруг, а правительство, вместо того чтобы уладить этот конфликт, прислало войска. Рабочие собрались на железнодорожной станции — предполагалось, что для разрешения конфликта приедет министр; воинские части окружили трудящихся и дали пять минут на то, чтобы они разошлись. Никто не ушел, и началась бойня.

Об этой истории, которая вошла в роман, я узнал через десять лет после событий; находились люди, которые говорили, что так оно и было, а другие говорили, что нет, не было такого. Некоторые утверждали: «Я там был и знаю, что убитых не было. Люди спокойно разошлись, и абсолютно ничего не произошло». А другие говорили, что да, были убитые, сами их видели, погиб такой-то человек, они в этом уверены. Дело в том, что в Латинской Америке можно декретом заставить забыть о таких событиях, как убийство трех тысяч человек... Это кажется фантастическим, но это самая что ни на есть повседневная реальность.

М. В. Л.: Говорят, однажды бразильское правительство с помощью декрета отменило эпидемию...

Г. Г. М.: Мы опять занялись тем же самым делом: начали искать примеры и нашли их тысячи.

М. В. Л.: То есть эпизод убийства рабочих — не только исторический факт, но и...

Г. Г. М.: В моем романе приведен номер декрета, согласно которому разрешалось стрелять в рабочих, и фамилия генерала, который его подписал, а также имя его

секретаря. Эти сведения взяты из Национального архива, а теперь об этом читают в романе и думают, что я преувеличил...

М. В. Л.: Любопытно, что этот эпизод убийства рабочих никак не кажется вставленным искусственно. Он великолепно вошел в несколько фантазмагорическую атмосферу книги. Тот факт, что один из переживших эту бойню воскресает — причем мы так до конца и не знаем, то ли он воскрес, то ли был убит, то ли уцелел, — рождает двойственность, в которой выдержан весь эпизод, и это очень интересно.

Г. Г. М.: В Мексике, например, никто не поверил, что Эмилиано Сапата убит.

М. В. Л.: Мне думается, мы уже составили себе представление о материале, с которым работает писатель: это личный опыт, опыт культуры, исторические и социальные факты. Самая трудная проблема — как превратить этот материал, все эти ингредиенты в литературу, в воображаемую реальность.

Г. Г. М.: Это чисто литературная проблема.

М. В. Л.: Расскажи немного о проблемах языка и выбора средств выразительности, которые перед тобой вставали...

Г. Г. М.: Пожалуйста. Я начал писать «Сто лет одиночества», когда мне было семнадцать.

М. В. Л.: Почему бы не начать с твоих первых книг? С самой первой...

Г. Г. М.: Первой-то как раз и была «Сто лет одиночества»... Я начал ее писать и вдруг почувствовал, что эта ноша слишком тяжела. Я хотел рассказать о тех самых вещах, о которых только что рассказывал.

М. В. Л.: Уже тогда, в том возрасте, ты хотел рассказать историю Макондо?

Г. Г. М.: Не только хотел, но и написал первый абзац — тот самый, которым открывается роман. Но я понял, что эту «ношу» мне не осилить. Мне самому не верилось в то, что я рассказывал, но поскольку я знал, что

все это правда, я понял, что мои трудности — чисто технического характера: я не располагал литературными приемами, стилистикой, для того чтобы в мой рассказ можно было поверить, чтобы он стал правдоподобным. Тогда я его бросил и написал четыре книги. Главной трудностью для меня всегда было найти нужную тональность и стиль изложения, чтобы читатель поверил в мой рассказ.

М. В. Л.: Когда тебе было семнадцать лет и ты уже задумал написать эту книгу, ощущал ли ты себя писателем, человеком, который посвятит себя исключительно литературным занятиям? Думал ли ты, что литература станет твоей судьбой?

Г. Г. М.: Случилось одно событие, которое, как я лишь теперь понимаю, стало решающим в моей писательской судьбе. Мы, то есть моя семья, уехали из Аракатаки, когда мне было восемь или десять лет. Мы уехали в другое место, а когда мне исполнилось пятнадцать, моя мать собралась в Аракатаку, чтобы продать дом — тот самый, полный мертвецов. Тогда я ей сказал: «Я с тобой». Мы поехали в Аракатаку, и я увидел, что все там было по-прежнему, только немного изменилось; произошел как бы поэтический сдвиг. Я убедился в том, в чем нам всем доводилось убеждаться: улицы, которые раньше казались широкими, теперь стали узкими, дома были не такими высокими, как мы себе воображали, они были все те же, но источенные временем и запустением; сквозь окна мы видели, что и обстановка в домах прежняя, только на пятнадцать лет старше.

Это был раскаленный и пыльный поселок. Стоял жуткий полдень, в легкие набивалась пыль. В этом селении как-то решили соорудить водонапорную башню — работать пришлось по ночам, потому что днем было невозможно взять в руки накалившийся инструмент. Мы с матерью шли через это селение словно сквозь мираж: на улице не было ни души. Уверен, мать испытывала те

же чувства, что и я, глядя, как время прошло по этому селению.

Мы дошли до небольшой аптеки на углу, в ней сидела и шила какая-то сеньора. Мать вошла, приблизилась к этой женщине и сказала: «Как поживаешь, кума?» Та подняла голову — они обнялись и проплакали полчаса. Они не сказали друг другу ни слова, а только плакали. В этот момент у меня возникла мысль на бумаге рассказать о том, что предшествовало этой сцене...

М. В. Л.: Но прежде чем начать писать, ты занимался другими делами, не так ли? Вначале ты не мог всецело посвятить себя литературе и занимался журналистикой. Как ты сочетал журналистскую работу с литературной до того, как написал «Сто лет одиночества»?

Г. Г. М.: Я их никак не сочетал. Потому что считал журналистику второстепенным занятием, только средством к существованию. Я хотел быть писателем, а жить надо было за счет чего-то другого.

М. В. Л.: Как ты считаешь, эта параллельная деятельность мешала твоему призванию или, напротив, помогала, стимулировала, давала опыт?

Г. Г. М.: Видишь ли, долгое время я думал, что помогала, но на самом деле всякая второстепенная деятельность мешает писателю. Ты хочешь писать, и все другое тебе мешает, тебя тяготит необходимость делать что-то другое. Я не согласен с тем, как раньше говорили: писатель должен пройти через испытания и пожить в бедности, чтобы лучше писать. Я искренне полагаю, что писателю гораздо лучше работается, если его домашние и экономические проблемы полностью решены, конечно, в тех скромных пределах, которые доступны нам, писателям; и пока у него хорошее здоровье и все в порядке у его жены и детей, он будет лучше писать. Это неверно, что плохое экономическое положение помогает творчеству, потому что писатель хочет только писать, и лучше, чтобы эти проблемы были у него решены. И вот еще что: я мог бы обеспечить свое существование как пи-

сателя, приняв стипендии, приняв субсидии, все эти формы помощи, которые придумали для писателей, но я категорически от них отказывался и знаю, что в этом мы сходимся во мнении с теми, кого называют новыми латиноамериканскими писателями. Мы знаем, что писатель не может принимать субсидии из чувства достоинства, а также из-за того, что любое пособие так или иначе обязывает.

М. В. Л.: Субсидии какого рода? Потому что если писателя читают, защищают, кормят в каком-то обществе, так это тоже вид непрямого субсидирования...

Г. Г. М.: Ясно, что тут наталкиваешься на ряд трудностей, которые связаны с нашей латиноамериканской системой. Но ты, и Кортасар, и Фуэнтес, и Карпентьер, и другие пытаются на протяжении двадцати лет доказать, набивая себе шишки на лбу, что читатели нас слышат. Мы стараемся доказать, что в Латинской Америке мы, писатели, можем жить за счет читателей, что это единственный вид помощи, которую мы, писатели, можем принять.

М. В. Л.: Сейчас много говорят о «буме» латиноамериканского романа, который, без сомнения, — реальный факт. В последние десять или пятнадцать лет произошло нечто любопытное. Прежде, как мне кажется, у латиноамериканского читателя было предубеждение против латиноамериканского писателя. Читатель думал, что латиноамериканский писатель плох уже потому, что он латиноамериканский писатель, если только он не доказывал обратного. И напротив, европейский писатель хорош, если он не доказал обратного. Теперь все как раз наоборот. Число читателей латиноамериканских авторов выросло в огромной степени, у латиноамериканских романистов появилась поистине удивительная аудитория не только в Латинской Америке, но и в Европе, в Соединенных Штатах. Латиноамериканских романистов читают и отзываются о них очень благожелательно. С чем это связано? Что произошло? Как ты думаешь?

Г. Г. М.: Представь себе, я не знаю. Я прямо-таки напуган... Я думаю, есть один фактор...

М. В. Л.: Ты считаешь, что подъем латиноамериканского романа связан главным образом с тем, что нынешние писатели более целеустремленно следуют своему призванию, то есть больше отдают себя...

Г. Г. М.: Я думаю, это по той причине, о которой мы говорили раньше. Мы поняли, что самое главное — это следовать своему писательскому призванию, и читатели также это поняли. В тот момент, когда появились действительно хорошие книги, появились и читатели; так что я думаю, что это «бум» читателей.

М. В. Л.: Я хотел бы задать тебе еще один вопрос в связи с этим «бумом». Это очевидный факт, что сегодня выросли читающая публика и интерес латиноамериканцев к писателям своих стран. Что ты как писатель думаешь о других причинах, которые ускорили подъем прозы на всем континенте?

Г. Г. М.: Я думаю вот что: если читатель читает какого-то писателя, это можно объяснить взаимной схожестью читателя и писателя. Как мне кажется, мы сумели попасть в самую точку.

М. В. Л.: Есть еще один довольно любопытный факт: большая часть, так сказать, «модных» латиноамериканских авторов живет за рубежом. Кортасар живет во Франции уже двенадцать лет. Фуэнтес живет в Италии, ты, если не ошибаюсь, прожил двенадцать или четырнадцать лет за пределами Колумбии. Можно привести и другие примеры. Многие люди спрашивают об этом с известным беспокойством. Они задаются вопросом, не наносит ли добровольное изгнание этих писателей тот или иной ущерб изображению реальности? Не искажается ли перспектива в результате их оторванности, удаленности от своей страны? Не ведет ли это их к искажению, пусть бессознательному, реальности собственной страны?

Г. Г. М.: Этот вопрос мне много раз задавали в Ко-

лумбии, главным образом в университетах. Когда меня спрашивают, почему я не живу в Колумбии, я всегда отвечаю: «А кто сказал, что я не живу в Колумбии?» То есть я на самом деле уехал из Колумбии четырнадцать лет назад, но продолжаю там жить, потому что прекрасно информирован обо всем, что происходит в стране: я поддерживаю контакты через письма, читаю газеты и всегда в курсе того, что там происходит.

Я не знаю, случаен ли тот факт, что все «модные» латиноамериканские романисты живут за рубежом. В моем конкретном случае я точно знаю, почему предпочитаю жить за пределами Колумбии. Не знаю, так ли это в других странах, но в Колумбии писателем становишься до того, как начинаешь писать, иными словами, после первого литературного выступления; после первого рассказа, который ты опубликовал и он имел успех, ты уже писатель. Ты приобретаешь ореол некой респектабельности, который очень мешает работать, а ведь все мы до сегодняшнего дня должны были жить за счет всяких других, второстепенных занятий, поскольку наши книги не давали нам средств к существованию.

За границей писатель в этом плане пользуется «безнаказанностью». Я в Париже торговал бутылками, в Мехико писал сценарии для телевидения, без указания имени сценариста, то есть делал то, что никогда бы не стал делать в Колумбии. И однако же за границей я прекрасно это делаю, поскольку на родине в точности не знаю, чем я живу. Я делаю все, что дает возможность писать книги, а это единственное, что мне интересно. И в какой бы части света я ни находился, пишу колумбийский роман, латиноамериканский роман.

М. В. Л.: В каком смысле ты считаешь себя латиноамериканским романистом? Благодаря темам, которые затрагиваешь? Я тебе задаю этот вопрос, потому что мог бы сослаться, скажем, на пример Борхеса. В большей части его произведений затрагиваются темы, которые никак нельзя считать аргентинскими.

Г. Г. М.: Я не вижу ничего латиноамериканского в Борхесе. Я пришел к этому выводу, поскольку был сторонником довольно распространенного мнения о том, что Кортасар — не латиноамериканский писатель. Я полностью изменил это свое мнение, которое «держал при себе», как только приехал в Буэнос-Айрес. Когда знакомишься с Буэнос-Айресом, этим огромным европейским городом, расположенным между сельвой и океаном, создается впечатление, что ты живешь в книге Кортасара, иными словами, то, что казалось европеизированным в Кортасаре, — это самый истинный Буэнос-Айрес. Там у меня было впечатление, что герои Кортасара встречаются повсюду, на всех углах. Но точно так же, как я считаю, что Кортасар — глубоко латиноамериканский писатель, я не могу сказать того же о Борхесе...

М. В. Л.: Это простая констатация факта или высокая оценка, когда ты говоришь, что творчество Борхеса — это не аргентинская или, еще лучше, не латиноамериканская проза, что это литература космополитичная, которая уходит историческими корнями в?..

Г. Г. М.: Я думаю, что это литература, уводящая от действительности. С Борхесом у меня происходит вот что: он один из авторов, которых я больше всего читаю и больше всего читал и который, пожалуй, меньше всего мне нравится. Борхеса я читаю из-за его необыкновенного словесного мастерства: он учит писать, то есть учит оттачивать свой инструмент для того, чтобы сказать нечто. С этой точки зрения мои слова — это высокая оценка. Я думаю, что Борхес работает на основе умоглядных реальностей, это чистый эскейпизм; иное дело — Кортасар.

М. В. Л.: Мне представляется, что эскейпистская литература уводит от конкретной действительности, от исторической реальности. Я бы сказал, что эта литература неизбежно менее важная, менее значительная, чем та, которая ищет материал для себя в непосредственной реальности.

Г. Г. М.: Лично меня такая литература не интересует. Я верю, что любая большая литература должна основываться на конкретной действительности. Я хорошо помню один наш разговор. Ты тогда сказал, что мы, романисты, вроде стервятников, которые питаются падалью разлагающегося общества. Было бы неплохо, если бы ты припомнил сейчас, о чем ты мне говорил тогда, в Каракасе.

М. В. Л.: Это удар ниже пояса... Да, я считаю, что в момент расцвета литературы существует любопытная взаимосвязь между смелым, решительным выступлением писателей и кризисным состоянием, переживаемым обществом. Мне кажется, что общество устоявшееся, которое переживает период благополучия, внутренней умиротворенности, гораздо меньше вдохновляет писателя, чем то, которое, подобно нынешнему латиноамериканскому обществу, подточено внутренним кризисом и в какой-то степени близко к апокалипсису. Иными словами, находится в процессе преобразования, изменений, которые неизвестно куда приведут.

Но ты совершенно справедливо сказал, что читатели в наших странах сегодня интересуются тем, что пишут латиноамериканские авторы, поскольку эти авторы каким-то образом попали в точку, они, так сказать, показывают читателям их собственную реальность, они помогают им осознать окружающую действительность.

Однако, несомненно, у латиноамериканских писателей мало общих черт. Ты указал на различие в творчестве двух аргентинцев — Кортасара и Борхеса, но это различие еще больше, еще разительнее, если сравнить Борхеса, скажем, с Карпентьером, или Онетти — с самим же собою, или Лесама Лиму — с Хосе Доносо. Это очень разные творческие манеры с точки зрения техники, стиля, а также содержания. Считаешь ли ты, что можно найти общий знаменатель для всех этих писателей? В чем их сходство?

Г. Г. М.: Не знаю, не покажусь ли я софистом, если

скажу, что сходство этих писателей как раз в их различиях. Поясню: латиноамериканская действительность имеет разные аспекты, и, я думаю, каждый из нас трактует свои аспекты этой действительности. В этом смысле, как мне кажется, мы пишем один общий роман. Я описываю один аспект и знаю, что ты описываешь другой, а Фуэнтес интересуется третьим, который абсолютно не похож на те, которые описываем мы, но это все — аспекты латиноамериканской реальности. Поэтому не думай, что ты случайно натолкнулся в романе «Сто лет одиночества» на героя, который собирается объехать весь свет и встречается с призраком корабля Виктора Юга — героя Карпентьера из «Века просвещения».

Есть и другой герой — полковник Лоренсо Гавилан из романа Карлоса Фуэнтеса «Смерть Артемио Круса». Есть еще один персонаж, которого я вставил в «Сто лет одиночества». Это скорее не персонаж, а намек на него: один из моих героев отправляется в Париж и живет там в отеле на улице Дофин, в той же самой комнате, где умер Рокамадур, герой Кортасара.

Я абсолютно убежден также в том, что монахиня, которая приносит последнего Аурелиано в корзинке, — это мать Патросинио из «Зеленого дома». Мне нужны были кое-какие сведения об этой твоей героине, чтобы перейти от твоей книги к своей; я стал тебя разыскивать, но ты был в Буэнос-Айресе, разъезжал туда-сюда.

Так вот что я хочу сказать: несмотря на различия между нами, мы с легкостью можем играть в эту игру, передвигая героев из книги в книгу, и это не будет выглядеть фальшиво. Есть некий общий уровень реальности, и в тот день, когда мы найдем средства для его отображения, мы создадим настоящий латиноамериканский роман, всеобщий латиноамериканский роман, который признают в любой стране Латинской Америки, несмотря на политические, социальные, экономические, исторические различия...

М. В. Л.: Твоя идея кажется мне очень привлека-

тельной. Но, как ты считаешь, в этот всеобщий роман, который будут писать все латиноамериканские романисты, который отразит всю латиноамериканскую действительность в целом, войдет каким-то образом та часть реальности, которая является ирреальностью, где с таким мастерством как раз и действует Борхес? Не кажется ли тебе, что Борхес каким-то образом описывает, показывает аргентинскую ирреальность, латиноамериканскую ирреальность? И что эта ирреальность — это также особое измерение, состояние той реальности, которая является основой литературы? Я это спрашиваю, потому что мне всегда было трудно найти оправдание своему восторгу перед Борхесом.

Г. Г. М.: А мне нисколько. Он вызывает у меня величайшее восхищение, я его читаю каждый вечер. Я приехал в Буэнос-Айрес, и единственное, что я там купил, — это полное собрание сочинений Борхеса. Я вожу его книги с собой, я читаю их ежедневно. Я ненавижу этого писателя... Но меня очаровывает скрипка, на которой он играет то, что хочет выразить. Иными словами, он нам нужен как разведчик языка, а это другая, очень серьезная проблема. Я думаю, что ирреальность Борхеса — фальшивая, она не представляет собою ирреальность Латинской Америки. Тут мы впадаем в парадокс: ирреальность Латинской Америки есть настолько реальная и настолько будничная вещь, что ее легко спутать с тем, что понимается под реальностью.

М. В. Л.: Давай обратимся к области, которая лежит за пределами литературы, но также с нею связана, — области истории. История, в особенности в наших странах, занимает умы читателей, студентов, критиков. Их волнует взаимосвязь между литературной деятельностью писателей и их политической позицией. Принято считать, что писатель несет ответственность перед обществом и эта ответственность проявляется не только в его произведениях, но и в деятельности политического характера. Хотелось бы, чтобы ты рассказал о своем

личном отношении к этой проблеме. Скажи, как взаимосвязаны у тебя литературная деятельность и политическая позиция?

Г. Г. М.: Прежде всего я считаю, что главный политический долг писателя — это писать хорошо. Писать хорошо не только в смысле создания настоящей, блестящей прозы, но и в соответствии со своими убеждениями, не говоря уж об искренности. Мне думается, не стоит требовать от писателя, чтобы в своих книгах он выступал как политический деятель; я хочу сказать, что неправильно требовать от писателя, чтобы он превратил свое творчество в политическое оружие, потому что, если писатель прошел идейную подготовку и у него есть политическая позиция, как, я полагаю, есть она и у меня, это неизбежно найдет отражение в его произведениях. Меня очень удивил, скажем, Торре Нильсон, который сказал мне в Буэнос-Айресе, что «Сто лет одиночества» — прекрасный, но, к сожалению, реакционный роман.

М. В. Л.: А почему он так сказал?

Г. Г. М.: Он мне этого не объяснил, но выдал что-то вроде: «Теперь, когда у нас, в Латинской Америке, столько проблем, когда все так ужасно, самый факт создания прекрасного романа уже реакционен». Это меня так озадачило, что я снова хочу нанести тебе удар ниже пояса: ты считаешь мою книгу «Сто лет одиночества» реакционной?

М. В. Л.: Нет.

Г. Г. М.: А почему?

М. В. Л.: Потому что в романе «Сто лет одиночества» объективно, даже не косвенно, не параболически, как в других книгах (например, у Кортасара), описываются фундаментальные проблемы латиноамериканской общественно-политической реальности.

Г. Г. М.: Значит, ты находишь, что эта книга и все другие, что мы пишем, помогают читателю осознать об-

щественно-политическую реальность Латинской Америки?

М. В. Л.: Я полагаю, что всякая хорошая литература — неизбежно прогрессивна, помимо намерений автора. Скажем, Борхес, писатель с глубоко консервативным, глубоко реакционным образом мыслей, как писатель не реакционен, не консервативен. Я не вижу в произведениях Борхеса (если не брать в расчет абсурдные манифесты, которые он подписывает) ничего, что содержало бы реакционную концепцию общества или истории, статичный взгляд на мир, восхваление фашизма или чего-то, что он так обожает, например империализма. Ничего этого я у него не вижу...

Г. Г. М.: Потому что ему удается ускользнуть даже от собственных убеждений...

М. В. Л.: Я полагаю, что любой большой писатель, даже если он реакционер, ускользает, как ты говоришь, от убеждений, описывая реальность доподлинно такой, какая она есть, а я не думаю, чтобы реальность могла быть реакционной.

Г. Г. М.: Мы не ускользаем от наших убеждений. Скажем, драма банановых плантаций изображается в моем романе в соответствии с моими убеждениями. Я безоговорочно принимаю сторону рабочих. Это очевидно. И я думаю, что великий политический долг писателя — не уклоняться от собственных убеждений или от реальности, а своим творчеством способствовать тому, чтобы читатель лучше понимал общественно-политическую реальность своей страны и континента, своего общества. Это важная и позитивная политическая работа. В этом, я думаю, состоит политическая функция писателя — в этом и ни в чем другом. А как человек писатель может быть политическим борцом, и не только может, но и должен, поскольку у него есть аудитория и он обязан воспользоваться этой аудиторией для выполнения своей политической задачи.

М. В. Л.: Тут возможны разные ситуации. Бывает,

писатели занимают передовую гражданскую позицию, даже состоят в политических партиях, а их произведения содержат взгляд на мир, противоречащий их собственным убеждениям.

Г. Г. М.: Конечно, пишешь с определенными устремлениями, но я думаю, эти устремления определяют и убеждения. Говоря иначе, если возникает противоречие такого типа — одно из двух: либо человек пишет неискренне, либо он не так уж уверен в своих убеждениях.

М. В. Л.: А может быть, ни один из двух этих элементов не является в момент творчества ни более глубоким, ни более решающим, чем другой. Взять, к примеру, твой роман «Сто лет одиночества», тема которого столько лет тебя беспокоила, одолевала. В форме чего она тебя беспокоила? В форме идей, в форме неких убеждений? Ты хотел показать драму Макондо, драму гражданских войн в Колумбии, драму банановых плантаций, которые принесли с собою в эти места убийства и нищету, или же на самом деле ты хотел рассказать некоторые истории, некоторые фантазмагорические эпизоды, а может, ты хотел выпустить на волю каких-то персонажей, облик которых ты отчетливо помнил? Что тебя вдохновляло — идеология или какие-то события?

Г. Г. М.: Я полагаю, что на это должны ответить критики...

Я стремился к созданию всеохватывающего романа, а для романа необходимо все: убеждения, устремления, традиции, легенды, — но тут я теряюсь, потому что я плохой критик своих книг. Пожалуй, я неразборчив, поскольку вставляю в роман эпизоды, которые лишь потом пытаюсь анализировать, и обычно прихожу к выводу, что они соответствуют моим убеждениям, моим устремлениям. Я хочу сказать, что абсолютно искренен и не могу обманывать самого себя ни в какой момент; убежден, что, чем я искреннее, тем точнее будет попадание, тем больше сила воздействия романа.

М. В. Л.: Это наводит меня на мысль о «маленькой

кухне» писателя. Всегда интересно узнать, как писатель пишет, каков процесс создания книги. Основной импульс состоит в желании рассказать историю, но с того момента, как тобой овладевает это желание, до того, как книга выйдет в свет, приходится пройти несколько этапов.

Г. Г. М.: Мы могли бы поговорить о каждой из книг, которые...

М. В. Л.: Думается, интереснее всего история создания романа «Сто лет одиночества». В одном интервью ты рассказывал, что эта книга занимала тебя на протяжении многих лет, несколько раз ты за нее принимался и бросал, пока на полпути из Акапулько в Мехико неожиданно не представил себе эту книгу с такой ясностью, что уже мог бы ее продиктовать.

Г. Г. М.: Да, но, говоря это, я имел в виду чисто формальный аспект моей книги; иными словами, долгие годы проблемой для меня были тональность, язык книги. Что касается ее содержания, самой истории, то она у меня была завершена, как я уже говорил, была готова еще в ранней юности... Но я вспомнил вот о ком — о Бюнюэле. Я немного отклонюсь в сторону. Луис Бюнюэль однажды рассказывал, что первая мысль о «Виридиане» пришла к нему в виде образа — образа прекраснейшей женщины в свадебном наряде, ее усыпили, а рядом — старик, который пытается ее изнасиловать. Вокруг этого образа Бюнюэль выстроил всю историю. Меня это поразило, потому что моя первая мысль о романе «Сто лет одиночества» явилась ко мне в образе старика, который ведет ребенка посмотреть на лед.

М. В. Л.: Этот образ шел от личного опыта?

Г. Г. М.: Он шел от моего упорного стремления вернуться в дом деда, который водил меня в цирк. Лед был достопримечательностью цирка, поскольку селение было ужасно раскаленным, там не знали льда и лед для его жителей был такой же диковиной, как слон и верблюды. В романе возникает образ старика, который ведет маль-

чика посмотреть на лед, и заметить, лед находится в цирковом шатре и надо платить за вход. Вокруг этого и выстроилась книга. Что до событий, до содержания, сюжета, тут у меня не было никаких проблем: это была часть моей жизни, которую я никогда не забывал; мне надо было просто потрудиться выстроить и расположить весь этот материал.

М. В. Л.: А какие языковые проблемы перед тобой возникали? Мне кажется, можно говорить о большом обогащении языка в романе по сравнению с суровым, точным, очень функциональным языком твоих предшествующих книг.

Г. Г. М.: Да, за исключением «Палой листвы». «Палая листва» была первой книгой, которую я написал после того, как увидел, что не могу написать «Сто лет одиночества», а по ходу дела я написал «Полковнику никто не пишет», «Похороны Великой Мамы» и «Недобрый час». В то время произошли очень важные события в моей жизни: опубликовав «Палую листву», я думал, что должен продолжать идти тем же путем, но значительно ухудшилось общественно-политическое положение в Колумбии, настал период, известный под названием «колумбийская виоленсия», и тогда, не знаю, в какой именно момент, я обрел политическое сознание и ощутил свою причастность к драме страны. Я перешел к историям, которые полностью отличались от тех, что интересовали меня раньше, — к драмам, непосредственно связанным с социально-политическими проблемами тогдашней Колумбии. Я не был согласен с тем, как их трактовали другие колумбийские романисты, которые представляли насилие как «опись» убитых, только как документ. Я же всегда думал, что самое тяжкое в насилии — это не количество погибших, а тот ужасный след, который оно оставляет в колумбийском обществе, в селениях Колумбии, опустошенных смертью.

Было еще другое, что меня волновало. В этом есть что-то мистическое, свойственное всем писателям: меня

занимали как убитые, так и убийцы. Меня очень волновали люди, которые погибли, но также и полицейский, который прибыл в селение убивать. Тут я спрашивал себя: что случилось с этим человеком, как он дошел до такой жизни, до того, что начал убивать? У меня был совершенно иной взгляд на насилие: в то время как другие рассказывали драму о том, как убийцы входили в селение, насиловали женщин и обезглавливали детей, я размышлял о тяжелых социальных последствиях и откладывал в сторону «опись» мертвых.

Я написал «Полковнику никто не пишет», где положение полковника и положение народа являются отчасти следствием состояния насилия, в котором находилась страна; то же самое и в повести «Недобрый час», где действие происходит в поселке, через который предположительно уже прошла волна насилия. Я пытался показать, каким стало это селение после того, как она опала, и как невозможно покончить с этим насилием при существующих системах, более того, насилие не умрет и в любой момент может сработать детонатор, который вызовет новый взрыв.

Говоря, что эти темы не были мне близки, я признаюсь тебе в самом сокровенном, в том, что меня очень волнует как писателя, потому что я чувствую, что повесть «Полковнику никто не пишет», которая имела наибольший успех до романа «Сто лет одиночества», — это не вполне искренняя книга. Она написана с намерением исследовать проблемы, которые не затрагивали меня глубоко, однако я считал, что они должны меня затрагивать, поскольку ощущал себя ангажированным писателем. ...Я понял, что о вещах, которые меня в тот момент интересовали, нельзя говорить тем же языком, каким написана «Палая листва» и каким я хотел писать «Сто лет одиночества». Я должен был найти язык, который годился бы для этого рассказа, и различие в языке романа «Сто лет одиночества» и других книг обязано тому, что различны их темы. А я полагаю, что каждая

тема требует языка, который ей подходит, и его нужно найти.

Поэтому я не думаю, что в романе «Сто лет одиночества» язык обогатился по сравнению с предшествующими книгами. Просто материал, с которым я имел дело в этом романе, потребовал иного подхода. Если завтра я встречу сюжет, который потребует другой манеры выражения, я постараюсь найти ее, чтобы сделать рассказ наиболее действенным.

М. В. Л.: Я говорил об этом потому, что считаю, что обогащение языка происходит в соответствии с тематикой.

Г. Г. М.: А я бы сказал, что оно происходит тогда, когда этого требует тематика, и постольку, поскольку она отличается от предыдущей. Лично мне вот что интересно: похоже, что эти книги написаны тем же человеком, который написал «Сто лет одиночества»?

М. В. Л.: Конечно, похоже. Но меня удивили твои слова о том, что книги, созданные между «Палой листвой» и романом «Сто лет одиночества», соответствуют другому миру, имеют другое содержание. Мне кажется, что все они отображают разные частные аспекты истории Макондо, которую ты синтезировал и завершил в своем последнем романе. И я не считаю, что «Полковнику никто не пишет» — это более ангажированная книга, чем «Сто лет одиночества».

Г. Г. М.: Да, более ангажированная, так сказать, сознательно. В этом недостаток книги, и меня это огорчает.

М. В. Л.: Но в романе «Сто лет одиночества», возможно, в гораздо большей степени, чем в предшествующих книгах, представлены темы, мотивы, которые уже разрабатывал латиноамериканский бытописательский роман. Я вспоминаю знаменитого петуха из «Полковнику никто не пишет». Он встречается во всей подобной литературе. И это фольклор, прикинувшийся литературой, ставший популярным в латиноамериканском романе...

Г. Г. М.: Это был дурной способ глядеть на реальность...

М. В. Л.: Я хотел спросить тебя именно об этом: ты не избегаешь этих мотивов, которые...

Г. Г. М.: Нет, нет. Я нахожу, что бытописательские элементы, темы, факты жизни являются подлинными, но неправильно увиденными. Нужно было взглянуть на них более отвлеченно, более глубоко, а не просто с фольклорной точки зрения, с тем чтобы они не остались на уровне фольклора.

М. В. Л.: Как ты считаешь, что уцелело от всей креолистской литературы? Я имею в виду поколение Ромуло Гальегоса, Хорхе Икасы, Эустасио Риверы, Сиро Алегри — все это поколение, которое можно назвать «костумбристским», или «нативистским», или «креолистским». Что от них осталось и что исчезло?

Г. Г. М.: Не хочу быть несправедливым. Эти люди хорошо подготовили почву, чтобы тем, кто придет потом, было легче сеять. Я не хочу быть несправедливым по отношению к предкам...

М. В. Л.: Не кажется ли тебе, что нынешние латиноамериканские писатели с формальной, с технической точки зрения в гораздо большем долгу перед европейскими, североамериканскими авторами, чем перед своими соотечественниками?

Г. Г. М.: Я думаю, что мы, новые латиноамериканские романисты, в самом большом долгу перед Фолкнером. Это интересно... Мне постоянно приписывают влияние Фолкнера, а я понял, что во влиянии на меня Фолкнера меня убедили сами же критики, я готов опровергнуть это влияние, которое вполне возможно. Но меня удивляет всеобщий характер этого явления. Я только что прочел семьдесят пять неопубликованных романов латиноамериканских писателей, представленных на литературный конкурс, и нет ни одного, в котором не ощущалось бы влияние Фолкнера. Конечно, у них оно более заметно, потому что это начинающие писатели, — оно

тут на поверхности. Но Фолкнер проник во всю романистику Латинской Америки, и если говорить чересчур схематично и, возможно, впадая в преувеличения, то единственное различие между нашими предшественниками и нами состоит в том, что мы знакомы с творчеством Фолкнера. Вот единственное, что разделяет наши два поколения.

М. В. Л.: Чему ты приписываешь всепоглощающее влияние Фолкнера? Тому, что Фолкнер — самый выдающийся романист современности, или тому, что у него свой стиль — такой личный, такой приметный, такой проникновенный, что этот стиль не мог не вызвать подражания?

Г. Г. М.: Я думаю, дело в методе. «Фолкнеровский» метод очень пригоден для изображения латиноамериканской реальности. Именно это мы бессознательно и открыли в Фолкнере. Говоря иначе, мы глядели на эту реальность, и хотели о ней рассказать, и знали, что тут не годится ни метод европейцев, ни традиционный испанский метод. И вдруг мы натолкнулись на «фолкнеровский» метод, самый что ни на есть подходящий для изображения этой реальности. В глубине души это не так уж удивительно: не забывайте, что округ Йокнапатофа имеет выход к Карибскому морю и, таким образом, Фолкнер — карибский писатель — каким-то образом писатель латиноамериканский.

М. В. Л.: Какие еще романисты или писатели в целом, помимо Фолкнера и автора «Амадиса Гальского», произвели на тебя впечатление? Каких авторов ты, скажем, перечитываешь?

Г. Г. М.: Я перечитываю книгу, которая не знаю какое имеет ко мне отношение, но я ее читаю и перечитываю, и она меня восхищает. Это «Дневник чумного года» Даниэля Дефо. Я не знаю, в чем тут дело, но эта книга — моя страсть.

М. В. Л.: Многие критики отмечают влияние Рабле

на твоё творчество. Мне это кажется странным, удивительным. Что ты сам об этом думаешь?

Г. Г. М.: Я вижу влияние Рабле не в том, как я пишу, а в латиноамериканской реальности: латиноамериканская реальность целиком и полностью раблезианская.

М. В. Л.: А откуда взялся Макондо? Ведь во многих твоих рассказах действие происходит не в Макондо, а в «селении». Но я не вижу большой разницы между «селением» и «Макондо». Как возникла идея писать об этом несуществующем месте?

Г. Г. М.: Я уже говорил об этом. Это случилось, когда я возвратился с матерью в Аракатаку. Маленькое селение, где я родился. Для меня Макондо — это скорее прошлое, а поскольку это прошлое надо было наделить улицами и домами, климатом и людьми, я придал ему образ этого раскаленного, пыльного, конченого, разрушенного селения с деревянными домами и цинковыми крышами, которые напоминают те, что встречаешь на юге Соединенных Штатов. Это селение очень похоже на поселки Фолкнера, потому что оно было построено «Юнайтед фрут компани». А название возникло от банановой фермы, которая находилась неподалеку и называлась Макондо.

М. В. Л.: Так это подлинное название?!

Г. Г. М.: Да, но только не селения. Макондо называлась ферма. Мне это название понравилось, и я его использовал.

М. В. Л.: В твоём последнем романе, в заключительной главе, Макондо, подхваченный ветром, взлетает на воздух и исчезает. Что случится в твоих ближайших книгах? Будешь ли ты следить за полетом Макондо в пространстве?

Г. Г. М.: Произойдет то, о чем мы говорили в связи с рыцарским романом. Рыцарю, как я уже говорил, отрезают голову столько раз, сколько нужно для повествования, и я не вижу ничего неудобного в том, чтобы воскресить Макондо, позабыв, что его унес ветер, если мне

это понадобится. Потому что писатель, который сам себе не противоречит, — это догматик, а писатель-догматик реакционен, а уж кем бы я не хотел быть, так это реакционером. Таким образом, если мне завтра снова понадобится Макондо, я спокойно его верну...

М. В. Л.: Я хочу задать тебе последний вопрос. Твои книги имели успех на родине, они принесли тебе известность, тобой восхищаются в Колумбии, но я думаю, что книга, которая на самом деле принесла тебе быструю популярность, — это «Сто лет одиночества». Как ты думаешь, в какой мере может повлиять на твою будущую литературную работу тот факт, что ты вдруг превратился в звезду, в знаменитость?

Г. Г. М.: У меня возникли серьезные осложнения. Я даже подумал, что, предвидь я заранее то, что случится с романом «Сто лет одиночества», — что его станут продавать и поглощать как хлеб, — знай я о том, что произойдет, я бы не стал его публиковать. Я написал бы «Осень патриарха» и издал бы оба романа вместе или же повременил с выходом одной книги, дождался бы, пока будет завершена другая.

М. В. Л.: Скажи, не повлияли ли на твое решение покинуть Латинскую Америку и перебраться в Европу эта популярность и опасения за последствия успеха?

Г. Г. М.: Я еду писать в Европу только потому, что жизнь там дешевле...

СОДЕРЖАНИЕ

Полковнику никто не пишет. <i>Повесть.</i> <i>Перевод А. Борисовой</i>	5
---	---

РАССКАЗЫ

Третье смирение. <i>Перевод А. Борисовой.</i>	73
Ева внутри своей кошки. <i>Перевод А. Борисовой</i>	83
Другая сторона смерти. <i>Перевод А. Борисовой</i>	95
Диалог с зеркалом. <i>Перевод А. Борисовой</i>	105
Огорчение для троих сомнамбул. <i>Перевод А. Борисовой</i>	113
Глаза голубой собаки. <i>Перевод С. Сальниковой и</i> <i>П. Шебшаевича</i>	118
а, которая приходила ровно в шесть. <i>Перевод Р. Андриановой и Э. Брагинской.</i>	123
Ночь, когда хозяйничали выпы. <i>Перевод А. Борисовой</i>	136
Тот, кто ворошит эти розы. <i>Перевод С. Сальниковой и</i> <i>П. Шебшаевича</i>	142
Набо — негритенок, заставивший ждать ангелов. <i>Перевод С. Сальниковой и П. Шебшаевича</i>	146
Один из этих дней. <i>Перевод С. Сальниковой и</i> <i>П. Шебшаевича</i>	157
Однажды после субботы. <i>Перевод С. Сальниковой и</i> <i>П. Шебшаевича</i>	160
Похороны Великой Мамы. <i>Перевод Э. Брагинской</i>	184
Очень старый сеньор с огромными крыльями. <i>Перевод С. Сальниковой и П. Шебшаевича</i>	204
Море исчезнувших времен. <i>Перевод С. Сальниковой и</i> <i>П. Шебшаевича</i>	213
Самый красивый в мире утопленник. <i>Перевод С. Сальниковой и П. Шебшаевича</i>	234
А смерть всегда надежнее любви... <i>Перевод С. Сальниковой и П. Шебшаевича</i>	242
Блакаман Добрый, продавец чудес. <i>Перевод С. Сальниковой и П. Шебшаевича</i>	253
Невероятная и грустная история о простодушной Эрендире и ее жестокосердой бабушке. <i>Перевод Э. Брагинской</i>	264
Рассказ человека, оказавшегося за бортом корабля. <i>Перевод Т. Шишовой.</i>	317
Габриэль Гарсиа Маркес и Марио Варгас Льюса. Диалог о романе в Латинской Америке <i>Перевод Т. Коробкиной.</i>	411

Литературно-художественное издание
Габриэль Гарсиа Маркес
ПОЛКОВНИКУ НИКТО НЕ ПИШЕТ

Редактор *Н. Котельникова*
Художественный редактор *А. Сауков*
Технический редактор *Н. Носова*
Компьютерная верстка *В. Фирстов*
Корректор *З. Харитоновна*

В оформлении использована репродукция
художника *Фредерика Брауна*

Налоговая льгота — общероссийский классификатор
продукции ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Подписано в печать с готовых диапозитивов 14.06.2001
Формат 84x108 1/32. Гарнитура «Таймс».

Печать офсетная. Усл. печ. л. 23,52. Уч.-изд. л. 20,17.

Тираж 7000 экз. Заказ 621.

ЗАО «Издательство «ЭКСМО-Пресс». Изд. лиц. № 065377 от 22.08.97.
125190, Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16, подъезд 3.

Интернет/Home page — www.eksmo.ru
Электронная почта (E-mail) — info@eksmo.ru

Книга — почтой: Книжный клуб «ЭКСМО»
101000, Москва, в/я 333. E-mail: bookclub@eksmo.ru

Оптовая торговля:

109472, Москва, ул. Академика Скрябина, д. 21, этаж 2
Тел./факс: (095) 378-84-74, 378-82-61, 745-89-16
E-mail: tesception@eksmo-sale.ru

Мелкооптовая торговля:

117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1.
Тел./факс: (095) 932-74-71



Сеть магазинов «Книжный Клуб СНАРК»
представляет самый широкий ассортимент книг
издательства «ЭКСМО».

Информация в Санкт-Петербурге по тел. 050.



Книжный магазин издательства «ЭКСМО»

Москва, ул. Маршала Бирюзова, 17 (рядом с м. «Октябрьское Поле»)

ООО «Медиа группа «ЛОГОС». 103051, Москва, Цветной бульвар, 30, стр. 2

Единая справочная служба: (095) 974-21-31. E-mail: mgf@logosgroup.ru
contact@logosgroup.ru

ООО «КИФ -ДАКС». Губернская книжная ярмарка.

М. о. г. Люберцы, ул. Волковская, 67.

т. 554-51-51 доб. 126, 554-30-02 доб. 126.

ISBN 5-04-007929-X



9 785040 079292 >

АООТ «Тверской полиграфический комбинат»
170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.



ГАБРИЭЛЬ ГАРСИА МАРКЕС

ПОЛКОВНИКУ НИКТО НЕ ПИШЕТ

Образный мир Гарсиа Маркеса, мистический и одновременно узнаваемо реальный, обусловлен в первую очередь национальностью писателя.

Сюжеты многих его книг берут свое начало в его биографии, «вырастают» из детских воспоминаний и ассоциаций. Он родился в 1928 году в захолустном колумбийском городке, но еще в детстве оставил его и много ездил по свету, работая корреспондентом.

Бурные события, сотрясающие Латинскую Америку, и яркие, темпераментные характеры ее жителей

Гарсиа Маркес блистательно воплотил в своих книгах. Но творчество писателя вышло за пределы одного континента и одной эпохи, оно интернационально и устремлено в будущее.